Людмила Петрушевская

Маленькая девочка из «Метрополя»

"Амфора"

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

"Маленькая девочка из «Метрополя»" — не мемуары и не попытка после двадцати лет молчания дать интервью. Это просто эссе или новеллы, написанные по разным поводам. Но так получилось, что история жизни автора прорастает сквозь все описанные события.

А повесть, давшая название сборнику, — это то, с чего обычно начинали классики. Повесть о детстве.

- Людмила Петрушевская
  -
  - Вместо интервью
  - Маленькая девочка из «Метрополя»
    - Начало
    - Вегера
    - Яковлевы
    - Начало войны
    - Семейные обстоятельства
    - Куйбышев
    - Куйбышев. Способы существования
    - Как меня спасли
    - Цирк Дурова
    - В поисках еды
    - Куклы
    - Победа
    - ОДО
    - Язык придворных
    - Большой театр
    - Вниз по лестнице
    - Литературные лежания
    - Мои концерты. Зеленая кофта
    - Портрет
    - История маленького матросика
    - Другая жизнь
    - «Метрополь»
    - Леночка Вегер
    - Мамаша
    - Лагерь
    - Улица Чехова. Дедушка Коля
    - Попытка уместиться
    - Детский дом
    - Я хочу жить

- Незрелые ягоды крыжовника
- Находка
- На тему о вдохновении[1]
- В сторону Манна
  - 1. Как я уходила с работы
  - 2. История с кавалеристом
  - 3. Командировка в сторону Манна
  - 4. В сторону Манна
- Русский турецкий словарь
  -
  - 1. Слово «дурак»
  - 2. Продолжение словаря. Слово «и-хи-хи» и др
  - 3. Сорок тысяч по-турецки
  - 4. Голубцы и арбузы в сарае
  - 5. Слово «баян»
  - 6. Слово «моск» и все с ним связанное
  - 7. «Дурак» в переводе
- Вермут итальяно, называется «Чинзано»
  -
  - 1. Первое путешествие с «Чинзано»
  - 2. Как была написана пьеса «Чинзано»
  - 3. Игорь Васильев и его «Чинзано»
  - 4. «Чинзано» в «Ноорсоотеатре» (г. Таллин)
  - 5. «Уроки музыки» Виктюка
  - 6. «Чинзано» Виктюка
  - 7. «Чинзано» Виктюка (окончание)
  - 8. «Чинзано» Козака
- Это поколение-82
- Ляплянтия
  -
  - Деньги Ляпы
  - Дети
  - Медицина
  - Все о болезнях да о болезнях
- Импровизационная психодрама
- Все имеют право на концепт
- Как это делается
- Скрипка Энгра[2]
- Прелюдия к одному рассказу
- О «Николаице»
- Маленькие истории из семейного альбома

- notes
  - 1
  - 2

Людмила Петрушевская
Маленькая девочка из «Метрополя»

в настоящем издании сохранены авторская орфография и пунктуация;

иллюстрации автора

Вместо интервью

Уважаемая М.! Я знаю, что Вы собираетесь уходить в декрет, и я у Вас одно из заданий. Всегда уважала трудящихся беременных. Интервью я не даю, это почти зарок. И вместо нужного Вам интервью я вот села писать Вам это письмо.

Привет Вашему Кенгуренку. Он (она) слышит. Скажите: «Тебе привет!» Кстати, ребенок сам присылает нам свое имя, мне кажется. Вот он вам сообщил, что его зовут Кенгуренок. Одного моего маленького родственника сначала называли Мартыш, потом Кузя и Кузява. Один мальчик в грудном возрасте был известен как Митрич, другой имел кличку Мышепотам и потом был Шедя Паллаш. Одну девушку сначала звали (во младенчестве) Утя, потом Мурочка и затем Сметана. Девочка Аня в детстве была Мышь. Трехлетнего лохматого блондина Петю одна из бабушек называла исключительно Петр Первый. Девочку Тамарочку (она теперь архитектор) с пеленок зовут Трикасюля.

Ребенок Манька звалась Букашка, теперь ее нет на свете, девочка с огромными глазами. Когда ее провожали, многие люди бормотали: «До встречи». А ее отец потом сказал, что встретиться с Машей там будет трудно, это надо очень постараться.

Чем больше у человека имен, тем лучше. В России, кстати, чтобы отвести от человека раннюю гибель, порчу и сглаз, ребенка называли как-нибудь похуже, чтобы темные силы не польстились: Плох (Плах), Нехорош, Немил, Ненаш, Невер, Неустрой, Негож, Невзгляд, Некрас, Невзор. От этих имен затем произошли такие фамилии, как Некрасов, например.

Это наш характер, не дай бог накликать беду. Серенькое утро, красненький денек. Это наше, рассказывать друг другу свои истории. На лавочке, в поезде, в пивбаре, в метро.

И мне приходилось слышать много разных случаев.

Вот страшная история про убийство молодого парня, а убил его старший дружок, просто так, поссорились из-за девочки Лелечки. Младшего звали Володя, старшего Женя. Приходи завтра, побазарим, сказал молодой Володя. И пришел на встречу, взявши двух друзей. А этот горячий парнишка Володя был восемнадцати годков, стихи писал подражал Пушкину, красивый был, кудрявый, учился за границей, получил стипендию как талант. И все для чего? Чтобы этот Женя в результате нечаянно его убил. Володя перед тем всю ночь молился и стихи писал перед смертью, оказывается. Как предчувствовал. Стихи остались. Дальше. Женщина замужняя, солидная, тетя Аня, бросила мужа, он был тоже солидный какой-то начальник на государственном

уровне. Она его уважала, но не любила, даже не знала, а любит ли он ее. И тут вдруг впервые она полюбила. Какой-то молодой майор из Генштаба что ли. Ушла к молодому, причем ребеночка оставила мужу и няне, чтобы не таскать его с собой по снятым квартирам. А молодой ее потом бросил, и она, тетя Аня, поехала на станцию Железнодорожная Горьковской ветки и там бросилась под поезд. Это я пересказываю своими словами, как Вы уже догадались, содержание «Евгения Онегина» Пушкина и «Анны Карениной» Толстого.

То есть не я первая рассказываю такие жуткие вещи.

И это я отвечаю на тот вопрос, который мне задают везде, и за границей тоже. То есть не то чтобы мне его впрямую задают — зачем вы ТАКОЕ пишете — нет, просто публикуют рецензии, скажем, в Италии, и сообщают, что автор нам рассказывает о тяжелой судьбе российской женщины. Неизвестно зачем.

Типа успокойтесь, мы итальянцы, с нашими красавицами такого не случится! Просто автор такой печальный, поскольку пишет о неполадках в своей стране.

И ничего подобного.

Во всех странах и во все времена писатели сочиняли именно тяжелые, печальные истории.

Если приходится выступать перед иностранцами (а они всегда задают мне этот вопрос, почему в РФ так плохо приходится женщинам?), я им тоже всегда говорю примерно в таком духе, что, простите меня, но ведь у Шекспира, у Еврипида и Софокла, у классиков драматургии, что ни возьми — почти все плохо кончается. Все убиты. Сплошной кошмар! У Дрюона вообще кожу с живых героев сдирают. У Мопассана сплошь и рядом бытовые разборки, проститутки, то ножик втыкают, то кто-то ребенка бросил, личные трагедии. У Чехова стреляются, убивают, а то ребенок умер…

Мои иностранные читатели кивают и вроде бы понимают.

Когда мне наши отечественные исследователи тычут в нос свои статьи, где написано, что я интересуюсь все больше какими-то жуткими сюжетами, и вообще, все ли в порядке с добротой у этого автора, то приходится в панике ссылаться, что я не первая. У Карамзина Лиза утопилась, у Гоголя тоже то утопленница, то Плюшкин, то Ноздрев с Вием, один другого краше персонажи. У Чехова, у Бунина в «Темных аллеях». У Достоевского-то! У Набокова! Сидит человек в тюрьме и вспоминает, как жил с ребенком своей жены. А ведь это классики, наши учители.

Второе, чего не хотят прощать писателям: ладно, такие уж они уродились мрачноватые (или нарочно придуриваются, что они таковые), но почему, изобразив ошибочную человеческую

судьбу, писатель не произнесет прямо — так жить нельзя! И не осудит подлецов! И не подскажет, как вообще просуществовать нормально.

Отвечаю: прежние писатели вообще-то обычно пытались тонко, ненавязчиво намекнуть читателям, кто прав в их произведениях. Для этого они как бы подбирали отрицательному герою положительного антипода. Плохой Обломов — правильный Штольц. Ходок Онегин — верная Татьяна. Блудница Анна Каренина — хорошая девочка Кити.

Правда, прямых указаний на то, что, к примеру, надо поступать как Кити, а не как неверная Анна, Толстой не дает. Он как бы ждет от читателей приговора. Подсунул Анну под паровоз в виде подсказки и молчит. Не говорит, что так жить нельзя. И иногда возникает путаница: скажем, растерявшийся читатель всем сердцем любит не правильную Кити, а Анну Каренину, а в театре и кино ее мечтают сыграть все немолодые актрисы. Обломова тоже люди жалеют и помнят больше, чем Штольца. Кстати, когда Обломов умер, у его жены, кроткой женщины, Штольц отобрал обломовского сына, с целью верно воспитать, видимо. Я очень люблю роман «Обломов», а Штольца за такие штуки не одобряю как живого. И вот Онегина любят повально все, не глядя на то что он убийца, ленив как пень и эгоист первостатейный.

Так что и с положительными примерами все как-то не выходит у великих авторов.

Еще хуже бывает, когда в произведении нет ни единого образца правильного поведения. У Зощенко, например. Чего стоит эта история об одном зубном враче. Там есть такой абзац: «Вот значит, помер у нее муж. Она сначала, наверное, легко отнеслась к этому событию. «А-а, думает, ерунда!» А потом видит — нет, далеко не ерунда!.. Женихи по свету не бегают пачками».

И ни одного положительного героя в рассказе! Все какая-то человеческая мелюзга.

Мало того, ведь и Зощенко никого не обвиняет. Не говорит гневных слов.

Чехов тоже написал много смешных рассказов, где у него действуют то девица Подзатылкина, то некто Пшикова, то Макар Балдастов.

И нигде не объяснит прямо и гневно, что это отбросы человечества…

Много лет назад, когда я писала последнее свое газетное интервью, у меня были строчки о том, что литература не прокуратура и что писатель не судья, а скорее сам подсудимый, и что в литературе важно не отвечать на вопросы, а грамотно,

корректно задавать эти вопросы.

Эти немудрящие мои слова вызвали волну негодования у тогдашних (середина 80-х гг.) критиков. Сейчас их уж никто не помнит. Литература именно- что должна объяснять, писал один, воспитывать на положительных примерах! Очень кипятился.

Потом мне позвонили со смехом литературоведы и сказали, что вообще-то эти мои слова (что не надо отвечать на вопросы) еще когда, сто лет назад, буквально в той же форме написал Чехов, и это было его письмо к Суворину.

Сейчас я попыталась найти то письмо, и мне его продиктовал по телефону известный ученый, литературовед Сергей Георгиевич Бочаров, который знает все.

Это удивительно, но Чехов приводит в своем письме именно те же литературные примеры, которыми воспользовалась я в начале своего письма!

Чехов пишет Суворину:

> «Требуя от художника сознательного отношения к работе, Вы правы. Но вы смешиваете два понятия: решение вопроса и правильная постановка вопроса. Только второе обязательно для художника. В «Анне Карениной» и «Евгении Онегине» не решен ни один вопрос. Но они вас вполне удовлетворяют, потому что вопросы поставлены правильно».

У меня, правда, припасена еще одна цитата, из Пушкина, что изображение заблуждений и страстей человеческих не есть преступление, «как анатомия не есть убийство». Это выражение я всегда приводила, выступая перед публикой. Теперь я редко выступаю. Теперь меня печатают, и нет нужды защищать свою работу устно. Теперь кто хочет, тот читает. В журналах, в книгах. Даже в интернете. Собственно, и это мое письмо не имеет смысла. Мои читатели и так все понимают, а читатели другие в объяснениях не нуждаются. Как воскликнула одна библиотекарша: «Как я вас люблю, Людмила Стефановна! Но читать не могу».

Но все-таки как удивительно, что годы идут, уже и прочли мы все что раньше было запрещено, и газеты печатают совсем несообразные и запредельные новости с трупами, а мои исследователи остаются все те же самые. Не прощают! Говорят, чернуха у нее, ребята, с этим ее романом, просто караул. Данного автора вообще читать было трудно, а иногда тяжело и даже невозможно! А тут вообще. Как бы обращаясь к читателям: да бросьте вы с ней мучиться. Нашли тоже мне…

Некоторые письменно подозревают, что я еще хуже своих

героев. Какой-то монстр безжалостный. Или больная она, что ли? После нее, горячо сказала одна старушка, рожать не хочется.

И даже мои сказки (все как на подбор с хорошими концами) их не веселят. Чернуха и есть чернуха!

(Мои товарищи по студии как-то раз обозлились и ответили на это: «А что, краснуха лучше?» Дело происходило еще в СССР, где красный цвет царил повсеместно, в том числе и в искусстве. Сейчас в основном господствует желтуха, желтая печать.)

И мой жалкий лепет оправданья, что новелла — это такой вообще-то всегда был печальный жанр, трудноватый, этот мой ответ не принимается во внимание. Невозможно ее читать, и все!

Как будто их кто заставляет брать мои книжки!

Тут еще одна мне позвонила женщина: «Как же вас тяжело читать!» — «Да вы и не читайте меня». — «Да, а кого же?»

Читайте Толстого, Гоголя, Бунина, Леонида Андреева, читайте Платонова, Чехова, читайте Тургенева. Учитесь читать-то.

Вот знаменитое «Муму», горе и злосчастье всех советских младших школьников. Это вовсе не о крепостном праве. Это «Муму» так пристегнули к программе некрасы-невзоры, немилы-неверы, составители школьной программы в советские времена, чтобы дети знали, что социализм победил окончательно и у нас такого не бывает, а возврат в темное крепостное прошлое нежелателен, будешь глухонемым, да еще у тебя отберут девушку и заставят утопить собачку. На самом деле «Муму» о другом. Не буду говорить о чем, каждый поймет его по-своему, если рассказ этот исчезнет из школьной программы и попадет взрослому человеку. Сюжеты-то повторяются. Потому что насилие судьбы над человеком повторяется.

У людей заболела любимая собака. Их гордость. Растили со щенков. Они ее уложили в машину и отвезли в лес. Все. Муж был солидный работник, жена тоже. Уколы, врачи, ночи без сна — это все они себе представили — и увезли. И оставили там несчастную свою овчарку парализованную. Я слышала их рассказ в гостях об этом. Мы должны были посочувствовать бедным хозяевам, каково им это пришлось. Потому что получалось так, что они всё гонят от себя образ умирающей, выращенной своими руками собаки, которая лежит одна в лесу ночью, а она уже ползти не может… Ни воды, ни корочки хлеба. Вороны клюют…

Такая помесь «Муму» и «Спать хочется», другого ужаса школьной программы.

Одна женщина (это уже другой мой Вам рассказ), разведенная, с двумя девочками, очень небогатая, забеременела случайно. Надеялась, может быть, на брак, но не вышло. Хотела

сделать аборт, а тут удача: подвернулась горящая путевка, почти бесплатная, на юг, и женщина уехала, а через месяц уже был большой срок, все врачи отказывались или просили немыслимые деньги, и наконец бедная женщина нашла одного бродягу-фельдшера, девочек отвезла к подруге, фельдшер сделал ей укол да и сбежал, когда начались схватки. Она родила пятимесячного мальчика, тот начал пищать. Что делать? Вынесла его в другую комнату, распахнула окно, а был холод уже. Пока полы отмывала от крови, ребенок все пищал захлебывался, потом умер. Она снесла сверток на Ваганьково, положила внутрь кучи сухих венков. Поползла в церковь, заказала панихиду. И — внимание — с тех пор рассказывает всем эту свою историю. Бабы от нее уже шарахаться начали. Меня предупредили, поскольку она должна была прийти, принести какую-то важную бумажку. Сказали, что она не может видеть маленьких. У меня тогда четырехмесячный Федя в пеленках на тахте болтался, она пришла, тут же его нашла, встала на колени перед ним и поцеловала пеленку…

Еще один вид упрека в мою сторону: «Что вы хотели сказать этим произведением?» Американцы так прямо после каждого спектакля «Чинзано» в штате Кентакки, г. Луисвилль, выйдя на перекус, возвращались, усаживались и спрашивали: «Уот из йор мессидж?» т. е. в чем тут у вас идея? Любознательный народ, создатели фаст-фуда в виде жареных цыплят, кентакки чикен. Другие, более начитанные, в основном университетские педагоги, подходили с другого боку: «А где ваш положительный герой? Ваши идеалы?»

Приходилось отговариваться какими-то пустяками типа: «Мой положительный герой сидит в зале, это зрители». — «А почему?» — «Да так… Если сто человек вместе смеются, значит они все сразу что-то поняли. Если они поняли — значит, они умные и с чувством юмора. И значит, они между строк прочли то, что автор хотел сказать». — «А что вы хотели-то сказать?» — «Вот то, над чем вы придете домой и будете думать». — «Ну а как же читатели?» — «И читатели понимают, не беспокойтесь. Если бы читатели не понимали своих писателей, тиражи бы не допечатывались уже в какой раз, и пиратские книги бы не выходили».

Да, забыла сказать: писатель ведь только тогда существует, когда у него есть читатели. Есть и обратные примеры, когда человек не догадывался о том, что он писатель — например, Кафка, мелкий служащий, который завещал сжечь все свои несчастные рукописи, а его друг не послушался и напечатал их… Но это бывает редко. Кафка требует размышлений, и вполне

могло оказаться, что не нашлось бы никого кроме этого самоотверженного его приятеля, чтобы читать эти долгодоходящие до ума тексты.

А есть литература, которая как раз предназначена для того, чтобы временно не думать. Выключиться. Это тоже важно. Что-то типа медитации. Не сидеть в позе лотоса и не повторять ртом «ум», как мелкий карп в аквариуме, а читать Агату Кристи или Кларка. Или наших. «Победа Психбольного». «Психбольной выходит на тропу». Прочел — время прошло, как не было. Для некоторых это счастье. Я говорю серьезно. Когда бессонница, проблемы, когда горе. В этом состоянии, если жизнь загнала в тупик, такая литература (или музыка туктуктуктук, как выведенный на динамик пульс футболиста перед воротами), или мыльные оперы, или компьютерные игры как снотворное на ночь — это важно. Многие оглушают себя разными способами как рыбу — всплыть кверху брюхом и все. Чем скорей тем лучше.

Но некоторые иногда думают, любят думать. Вот, собственно, для таких моментов существует чтение. Думающему чем сложней дать задачу, тем он будет благодарнее.

И в театр люди ходят по разным поводам: одни забыть — другие вспомнить.

И для таких людей факт не так важен (описанный Пушкиным, Лермонтовым, Шекспиром), как важно поразмышлять. Побеседовать с собой. Примерить ситуацию на себя. Что-то решить.

У меня есть и такие читатели, которые не решают проблем, а просто им подходит способ рассказа. Им, допустим, кажется, что это поэзия, все эти мои страшные случаи. Об этом иногда даже пишут в газетах статьи. И этим людям я благодарна.

* * *

Недавно ко мне подошла одна милая дама, врач-психиатр из Лондона, и сказала, что она будет теперь моя ученица по драматургии, и какой первый совет я ей могу дать. (И сюжет, кстати, заодно.)

Сюжет я ей дала сразу, мама вышла замуж. Все разрабатывали эту тему, начиная с Эсхила и вплоть до Шекспира и Вампилова. Тема неисчерпаемая.

— А вот совет, совет дайте, — твердила дама.

Она была немного пьяненькая. Все присутствующие были слегка под этим делом. Мы отмечали открытие выставки недавно умершего замечательного художника М.Рогинского. Дело

происходило в чужой мастерской.

Уйти от ответа на ограниченной территории не представлялось возможным. Схватить в охапку пальто и шапку значило обидеть ни в чем не повинного ослабевшего человека, к тому же врача. К тому же когда-то она пригласила нас всех в Лондон и объявила, что это фестиваль «Женщины России».

Я собрала все свои силы и сказала:

— Проблема должна быть неразрешимая!

— Че? Простите, че? — пролепетала врач.

— У вас в пьесе должна быть неразрешимая проблема!!!

Моя будущая ученица дрогнула и отошла.

Так сама собой сформулирована оказалась главная причина, по которой пишутся пьесы — есть неразрешимая проблема, и она таковой и останется, чтобы режиссерам и зрителям было над чем подумать.

И в который раз я попытаюсь объяснить, что каждый жанр требует своих средств выражения.

Как бывает разная погода и разное время дня — так бывают и разные жанры. Летом, в хороший денек, когда зелень и легкий пахучий ветер, когда вода блещет и наверху зависло невесомое пушистое облачко — это похоже на короткую веселую сказку. На шутку, на смешной стишок. На перековерканные словечки, которые надо складывать, чтобы понять. Это все жанр дня, жанр смешной сказки и стиха.

Уже вечером, когда лес подступает к веранде, месяц висит тяжелый, золотой, когда в темноте и сырости сладко пахнут белые табаки, а от самовара тянет смолистым дымком — это уже может быть другая сказка, длинная и интересная. Сказка на ночь, с приключениями, горестями, но всегда с победой в конце.

Потому что этот жанр — сказка — он всегда требует хорошего конца.

Другое дело такой жанр как новелла. Есть новелла лирическая, «Дом с мезонином» Чехова, есть новелла и лирическая и комическая, как у О'Генри. Все это — как хороший вечер на веранде, веселая беседа с друзьями, разговор с милым человеком, расставание, отъезд, может быть, навсегда.

Но настоящая новелла — это жанр тяжелого сна. Она как удар под дых. После нее долго опоминаешься. После нее надо вспоминать и думать. Она застревает в памяти и не уйдет никогда, становится фактом вашей жизни. Великие новеллы XX века — «Легкое дыхание» Бунина, «Рассказ о семи повешенных» Леонида Андреева, который мне много раз снился, и моя

бабушка, выходя из фургона на казнь, повязывала всем платочки на шею и крепко целовала… «Весна в Фиальте» Набокова, «Возвращение» Платонова. Новелла редко кончается хорошо, такой жанр. Она вызывает слезы.

Роман не кончается ни хорошо ни плохо, он длится как жизнь, этот жанр подробен, в нем устраиваешься удобно и потом можешь читать хоть кусками. Его и пишут долго, иногда убивая себя, как убил себя Марсель Пруст непосильной для больного человека работой, написав великую и самую трудную книгу XX века «В поисках утраченного времени». Как истощил себя Булгаков, работая до последнего над «Мастером и Маргаритой». Как Джойс — он долгие годы диктовал свой заключительный роман «Поминки по Финнегану», совершенно непонятные тексты, и на расшифровку одной только главы из этого романа у польского исследователя М.Сломчиньского ушло двадцать лет… Джойс ослеп окончательно над этим своим трудом и вскоре умер. А разгадка этого непонятного текста, по-моему, ходит рядом — у бедного Джойса сошла с ума любимая дочь, и он попытался, может быть, написать роман ее языком, языком, в котором все отдельные слова понятны, а вместе они не значат ничего — или значат все.

Попробуйте составить фразу, не значащую ничего. Не выйдет. Я как-то вставила в свою пьесу «Бифем» такие тексты. Но они просто обозначали помехи в микрофоне, неразборчивость. А Джойс написал целый роман!

Или вот есть драма. В жанре драмы самое важное, как ни странно, чтобы зритель смеялся на спектакле — почти до конца. В конце надо дать ему поплакать. Вот этот жанр драматургии — трагикомедия или даже комическая трагедия — его нельзя написать подзаголовком. Скажем, драматургическое произведение «Сны в саду пустяков», а в скобках «трагикомедия». Потому что если это трагикомедия, то это не жанр, а удача. Получилось — жанр, а не получилось — извините, какая там трагикомедия, если зрители, не всколыхнувшись ни разу, пошли домой как были, с новыми ощущениями в виде бутылки «Пепси» и подозрительного театрального пирожного в животе?

А какие бывают, допустим, жанры у ночи? Некоторым людям ночь дана для крепкого сна, другим — для пира и прогулок, третьим — для воспоминаний, ненаписанных писем и слез, четвертым — для тайных и нехороших промыслов, для греха.

Жанр крепкого, интересного сна я бы определила как длинный роман, жанр пира и прогулок — как комедию (часто с переходом в историю болезни или милицейский отчет), жанр тайных промыслов — сами знаете, это как криминальное чтиво,

или род порнухи и игривых статеек в мужских журналах.

Но любовь, воспоминания и слезы — это уже новелла.

И оставьте каждому жанру свое. Все они поместятся на книжной полке.

А вот как обойтись писателю, который заплакал, написав свой рассказ о любви? Как ему утешить себя? Чем успокоиться?

Имелся у меня такой метод, когда они все были маленькие. Надо просто рассказать детям (Кузе, Мышепотаму, Уте, Мыши и мальчику Поросенку Петру Первому, а также тому Кенгуренку, который пока сидит в сумке) — рассказать им на ночь сказку! А потом, утром, если получится, записать эту сказку, и — когда-нибудь — опубликовать…

Но вот читатель — он не помнит добра, не помнит сказок. В его бедном сердце, как шип, торчит прочитанная новелла или увиденная пьеса. И читатели горько упрекают автора, не прощают ему, помнят… Иногда долго.

Спасибо им.

Остаюсь Ваша
Людмила Петрушевская

Маленькая девочка из «Метрополя»

Начало

Когда я думаю о человеческом роде, то представляю его себе не в виде генеалогического древа с ветками.

Род выглядит как лес, он просматривается далеко — и в виде цепочки людей-деревьев, которые держатся за руки. Почему-то так. Там, в тумане времен и веков, стоят они, предыдущие поколения, многорукие деревья, и каждый предок соединен ветвями с одной своей стороны с родителями, а с другой стороны с детьми. И каждый и отец и одновременно сын, и сам по себе единственный в мире. И каждая из них — дитя своей матери и мать своей дочери или сына и в то же время отдельное, непохожее ни на кого создание. И каждый един в трех лицах — дитя, родитель и личность.

Пока тот, в центре, силен, он поддерживает обе стороны, и тех, кто стоит перед ним, и тех, кто встал потом. И этот центр перемещается со столетиями. Человек слабеет, его сила переходит к следующему поколению. Его ум, его знания уходят с ним, их не передашь, а качества могут перейти к потомкам — упорство, даже зверское упрямство во вред себе; сила духа; убеждение, что еда должна быть спартанской, а вода для обливания холодной; обжорство в праздники; несогласие с властями; верность своей позиции во вред себе и ближним; сентиментальность, любовь к музыке и поэзии и вздорность по пустякам; свирепая честность и полная невозможность прийти куда-нибудь вовремя; чистота помыслов, стремление всем помочь и ненависть к соседям; любовь к тишине и громкость повседневного крика; умение жить без денег и безумные траты на подарки; полный тарарам в доме и жесткие требования к домашним убирать за собой — и безграничная любовь к малышам, особенно когда они спят во всей своей красе.

Моя прабабушка Ася умерла от сепсиса в тридцать семь лет, оставив шестерых детей. Ее муж, мой прадед Илья Сергеевич, врач, пошел к реке. Он считал себя виновным в смерти жены. Все пятеро побежали за ним, догнали на берегу и повисли на отце, остановили. Маленькую несла старшая, Вера. Когда маму Асю хоронили, дочь Валечка восьми лет шла за отцом как тень, ступая в его следы и бормоча про себя: «Я всю жизнь буду идти по твоим стопам». Они почти все стали подпольщиками, дед был большевик, борец за права угнетенных. Работал он обычно доктором при фабричном управлении, а к нему стекалась хворая беднота из поселка и деревень. И он вообще никогда не брал денег за лечение. Только жалованье. Принципиально принимал

всех угнетенных, а должен был обслуживать только персонал. Поэтому, как правило, его увольняли быстро, и работу он находил преимущественно на эпидемиях, на холере и чуме — туда принимали всех врачей, даже ссыльных.

Я, как только начала говорить, назвала его Дедя.

Вегера

Я родилась в гостинице «Метрополь», это был второй Дом Советов, гостиничные номера там занимали старые большевики, в том числе мой прадед, Дедя, Илья Сергеевич Вегер, член РСДРП с 1898 года. Там же жила, после развода с мужем Н.Ф.Яковлевым, дочь И.С.Вегера, моя бабушка, Яковлева Валентина Ильинична, тоже член партии с 1912 года, с дочерьми Верой Николаевной и Валентиной Николаевной, моей будущей мамой. Все три, как полагается в сказках, были удивительные красавицы. За бабушкой Валей бегал юный Маяковский, но она предпочла студента Колю Яковлева. Их дочь Вава (Вера) выросла и стала самой красивой девушкой (белоснежная улыбка, косы, синие глаза) Бронетанковой академии, а моя мама с четырнадцати лет, будучи очень высокой девочкой, выходя на улицу, подвергалась постоянным провожаниям кавалеров, в особенности солдат, причем она им простодушно отвечала на вопросы как зовут и где живешь, но не говорила сколько лет, и это огорчало ее мать и сестру. В семье мою маму звали Люлей, она была младшей, и ее всегда считали неопытным ребенком. Хотя она упорно училась, читала горы книг и в школе, и на своем литературном факультете. На ее письменном столе стояли пирамиды томов (по одному только Средневековью было три огромных хрестоматии). Она настолько серьезно занималась литературой, что воспринимала обычное чтение как профанацию. Про племянницу третьей жены своего деда (Деди), которая племянница в самую голодуху частенько приходила в «Метрополь» к Деде за книгами, Люля говорила: «Ну конечно, тургеневская девушка на скамейке у пруда с романом в руках». На самом деле племянница оставалась ужинать.

Литература для молоденькой Люли была объектом изучения! Втайне же она любила раннего Горького.

Но так вышло, что Люля, наивная, серьезная и совершенно невинная девушка, забеременела в день своего рождения, 23 августа 1937 года, на даче в Серебряном Бору.

Я в детстве слышала своими ушами, что она сказала нашей пузатой, на восьмом месяце, дворничихе Гране, которая пожаловалась, что долго не могла забеременеть. Мы стояли в воротах, и мама засмеялась, показывая на меня: «А я вот с первого раза…»

В то лето они жили в Серебряном Бору.

Это была государственная дача старшего бабушкиного брата, Владимира Ильича Вегера, старого большевика, руководителя

партийной ячейки РСДРП на Красной Пресне и одного из организаторов знаменитого краснопресненского восстания с баррикадами 1905 года. Его партийная кличка была Поволжец.

(Я сейчас работаю между станциями метро «Баррикадная» и «Улица 1905 года». И никто не знает, что все это дела моего двоюродного деда Владимира Ильича, все названия, эти вывороченные камни мостовой и баррикады, все эти будущие скульптуры типа «Булыжник — орудие пролетариата». До сих пор московский транспорт тарахтит по специально оставленному историческому булыжнику между площадью Восстания и метро «Баррикадная».)

Поволжец, кстати, принял в партию пятнадцатилетнего подростка Маяковского, после чего тот загремел в Бутырскую тюрьму и впоследствии вышел из партии.

Маяковский ходил в дом к Владимиру Ильичу-Поволжцу и там познакомился с его младшими сестрами, Верой и Валей Вегер. В Валечку он влюбился немедленно.

Бытовала наша семейная легенда, что Маяковский с Бурлюком из этого дома вышли в блузах, Маяковский в знаменитой желтой, Бурлюк в лиловой. Мама мне рассказывала, что блузы мальчики взяли у сестер — но девушки были маленькие, а Маяковский огромный. Сомневаюсь. Может быть, ребята просто для смеха примерили? Правда и то, что блузы тогда курсистки носили пышные, на сборках.

Моя мама также говорила, что в тридцатом году она со своей матерью ехала в трамвае, и они столкнулись там с Маяковским. Бабушка сказала Маяковскому: «Это моя дочь». Вид у поэта был какой-то изнуренный, усталый. Шел последний год его жизни.

* * *

В 1937 году Владимир Ильич Вегер-Поволжец выстроил себе загородный дом на Сорок Втором километре по Казанской дороге в кооперативе научных работников, а государственную дачу в Серебряном Бору на лето отдал сестре Валентине (моей будущей бабушке) и ее дочкам.

Весной этого проклятого года произошли страшные события. В мае был арестован и подвергался допросам бабушкин брат Женя Вегер, член Политбюро Украины и секретарь Одесского обкома партии, была арестована и шла к расстрелу его сестра Леночка Вегер (она долгие годы руководила секретариатом у Калинина). Был арестован и казнен муж Аси, бабушкиной сестры, а саму Асю увели почти год спустя, она много лет просидела в

ГУЛАГе. Расстрельный приговор тогда мягко называли «десять лет без права переписки».

Остальным приходилось ждать внезапных гостей. Это была пытка.

Каждую ночь бабушка вроде бы улавливала шум, как будто машина останавливается где-то вдали, открывается калитка, и очень явственно слышатся шаги по гравию…

В те годы именно ночью приходили за людьми, опечатывали квартиры, и больше никто и никогда не видел этих людей.

Каждую ночь кто-то явственно шел от их калитки к дому. Скрипел гравий. Но в дом не заходили. Надо было ждать. Спать стало невозможно. Выйти посмотреть она боялась.

Она пошла к психиатру. Он сказал ей: «Оставайтесь у нас, здесь вы будете в безопасности». Она осталась. Видимо, это ее и спасло. Ее так и не арестовали.

Моя бабушка была исключительно умная и прозорливая женщина. Она знала, что забирают всех — кроме психов со справкой. Молодая жена Жени Вегера, Соланж Корпачевская, пианистка и красавица, наполовину француженка, после ареста мужа была также схвачена — но в камере от ночных допросов она сошла с ума, и ее освободили. Когда Дедя к ней пришел, она беспрерывно рыдала, сидела на кровати седая в свои молодые годы, черная, истощенная, и бессвязно кричала. Дед был врач. Но он не остался у ее изголовья, а развернулся и без слова ушел. Не знаю почему. Может быть, он сам внутри себя так же хотел кричать все это время, но сдерживался. А она, безумная, была свободна в своих воплях. Женя был его надеждой, его гордостью (со старшим, Володей, он не общался со времен революции), Леночка — младшей любимейшей дочерью. Возможно, что человеческих сил вынести этот крик не было.

Дальнейшая судьба невестки была ужасной — мать Соланж забрала ее и ее маленького сына, увезла на Украину. Началась война, пришли немцы. Соланж с сыном и матерью вместе с колонной евреев из гетто были заживо закопаны в землю.

Но это произошло позже.

В описываемое время, летом 1937 года, Соланж еще, видимо, сидела, от Леночки, Жени и мужа Аси не поступало никаких сведений (та самая формулировка, «без права переписки»). Женю и Леночку арестовали 23 и 24 мая 1937 года. Леночку расстреляли 3 сентября. Женю 21 ноября.

Позже мне сказали, что кто держался дольше, не признавался в шпионаже, не подписывал бумаг, тех мучили больше и казнили позже.

А моя будущая семья в это страшное лето скрылась в

Серебряном Бору. Иногда люди просто уезжали из своего дома, и посланные из НКВД их не находили.

Моя мама рассказывала, что Стефан (мой предстоящий отец, тоже, как и она, студент ИФЛИ, но не литфака, а философского факультета) приезжал к ней в то лето на дачу в Серебряный Бор… Она не уточняла, в какое время это происходило и где они виделись. Судя по всему, вечером и не в доме.

Позже я узнала, что мой отец был родом из Николаевской губернии, село Верхние Рогачики, и в его большой семье (это мне сказали уже другие люди) многие страдали туберкулезом. Он приехал в Москву больной, без ничего, как Ломоносов, поступил на рабфак на правах сельского бедняка с выдающимися способностями, а затем в ИФЛИ. Своего угла не было. К врачам он, скорее всего, не обращался. Может быть, боялся, что положат в больницу, придется потерять год. Жил и жил, покашливал. Он был высокий, кудрявый, симпатичный. Моя мама, усердная студентка литературного факультета, была красивая, сдержанная, серьезная, в жизни не понимала ровно ничего и вечно сидела над книгами. Кроме того, семья этой милой особы жила в самом лучшем доме Москвы, в «Метрополе». А ее мать раньше работала в Кремле, а потом в комитете по науке. А сестра училась в Бронетанковой академии. Поэтому мой будущий отец их, вероятно, сильно боялся.

Так что не исключено, что ночами, таясь от мамы и сестры своей любимой девушки, Стефан, видимо, как тать ночной, шел от последнего троллейбуса к калитке, потом по гравию пробирался к ее окну и вызывал на свидание. Так я думаю. Эти шаги, которые никогда не заканчивались стуком в дверь!

Бабушка была совершенно здорова психически.

Такова моя версия тех событий.

Во всяком случае, шаги были, но моих родных не забрали на Лубянку.

Короче, я родилась 26 мая 1938 года, примерно через девять месяцев после маминого дня рождения.

Но меня не опечатали в квартире, как это случалось с младенцами арестованных, и я росла у бабушки под боком под звучание великих текстов русской литературы, но об этом ниже.

* * *

А примерно два года спустя после описываемых событий мои родные вернулись домой и увидели, что дверь, ведущая в их

комнаты, все-таки опечатана. То есть бабушка шла впереди, стала открывать дверь, не открыла, повернулась и навсегда покинула эту квартиру, не говоря ни слова…

А шедшая сзади Вава, в свою очередь, подошла к двери и увидела, что там на ручках намотана проволока, а на проволоке висит пломба.

Может быть, если бы они вернулись домой раньше, их бы уже увезли. Но они опоздали как всегда. Наша семья опаздывает вечно, из поколения в поколение.

Из их дома, из «Метрополя», исчезло уже много народу.

Так Вава простилась с соседушкой через стенку, фамилию которой она не помнит точно, вроде Калыгина. Она была секретарь обкома и часто приезжала в Москву в свою комнату в «Метрополе», всегда с командой из нескольких мужчин-помощников.

В тот раз Вава вошла в квартиру и увидела соседку в сопровождении двоих: один в форме шел впереди, другой, в штатском, сзади нее.

Вава радостно с ней поздоровалась. Калыгина отвернулась и сжала рот.

Вава сказала матери:

— Анну Степановну провели между двоих.

Моя бабушка даже не кивнула.

* * *

Без одежды, вещей, книг, потеряв мебель, одеяла и посуду, не говоря о картинах, они пришли к Деде, к Илье Сергеевичу Вегеру, в соседний подъезд «Метрополя», и поселились у него.

А я запомнила ту нашу, предыдущую квартиру в «Метрополе», две смежные комнаты с дверью посредине, над дверью картина: на изумрудном фоне женская головка в профиль с изогнутой шеей и ярко-рыжими волосами в виде шлема.

Яковлевы

Мама подтвердила потом, что слева от двери наверху висел портрет моей прабабки со стороны деда, как я теперь знаю, Александры Константиновны Яковлевой, урожденной Андреевич-Андреевской, помещицы хутора Булгарин Области Войска Донского. У нее в имении, по семейной легенде, висел в рамке документ о том, что ее предок, Андреевич, при дворе польского короля Жигмунта Августа получил дворянство. Вроде дата стояла, шестнадцатый век. По семейным преданиям, братья Андреевичи, запорожские казаки, служили у короля Жигмунта конюшими. И один из них остановил на скаку понесшего королевского коня, после чего ему и было даровано шляхетство, т. е. дворянство. Его потомок, Яков Максимович Андреевич, известен тем, что был декабристом, состоял членом тайного общества. Яков на каторге проявил себя как художник-любитель, и сохранился его портрет работы Н.А.Бестужева, сделанный в Петровском заводе (позднейшая копия поступила в московский Музей частных коллекций). Яков Максимович Андреевич изображен с кистями в руке. Он содержался в Читинском остроге, затем в Петровском заводе. Его перевели на поселение в Верхнеудинск, когда он уже был безнадежно болен психически. Умер Яков Андреевич 39 лет от роду, просидев 14 лет.

Второй Андреевич, Гордей, был арестован по подозрению в участии в тайном обществе, содержался в Петропавловской крепости, но был освобожден.

* * *

Портрет Александры Константиновны над дверью нашей квартиры принадлежал кисти Валентина Александровича Яковлева, художника из группы «Московский Салон» — он приходился двоюродным братом моему дедушке, Николаю Феофановичу Яковлеву.

Валентин умер молодым в 1919 году. Сейчас работы В.А.Яковлева хранятся в Воронежском и Омском музеях. Недавно была выставка в галерее «Элизиум», куда собрали немногие уцелевшие живописные вещи Валентина Яковлева. У нас сохранилась только картина «Амур и Психея», живопись маслом на картоне. Я под ней выросла, это единственное, не считая полки книг, что осталось у нас от дедушки Коли. Став профессором, он собирал редкие экземпляры, первоиздания Пушкина, Библии,

раритеты. Все это исчезло.

Моя бабушка вышла замуж за моего дедушку юной, да и дед был совсем молодой, он закончил университет, когда у него уже родились две дочери.

Баба Шура, свекровь, жила на Остоженке, в Лопухинском переулке, в особняке с садом. Когда ее сын Коля привел молодую жену Валю в свой дом, где по барскому обычаю на сундуке в сенях спала прислуга, то не привыкшая к таким нравам юная большевичка Валентина вообще несколько дней безвылазно сидела на своей половине от неловкости — поскольку первое, с чем она столкнулась на новом месте, это был казачок, слуга, который, в темной прихожей соскочив с сундука как нечистая сила, стремглав бросился ей в ноги: как потом выяснилось, стаскивать ботинки.

Баба Шура, помещица, ночь-заполночь играла с гостями в карты, не было гостей — играла с прислугой. С мужем, Феофаном Васильевичем, она разъехалась, у него была собственная клиника (уха-горла-носа), где он и жил со своей помощницей-медиком как главный врач, отдав больницу советской власти. Сын четы Яковлевых, мой дед Коля, сначала учился в Первой гимназии на Волхонке, 16, где инспектором и преподавателем литературы был В.Ф.Луговской, любимый учитель дедушки. Затем дед поступил в Московский университет и ездил (по семейной легенде) на своем авто и играл на скрипке. Его сестра Мария, разумеется, росла красавицей, она собиралась в артистки. Брат Павел стал офицером (в гражданскую он ушел с Белой гвардией в Турцию и кончил свои дни в преклонном уже возрасте, таксистом в Париже, Маруся его там навещала).

Опять-таки, по семейной легенде, дед мой, поехав перед революцией по ученым делам в Германию, привез жене оттуда переданный русскими чемодан, не поинтересовавшись, что в нем. А там содержался миллион партийных денег. Вот так! А не какой-то там пломбированный вагон.

Обе девочки Яковлевых, Вера и Валя, родились там же, в доме на Остоженке. Они научились вылезать в садик прямо через окно.

Когда молодые супруги переселялись на верхний этаж дома на Народной улице, что на Таганке, то мать завела обеих малышек в пустую квартиру, а сама встала в дверях, чтобы ожидать грузчиков, тащивших мебель по лестнице. Окна по летнему времени были открыты.

Старшая, Вава, которой было три годика, подбежала к двери и настойчиво стала тянуть мать за подол. Та не могла уйти с лестницы, надо было указывать грузчикам, куда что нести. Но Вава не уступала, тянула за юбку и кричала. Мама Валя наконец

сдалась и пошла за ней. И что же она увидела? Малышка Люля стояла на подоконнике и собиралась вылезти из окна на улицу (с пятого-то этажа), как привыкла в старом доме.

Так Вава спасла Люле (и мне) жизнь.

Чудом сохранились дневники того времени друга дедушки, поэта и этнографа, востоковеда, исследователя Дагестана Евгения Шиллинга. Как поэт он печатался в знаменитом журнале «Маковец», участвовал в сборниках стихов вместе с Велимиром Хлебниковым.

Он был глубоко религиозным человеком, посвятил одну из своих пьес-фантасмагорий Павлу Флоренскому, вступил с ним в переписку и впоследствии навещал его в Сергиевом Посаде вплоть до его ареста. Сам Е.Шиллинг был арестован в 1932 году как собиратель Музея народов СССР, начиналось «дело музейщиков». Но оно как-то заглохло, НКВД переключилось на более эффектное разбирательство, дело Промпартии. Евгения Шиллинга отпустили.

Эти дневники он писал раз в год, в ноябре, в форме писем Другу. По его формулировке, дальнему Другу — может быть, ангелу-хранителю. Ни разу он не назвал его по имени. Но обращался к нему как-то по-свойски, например, «друже».

Данная дневниковая запись относится к 26 ноября 1917 года, как раз когда Яковлевы с маленькими дочерьми переехали на Народную улицу. Стоял ноябрь. Женя Шиллинг навестил Колю и Валю Яковлевых. Вот запись:

> «Был у обеденьки. Служил архиерей Кирилл Тамбовский.
>
> Среди дня сумерки. Дома прилег… Пришлось рано или поздно выходить на дальнюю дорогу и, рано ли поздно ли, прибыть к некоей чете с чадами. У нех протек весь вечер. Приняли хорошо, поздоровались, отрезали кусок пирога и для забавы инсценировали начало Антонидиной арии из «Жизни за царя» — «Налетели злые коршуны»… Причем меня заставили играть роль того, на кого «налетели», а сами исполняли «коршунов». Вышло очень мило благодаря простодушию инициаторов картины и их музыкальности. И дальше все пошло своим чередом: все прибрано, сновала прислуга, горела лампа и освещала поющую женщину. Маленькие девочки слушают мать. Сразу видно, что поет словесница — и напев, и текст будто бы подлинные. Пора спать, а девочка просит: «Мама, расскажи про детей земли!» Сразу видно, что это была «литературная» сказка или,

вернее, «новейшая» сказка. И на том и на другом отпечаток модерна с художественным уровнем (говорю лишь для данного случая) пуговиц модного дамского пальто. А как уютно: лампа, женщина, девочки… Совсем детство. Чувствую, ресницу гнетет серая нежная паутинка: надо кончать. Где-то поет розовая молочная пенка; в сердце вспыхивают глазки. Как уютно: если окинуть все тихим взглядом, но не всматриваться, не вслушиваться. Дети земли, какой ужас! Модерные соринки и штришки! Как коротко и тесно. Нельзя побыть, войти и остаться. Нарисованные декорации комнаты с изображением стола, стульев, лампы. Какими они будут непонятными, эти девочки. У них будут лбы и, может быть, это будут лбы Медуз. Что таится за их глазами? М.б., представление какого-то «общего блага» в связи с забавной формой маминой муфты. Хорошо бы миру сему немножечко «сердечного тепла», а то ведь за последнее время измаялся, в комнату не могу к людям войти — все кажется, у них клочья изо рта лезут. Все говорят, занимайтесь делом, что, мол, делаешь? Уроки даешь? Много энергии отнимает? Времени нет? Или: а ты был там-то и там-то? С кем? Дружок мой, не знаешь ли еще, между прочим, почему победители (здесь это так называемые «большевики») кажутся людьми, пообедавшими два раза? Прости за ерунду, дальнего не было. Впрочем, было: ночью начал «Эликсир сатаны» нашего общего друга Э.-Т.-А.Гофмана. Да, когда возвращался домой, лобызал в душе сандалии апостола Павла».

Он написал: «Какими они будут непонятными, эти девочки». Ему было двадцать пять лет. Моей бабушке, этой «поющей женщине», было двадцать три.

Евгению было неловко в этой семье. Его друг вступил в партию большевиков и участвовал в уличных боях с юнкерами… Со своими!

«Дважды пообедавшие» большевики. Так и напрашивается слово «победившие». Игра слов. Победа. Обеда. Беда.

Мне как будто показали отрывок из фильма.

Мои тетя и мама, трех и полутора лет от роду, малышка Вава и крошечная Люля, стоят у стола под лампой и смотрят во все свои глазищи на красивого дядю из-под своих выпуклых лобиков…

Этот отрывок из дневника продиктовала мне замечательная художница Катя Григорьева-Шиллинг.

Однажды в гостях мы сидели рядом, нас представили друг другу. Я ей сказала, что у меня в детстве был друг дядя Миша с такой фамилией Шиллинг. И вдруг она ответила, что это, наверно, ее дядя! Потом выяснилось, что вообще мы жили с ней в одном подъезде! Потому что ее отец, Евгений Шиллинг, и мой дед были друзьями, и Шиллинг в 20-х годах, когда мой дед ушел из семьи, пригласил его жить у них в квартире! А моя мама потом тоже там поселилась, после Куйбышева.

Языковед Яковлев и этнограф Шиллинг вместе ездили в экспедиции по Дагестану, мой дед Коля в шинели и с пистолетом, а Женя без ничего, с блокнотом (оба одинаково не от мира сего деятели).

Квартира № 37 принадлежала трем братьям Евгения — Константину, Николаю (оба они рано умерли) и Мише. Николай был женат на Натуле Реформатской, сестре А.А.Реформатского, известного филолога (тоже хорошего друга деда Коли).

В 20-х годах, когда квартиру Шиллингов на Малой Дмитровке, 29, «уплотняли», т. е. решили вселить в нее посторонних, Евгений Шиллинг пригласил к себе жить моего уже разведенного деда Николая Феофановича с его новой семьей, а сам переехал к матери этажом выше. Собственно, в одной из комнат квартиры братьев Шиллингов, в самой маленькой, в бывшей библиотеке, и протекала впоследствии наша с мамой жизнь (под столом).

Мой любимый детский друг был как раз дядя Миша Шиллинг, наш сосед, брат Евгения, врач-рентгенолог в поликлинике НКВД, в молодости мечтавший быть артистом. Перед нами с мамой он под хорошее настроение и под тра-ля-ля исполнял свой знаменитый танец с тросточкой и в котелке — абсолютно как Чарли Чаплин. К нему я заходила как в рай — в его чистую комнату с портьерами и напольными часами, со старинным абажуром над скатертью, а за ширмой стояла тумбочка с мраморным верхом и солдатская койка, заправленная по всем правилам. А в пустом шкафу висела военная форма. Дядя Миша иногда ходил по квартире в голубом теплом офицерском нижнем белье вместо пижамы и был очень элегантен.

Я мечтала, что когда вырасту, у меня будет такой же квадратный стол со скатертью, напольные часы и абажур. И я буду есть ножом и вилкой и пользоваться салфеткой, как дядя Миша (а не из кастрюльки ложкой и не с газетки руками, и вытираться не рукавом и не пригоршнью).

Свой второй в жизни рассказ я написала о дяде Мише, но никогда не публиковала. Он женился на тете Вале, рабочей сцены из Детского театра, доброй и приветливой, низкорослой, плечистой, с узким тазом и очень развитыми икрами, а лицом похожей на Марка Бернеса. Перед этим она много лет ходила к нему невидимкой, ее скрывала завеса тайны, и в эти вечера комната дяди Миши стояла запертой. Иногда ночью, выйдя в уборную, я включала там свет, и чья-то голая рука в панике, наобум высунувшись из двери туалета, гасила его. Потом дядя Миша предъявил всем свою новую жену! Тетя Валя и дядя Миша всегда были довольны друг другом, веселы, неразлучны как близнецы и курили не переставая. Когда впоследствии у дяди Миши ампутировали обе ноги, жена выносила его во двор погулять на скамейку…

Одна из фамилий в моей пьесе «Три девушки в голубом» — Шиллинг. В его честь. Он единственный в доме был добр к нам с мамой.

Возвращаясь к жизни семьи Яковлевых, хочу добавить, что дед Коля укладывал дочерей спать своеобразно: садился между их кроватками и пел им старые казацкие песни («Течет реченька д по песо-очику д бережка-а разно-ос-ит»). Казак он был с Дона. Я эту песню тоже по наследству пела детям.

Когда после революции начались голод и нищета, его мать, баба Шура, поехала за продуктами и вещами (по легенде, за драгоценностями) в свое имение на Дон и была на дороге расстреляна красноармейцами. Говорят, у нее хитростью стали выяснять, как она относится к белым и красным. Она не разобралась, растерялась и сказала правду. Там, на обочине, ее и закопали. Кто-то был с ней рядом, кто ее хоронил и кто передал нам эту историю.

А вот отрывок из статьи, написанной о ее сыне, моем деде профессоре Яковлеве, его учениками, профессорами Ф.Ашниным и В.Алпатовым:

> «Дворянин, выпускник Московского университета, основатель Московского лингвистического кружка, в котором начал свой путь в науку Роман Якобсон, Яковлев в 1917 году ушел в революцию. А потом вернулся в науку, что можно было сделать только сдав партбилет. В 20-е годы он выступал в трех ролях: один из создателей структурной фонологии (Якобсон потом говорил, что Яковлев эти идеи, теорию фонем, выдвинул раньше, чем они с Николаем Трубецким); видный исследователь чеченского, ингушского, кабардинского и

> других языков; и лидер языкового строительства. В 1928 году ради научного конструирования новых алфавитов он предложил математическую формулу построения алфавита. Он начал переводить кавказские языки на латиницу, так как кириллица считалась языком колонизаторов. Им было составлено около 70 алфавитов».

Должна добавить, что латиницу в кавказских письменностях упразднил Сталин. Мировая революция, ради которой вводилась латиница, временно откладывалась. Надо было сначала расстрелять кое-кого у себя дома.

В статье упоминается академик Марр. Я в детстве довольно часто слышала дома это имя. Дед всю жизнь боролся с Марром. Как говорится в статье, Н.Ф.Яковлев отстаивал «конструирование алфавитов от некомпетентного вмешательства марристов», делая это «в обстоятельствах господства ненаучного «нового учения о языке» Марра…»

Но, сказано далее: «Яковлев в ряде случаев поддался марризму».

Короче говоря, когда Сталин опубликовал свою очередную эпохалку, антимарровскую брошюру «О марксизме в языкознании», дед Николай Феофанович, вечный и одинокий борец с Марром, «попытался хотя бы по некоторым пунктам спорить с вождем», как пишут исследователи.

Спорить с вождем…

Когда все были за Марра, дед воевал с ним. Когда против Марра выступил Сталин, Яковлев возразил «по некоторым пунктам».

Ну был в истории такой один Джордано Бруно. Боролся за правду, не предавал своих принципов.

Мой великий дед много лет просидел в психушке. Его забрала оттуда Вера Николаевна Яковлева, моя тетушка.

Когда в Москву в послесталинскую эпоху приехал знаменитый американский професор Роман Якобсон, он пытался встретиться со своим старым другом. Ему деликатно возразили. Не стали показывать деда, пощадили обоих.

Возвращаясь ко временам молодости моих Яковлевых: я ничего не знала о том, что дед был коммунистом и потом вышел из партии. В семье об этом не говорилось.

Но я прекрасно понимаю, под чьим влиянием он вступил в

партию.

Сохранилась фотография, на которой летним днем, на лугу, в идиллической обстановке стоят Дедя (Илья Сергеевич) и мой грядущий дед Коля Яковлев. Впереди моя будущая бабушка Валя. Рядом с нею с одной стороны старшая Вера, а с другой — подросток Леночка и, чуть постарше, Женя.

У девушек в волосах розы, в руках посохи — видимо, это загородная прогулка.

Дедя стоит как-то воинственно. Как мне сказали, он не любил, когда его дочери выходили замуж. А тут явно к этому дело шло, учитывая несчастный вид Коли и лукавую улыбку молоденькой Валентины.

Это фотография, видимо, 1912 года.

Как не хотелось бы знать их будущее…

* * *

Удивительно, что я запомнила профиль с портрета расстрелянной бабы Шуры, исчезнувшего в лубянских хранилищах (скорее всего, из распределителя попавшего не в музей, а на стенку к кому-нибудь из «своих»). Портрета нет, а с него началась моя жизнь, т. е. началась моя память. Человек — это его память.

Помню, например, такое событие, что я учусь ходить вдоль дивана. Руками держусь за сиденье и не очень умело перебираю ногами. Дело происходит на дачной веранде, залитой вечерним солнцем. Я жмурюсь, мне весело. Я научилась ходить поздно, в годик, после длительного воспаления легких. Мне хорошо, я рада, и мама рада, что я хожу. Счастье связано с теплом, светом, зеленью и мамой. 1939 год.

* * *

И вот этот вид в «Метрополе» — я стою в огромной комнате, передо мной распахнутые двери в другую комнату, на стене портрет бабы Шуры с лебединой шеей и темно-красными волосами, а передо мной тазик. Мне кричат, чтобы я не наступила в него, осторожней! (Может быть, меня только что подержали над этим тазиком?)

* * *

…А вот я рухнула с сундука. Тесная, темноватая комната, заставленная вещами. Я разбила себе голову. Огромные озабоченные люди, их тени. Мы уже не дома. Это не наши две комнаты в «Метрополе». Мы у чужих. Нашу квартиру опечатали. Мы «скитаемся». Это слово из моей детской жизни.

Шрам у меня на виске у левой брови.

Начало войны

А начало бесперебойной череды событий, отложившихся в памяти, следует отнести к 1941 году, к началу войны. Мама меня несла в бомбоубежище, вниз в метро «Площадь Свердлова» ночью, и было очень весело, над головами творилось что-то праздничное, как при салюте: лучи прожекторов, белые столбы света, сходясь шатром, двигались и перекрещивались в темном небе (на самом деле шарили в поисках самолетов).

Я не хотела спускаться под землю, все задирала голову (я помню, как тянула шею), радовалась и требовала стоять. Но пришлось уйти вниз. Мы ночевали на станции метро, там в туннелях были уложены щиты. Мама несла с собой постоянную сумку с подстилкой. Мы располагались на твердых досках. Виднелась черная арка туннеля. Это было приключение!

В октябре 1941 года мы на товарняке уехали с Дедей, с моей мамой Люлей, с бабой Валей и моей тетей Вавой в эвакуацию в город Куйбышев (теперь это Самара).

По словам моей тетушки Веры Николаевны Яковлевой (ей сейчас, в 2005 году, 91 год), всех отправляли из Москвы в эвакуацию очень настойчиво, особенно стариков и детей. Моя тетя поехала на вокзал, где уже находился приготовленный эшелон. Вышла на перрон, посмотрела. Там на сцепленных открытых платформах стояли новенькие троллейбусы. И сзади один грязный товарный вагон с раздвижной дверью. В нем на полу толстым слоем лежал какой-то порошок, может быть, мел. Тетушка Вава поняла, что в новенький троллейбус нас, членов семьи врагов народа, не посадят, и начала убирать в вагоне, сгребать порошок. На следующий день они пришли вместе с моей мамой Валентиной, уже вооруженные фанерками. Много часов сгребали мел. И когда все было чисто, привезли нас — Дедю, меня и мою бабушку Валю плюс скарб, главное в котором были одеяла. Стояли холода, был конец октября, начало морозов 1941 года. Наша семья постелила одеяло, закуталась в другие и просидела несколько суток на вокзале в таком состоянии. Потом, перед самым отходом поезда, к нам в уже чистый вагон вселился умный начальник эшелона с женой и ребенком шести лет. Он понял, что в щегольских троллейбусах будет лютый холод, и выбрал теплушку (хотя она тоже была ледяная).

Но нам повезло с ним — на первой же станции пробивной начальник приволок чугунную печку, похожую на невысокую бочку с трубой. Поскольку он явно подметил, что вдоль рельс был грядками насыпан бесплатный каменный уголь, видимо, для

паровоза. И добился печурки. На остановках взрослые спрыгивали с высоты в снег и набирали угля, топили им эту бочку. Было не так холодно, к тому же на печке, рядом с трубой, кипели два чайника.

Это чувство уюта, когда из ничего, из черной пустоты вдруг чиркает спичка, зажигается огонек, вот кружка горячей воды, вот кусочек хлеба, подстилка для спанья, пальто чтобы укрыться — это чувство всегда возникало, когда приходилось устраиваться на новом месте. Пусть будет только кружочек света, немножко тепла, покормить и укрыть малышей — и жизнь начинается! Начинается счастье. Меня никогда не пугали обстоятельства. Детки под боком, и уголок найдется. Вечная и главная игра жизни, свой дом.

Моя родина мала
Света свечки круг
В этом круге край стола
Вереница рук

Крошки хлебушка для птиц
Чай для стариков
Вереница детских лиц
Во веки веков

Я помню, что все время сидела у Деди на руках, внутри его волчьей шубы-дохи с шелковой подкладкой (узор на шелке был восточный, полосчатый) и смотрела, оставив окошечко для глаз, на огонь в открытой дверце печки. На пляшущее пламя можно ведь глядеть часами. Я жила в каком-то тепленьком домике, как любят устраиваться все дети. Дедя же из-за меня существовал на манер беременного кенгуру и выпускал меня только побегать.

Ночами поезд останавливался в степи. Пропускали военные эшелоны, идущие к Москве. Это ехали на фронт могучие сибирские полки в тулупах и с оружием, подкрепление. Свои, московские ополчения, не имели ни винтовок, ни теплой одежды, шинельки им выдали, на том конец, и интеллигенты, работяги, школьники, мелкие служащие массово гибли на бывших дачных рубежах. Начальству было не до них. В ноябре уже все замерзло, шел снег. Лютая зима приблизилась.

Меня иногда спускали из вагона далеко вниз, в сугробы, погулять на воздух и по естественным надобностям. Я помню, как мама, пользуясь новой обстановкой, дает мне из руки «пирожино» — какой-то кусочек булки. Видимо, я плохо ела. Но тут, глядя в

белые пространства под черным небом, я забеспокоилась, как бы предчувствуя будущее, и подобрала все «пирожино» с маминой руки. Всех заботило, что у меня начался туберкулез. Недавно у Деди от чахотки умер сын Люсик (меня в честь него назвали Люсик, так-то мое имя было Долорес, присвоено у очень популярной тогда Долорес Ибаррури, испанской революционерки, бежавшей в СССР. Нашли как назвать, «Долорес» означает «страдание»).

Семейные обстоятельства

У моего отца-студента с юности была открытая форма туберкулеза. Я уже упоминала, что многие из его семьи в селе Верхние Рогачики тоже болели, кто-то уже умер. Он, поселившись у мамы в «Метрополе», может быть, и не стал проверяться у врачей. А когда мама, уже беременная мною, стала кашлять кровью, всю семью обследовали. Далеко зашедший туберкулез нашли у Стефана. Моего бедного будущего отца положили в больницу, в доме все облили дезинфекцией и запретили вытирать лужи. Бабушка похлопотала, чтобы ему сделали операцию, так называемый пневмоторакс. Операцию произвели успешно, Стефан Антонович прожил долгую плодотворную жизнь. Но тогда мой будущий отец обиделся, что его заподозрили в обмане, в сокрытии болезни, причем обиделся, видимо, на всю жизнь.

Ну что же, вся Москва перед войной болела ТБЦ. Заразиться можно было везде. Из лекарств был стрептоцид. Я почему-то помню, что он был белый и красный. Красным стрептоцитом (так произносилось) женщины красили волосы. За Вавой ухаживал тоже туберкулезный мальчик, и у Люди нашелся преданный друг Володя, находящийся в последней стадии ТБЦ. На собрании в ИФЛИ, в Институте философии, литературы и истории, где обсуждали мою беременную маму, «че эс», члена семьи врагов народа (и меня вместе с ней, мы всюду были неразлучны, в том числе и на допросе на Лубянке) — и где Стефан сделал публичное заявление, что он отказывается от связи с «че эс», этот Володя вдруг выступил и сказал, что тогда он готов жениться на Яковлевой. После собрания, однако, мой будущий папа быстро на нас с мамой женился. Как заметила мама, «его забрало за живое насчет Володи».

Однако мои родители вскоре расстались.

О, эти семейные тайны, о, непрощенные обиды! Эти письма, заявления! Замужества и женитьбы, разводы, разъезды, о, это молчание длиной в жизнь! О, нищие деньги, о, переполненные, перегороженные на клетушки квартиры, все эти эвакуации и проблемы возвращения, эти прописки, углы, квадратные метры! Эти в каждой семье возникающие беременности девочек-школьниц… О, еще большие тайны — рожденные и не взятые матерью, оставленные где-то дети… Брошенные семьей сироты, покинутые старики…

Эти сплетенные ветвями деревья должны были страшно страдать, когда ломались сучья — не говоря о горестях новых

побегов, отрубленных от родительского ствола, лишенных подпорки. Маленькие деревца, оставленные на произвол судьбы… Засохшие старые пни.

Ни слова больше.

Куйбышев

На одной станции Дедя вынул меня из своей дохи, передал женщинам, сошел на перрон и исчез — а это он поехал впереди нашего эшелона на пассажирском поезде. Добрался быстро. В Куйбышеве ему, как старому большевику и герою, дали отдельный номер в гостинице (он в гражданскую войну был вроде бы комиссаром чуть ли не корпуса в Туркестане, работал со знаменитым Фурмановым, позднейшим автором «Чапаева»). Так что мы приехали к уже получившему жилье Деде, который, как опытный военный командир, знал, что впереди гарнизона идут квартирьеры. Он вселил нас в узенькую комнатку, где помещались две кровати одна за другой и маленький столик. Я спала у Деди под мышкой, а Баба с дочерьми ютились втроем на койке и приставных стульях.

Дедя, несмотря на обстановку, каждый день обтирался холодной водой (миска воды и кусок полотна), а также делал гимнастику по системе Мюллера. Бабушка же, его дочь, почти не вставала. Сказывалась контузия после взрыва в Московском комитете партии.

В Куйбышев перемещалось постепенно столичное руководство. Туда вывезли также Большой театр и цирк Дурова, а также завод шарикоподшипников. На этот завод затем была направлена моя мама, сколачивать ящики в тарном цехе, а Ваву зачислили туда же как инженера с незаконченным техническим образованием. Мама еще подрабатывала, читала по госпиталям стихи Симонова, а также писала в газету «Волжская коммуна» об искусстве. На городском вокзале висела картина, где в заснеженной степи встречались волк и замерзающий фашист. Страшенная, надо сказать, была вещь! Я ее почему-то прекрасно помню, видимо, мы потом сидели на вокзале не раз, когда приходилось скитаться. Окоченевший фашист вызывал сложные ощущения, но никак не удовлетворенное чувство мести. Скорее ужас. Мама написала об этой картине целый очерк.

Деде затем дали две смежно-изолированные комнаты в гарнизонном доме около Окружного дома офицеров, угол Красноармейской и Фрунзенской. Несмотря на то что его дети были расстреляны, деда в партии почитали и даже как-то снабжали. Какие-то преданные сторонники и ученики привозили ему еду на дом. Все было более-менее нормально, я помню даже виноград на тарелочке. Я частенько торчала у Деди, он меня кормил и воспитывал. К примеру, помню его фразу «хлеб с хлебом не едят», когда я к вермишели попросила еще и хлебушка.

Но когда Дедя уехал обратно в Москву, то и маме одновременно пришел вызов во вновь организованный ГИТИС, Институт театрального искусства, она посылала туда документы на поступление, и вот ее вызвали. Мама оставила учебу после памятного собрания в ИФЛИ, находясь в так называемом декрете, т. е. в отпуске по родам. Я не знаю, была ли она исключена, во всяком случае, неизвестно на что надеясь, мама послала в ГИТИС свои документы, сообщив, что закончила четыре курса литфака. Она скрыла тогда правду о родственниках — врагах народа (она скрывала это всю свою жизнь, вплоть до XX съезда партии. И не любила говорить о прошлом, всячески избегала слова «репрессии». Когда она уже лежала последний год, я сказала: «Давай что-нибудь вспомним хорошее из твоей жизни». Она не ответила ничего, только слегка шевельнула пальцами, как бы отбрасывая что-то).

Но все-таки хорошее было, вот этот вызов, например. Мама страстно любила учиться и мечтала все-таки получить образование. Получив вызов, она пыталась достать билет в Москву, но это было невозможно. Не знаю, как относились к ее планам Баба и Вава, спрашивать сейчас об этом у старенькой тетки неудобно.

Я знаю, что мама тогда часто плакала.

Она уехала случайно, в одном сарафане, машинисты ее взяли на паровоз, т. к. билетов в Москву не было. Она простояла много суток на паровозе. В кабине ехать запрещалось. С собой из вещей у нее был только кувшин с постным маслом, которое она, видимо, достала по карточкам, выстояв в очереди, и зарплата, ее она отдала машинисту. Скорее всего, события развивались так: по дороге домой, идя с кувшином масла, она завернула, как всегда, безо всякой надежды на вокзал, посмотреть (как всегда) на московский поезд под парами, подошла к паровозу, как обычно попросилась, протянула деньги, и ее неожиданно взяли. А времени идти домой уже не было. Да, я думаю, она и боялась возвращаться.

И я не знаю, был ли это товарняк или пассажирский поезд. Товарняк мог идти и неделю…

Но она очень трезво смотрела вперед и не видела там для нас с ней никаких перспектив. Работать в Куйбышеве на заводе в тарном цехе? На всю жизнь остаться без диплома?

А тут получен вызов в Москву, что было вообще по тем временам нереально. И моя мама носила этот волшебный документ с печатью всегда в сумочке, неизвестно на что надеясь. Все документы она носила с собой всегда. Тайно она вела переговоры о билете в Москву даже с нашей соседкой по

куйбышевской квартире, ужасом моего детства, теткой Рахилью, поскольку ее муж работал на железной дороге.

* * *

Об этом Рахиль рассказала мне спустя много лет, когда я была вместе с МХАТом на гастролях в Самаре и нашла свою квартиру, а в ней древнюю, ветхую Рахиль, живущую в своей комнате в одиночестве. Я рассказала ей, что бабушка с Вавой были реабилитированы, бабушка получила орден, квартиру в Москве и кремлевский паек, мою маму мы схоронили, а вот Вава как персональный пенсионер живет в центре Москвы в двухкомнатной квартире, и все мы за ней ухаживаем. А Рахиль мне поведала как о своей доблести, что когда-то достала моей маме билет в Москву. Я сказала, что по моим сведениям мама ехала на паровозе без билета. И тут вдруг Рахиль (в присутствии соседей) торжественно возразила, что вообще во время войны им приходилось идти на то, чтобы прятать все продукты, уносить с кухни от нас. «Конечно, ведь мы голодали, а мне было пять лет, кормить было нечем», — подтвердила я и вдруг заплакала, сидя на этой грязной кухне. У соседок глаза на лоб вылезли — как это так, не покормить голодающего ребенка! Рахиль как могла быстро убралась к себе, бедная, немощная старуха.

* * *

Так вот, мама воспользовалась моментом, чтобы уехать. О чем она думала, забравшись на паровоз, стоя в одном сарафане на продуваемой ветром площадке? Скорее всего, обо мне. Она, может быть, уговаривала себя, что все в порядке, ребенок у мамы и сестры, сестра работает, девочка в детском саду. Ничего, проживут. Надо получать образование и потом забирать ребенка.

Представляю, как билось ее сердце, когда паровоз пошел! В Москву, в Москву! Ей было 27 лет.

Приехав к своему отцу Николаю Феофановичу Яковлеву в его двенадцатиметровую комнатку на улице Чехова, заставленную книжными шкафами и стеллажами, она поселилась у него под обеденным столом и сразу же послала в Куйбышев письмо и денежный перевод, добилась алиментов от своего бывшего мужа. Ходить ей было не в чем, она носила на лекции поверх сарафана дедову шинель.

Я думаю, что бабушка с тетей приняли ее исчезновение без

большой радости. Ее имя не упоминалось больше. Однако столько уже было в их жизни потерь… Тогда ведь обычно как бывало — люди растворялись без следа. Знаменитое стихотворение «Из дома вышел человек» Хармса. Он сам тоже однажды вышел и не вернулся никогда.

Но я маму ждала упорно и непрерывно.

* * *

Я встретилась с ней только через четыре года.

Мама мне потом часто говорила, что ради меня должна была получить высшее образование, иначе было бы не прокормить семью. Она всю жизнь оправдывалась передо мной, бедная.

Куйбышев. Способы существования

Так вот, мы остались в Куйбышеве втроем, я бабушка и тетя. И вот тут начался настоящий голод. Ваву как «че эс» уволили с завода после одного очень длинного ночного допроса в органах.

Жили мы на то, что присылала мама — на алименты от моего отца Стефана Антоновича, молодого философа.

В войну все было по карточкам. Карточки у нас с Бабой и Вавой были одна детская и две иждивенческие. На них мы покупали черный хлеб, при этом из карточки продавщица вырезала талоны. К концу месяца бывало, что весь хлеб оказывался «выбран»…

Занимали очередь утром, еще во тьме, на морозе. Хвост вился в белых снегах, очередь в хлебную лавку, к тяжелой, замороженной двери.

Наконец мы оказывались внутри, в тепле, в тесной толпе, каждый прижавшись к впереди-стоящему, чтобы его не потерять. Формула «кто последний, я за вами» — это было спасением в хаосе войны. Прислонившись к тому, кто стоял перед тобой, и ни в коем случае не отлипая от него, ты оказывался в мире закона, порядка, справедливости, ты получал право на жизнь. И ты с боем должен был отстаивать свое место, то есть не пропускать вперед никого! Тогда из очереди отходить не полагалось.

В магазинчике крепко, до головокружения, пахло вкуснейшим черным хлебом, от этого запаха ломило в челюстях и сосало под ложечкой. В пустых животах громко работали моторы голода, побуждая продвигаться. Мы тянули шеи и настойчиво перетаптывались, не приближаясь к цели ни на сантиметр. Толпа качалась.

Впоследствии я увидела, что именно так ходят в спектаклях мимы: имитируя шаг и оставаясь на месте.

Доходила наша очередь. Вес всегда был меньше нужного, и продавщица ловко кидала с высоты на отрезанный хлеб дополнительный «довесок», так что железная чашка, на которой стояла буханка, под ударом резко опускалась — и тут же хлеб с весов снимали. Это было простейшее искусство обмана. Но довесок доставался всегда детям и ценился очень высоко. Я его иссасывала тут же.

Хлеб мы затем якобы делили честно на три части. Я проглатывала свою сразу же, отщипывая из-под подушки. Потом тетя и Баба скармливали мне свои порции…

Когда я спрашиваю Ваву, как же мы выжили, она пожимает

плечами и улыбается довольно растерянно: «Не знаю».

В садик я ходила какое-то время, там детский народ жил своей жизнью, мы тайно ели клей, прошел слух, что он «вишневый», мы запускали в баночку пальцы и их облизывали, когда мастерили бумажные самоделки в отсутствие воспитательниц. А также мы дружно считали, что в коридоре живет Баба-яга, поэтому туда не надо выходить, особенно когда вымыт пол (так сказала нам нянечка). Было и еще одно правило: глядя на пролетающие самолеты, мои товарищи малыши торжественно произносили имена тех, кто был у них на фронте и якобы летел в этот момент над нами. И гордо смотрели друг на друга. А я не могла назвать ни одного имени. Униженная, я как-то пришла домой и спросила у тети, про кого мне говорить. Она крепко подумала, мужчин на фронте у нас не было (Женя, ее любимый дядя, был посажен, муж ее тетки тоже, мой ушедший из семьи отец как туберкулезник в счет не шел). Но все-таки Вава наскребла два имени. Я стала тоже как все говорить гордо и звонко: «Вон летят мои Сережа и Володя». Я не знала, кто это такие. Володя, кажется, был бывший муж моей тетушки, а зато Сережа был мой собственный сводный дедушка! Он был старше меня на 17 лет, как впоследствии оказалось.

(Спустя почти шестьдесят лет я с ним познакомилась, когда мы все, потомки, праздновали в гостинице «Метрополь» 140-летие моего прадеда Ильи Сергеевича. Сережа — последний сынок Деди, рожденный в пятьдесят с гаком лет от третьего брака. И Сережа, что оказалось правдой, был на войне летчиком.)

Кстати, однажды в том детском саду я действительно увидела в коридоре ожидаемую Бабу-ягу, но почему-то проскакнувшую под потолком. Как-то раз зимним вечером погасло электричество. Все дети бегали по коридору как ненормальные, толкались, орали, махали кулаками на свободе. Когда никто не видит, толпа сходит с ума! В коридоре было черным-черно, только вдали еле светилось (видимо, за счет снежной ночи) высокое окно. По стенам стояли шкафы. И вдруг в районе форточки на этом высоком окне, почти под потолком, показалась скрюченная горбатая тень, черная как бы обезьяна, она протягивала руку и ногу, уцепившись за шкаф, и вдруг сиганула куда-то вбок совершенно бесшумно. За ней мотнулась то ли тряпка, то ли подол. Это и была Баба-яга! Я догадалась. Ужас был у меня на всю детскую жизнь. Нянечка была права, что нельзя выходить в коридор.

(Дети, конечно, лихо лазают по верхам и прыгают в темноте,

этого я не учла. Кто-то вскарабкался на шкаф и соскочил на подоконник.)

И второй кошмар детства был Кощей Бессмертный, о встрече с ним скажу позже.

Дети действительно способны в реальности видеть то, чем их пугают взрослые…

Потом уже нечем было платить и не во что меня обуть, и я осталась без детского садика.

Обувь для северных бедняков самое главное. А лапти в городах не плетут.

С апреля по октябрь было хорошо — я босиком бегала на воле. От снега до снега.

О туберкулезе уже речь не шла, у меня и соплей-то не бывало.

Как меня спасли

Нас был целый табун детей, мы коротали все светлое время на Волге. Я не умела плавать, да это и не нужно было, плещись сколько хочешь на мелком бережку, он полого уходил под воду.

Но когда однажды пришла весна и наступил разлив, это легкомыслие на воде, неумение плавать, мне аукнулось, я чуть не утонула.

В мае Волга разлилась до размеров моря, наш низкий берег затопило, а другая сторона еле виднелась. Мы с подружкой решили туда съездить, пробрались без билетов на паром и переправились. Вышли, берег как берег, но не пологий вроде нашего, а как ступенька, под которой плещется вода. Я села на травку и опустила ноги с этой ступени, но не достала до воды. А хотелось по ней побродить, как я делала это на своем берегу.

Спрыгнула туда и мгновенно ушла в глубину, как ослепла и оглохла, утонула.

Потом открыла глаза и дальше уже погружалась при полной видимости, замечала бурные, кипящие вокруг пузырьки, какие-то высокие травы, которые колыхали перьями. Я опускалась все ниже, вода была светлая. Достигла дна, очень легко оттолкнулась и стала подниматься столбиком. Вверху уже сильно посветлело, белый день, воздух был рукой подать. Начала поднимать голову, чтобы вдохнуть — и опять провалилась с ужасной легкостью и быстро пошла на дно. Самое интересное, что я видела себя сверху как скрюченного человечка, опускающегося лицом вниз. Я бы сказала себе, что это похоже на плавающий эмбрион, если бы знала тогда это слово. Опять оттолкнулась от дна. Снова пошла наверх, но уже не решилась поднять голову, болталась спиной вверх, бессильно глядя вниз, в баламутную темную глубину. Я уже понимала, что поднимать голову нельзя. Я была легкая и плавучая, но только с условием не дышать. Хочешь вдохнуть — проваливайся. Все утопающие плавают на поверхности, но лицом вниз. Таков закон гибели на воде. Мне очень хотелось набрать воздуху. Сердце колотилось, в голове громко стучало. Уши наполнились шумящей водой. И вдруг я увидела боковым зрением какую-то тень, что-то маячило наверху там, где было светло, что-то нависло вроде кривоватого сука, ветка ивы, что ли… Я мигом вытянула руку, схватилась за это — и как пробка вылетела наружу!

Оказалось, что молодая женщина вышла по воду к реке с ведрами и коромыслом, и она заметила, что там внизу барахтается, она подумала, собачонка. Она захотела подцепить ее

коромыслом — и тут высунулась детская рука! Тетя даже испугалась и отшатнулась. Но уже уцепился этот улов за ее коромысло с ужасной силой!

А моя подруга, как только увидела, что я утонула и не показываюсь на поверхности, испугалась и убежала. Дети всегда прячутся в случае чего, даже во время пожара под кровать.

Потом я, трясясь от холода, сохла в каком-то полуразрушенном ларьке в компании вернувшейся подружки. И уже малолетняя шпана, огольцы, ходила вокруг домика и гнусно хихикала по моему поводу — гля, голая. Мокрый сарафан прилип к телу… Что там мне было, семь или восемь лет, но я понимала, что это неприлично. Я пряталась за подружку. Законы двора — это почти шариат!

Имелось и еще одно обстоятельство — как у каждого голодающего ребенка, при полном истощении, ножки и ручки спички, у меня был сильно вздутый живот. И кто-то в чужом дворе однажды показал на меня пальцем: «Смотри, девка беременная». Я поверила сразу! Я не знала, отчего это бывает, сколько времени длится и чем заканчивается, но я знала, что это позор и моя тайна, и только молилась своему Богу, Боженька, помилуй. Боженька, помилуй. Спаси. Молитв я не знала.

Вот это был действительно многолетний кошмар моего детства. Кто у меня там сидит? Иногда пищит, иногда бурчит, булькает, ужас. Или змея, или ребенок!

Некоторые американские ужастики типа «Чужого» наверняка сочинены были еще в детстве.

Мы сели на обратный паром, наступал вечер, и я еще долго пыталась высохнуть, стуча зубами, в парке — домой в мокром идти было нельзя, догадаются. (Это при том, что родные меня никогда не наказывали! Но они не должны были знать, что я купаюсь. Это мне строго запрещалось.)

Цирк Дурова

Там, в прибрежных зарослях городского парка, мы проводили всю свою жизнь летом. Это называлось Струковский сад. Вечерами и днем в воскресенье на эстраде играл оркестр.

Парк был огромный, заросший как лес, он спускался к Волге аллеями и склонами. Мы искали в траве и ели «баранчики» — такие шишечки, зеленые мелкие лепешки. Возможно, это была единственная пища детей за день. Ели также цветы акации, кислицу и щавель. Ягоды там не водились.

Когда раскинул свой шатер цирк-шапито с Дуровым, задача детей была проникнуть. Я попала! Фокус был в том, чтобы пробраться на уровне колен взрослых, у них в ногах, через широкие двери шапито. Зрители с билетами валили валом, спотыкаясь. Но толпа была такая плотная, что даже посмотреть себе под ноги идущим было, видимо, невозможно. Дети продвигались на карачках. Важно было не упасть, чтобы не затоптали. И уже проникнув внутрь, надо было спрятаться среди рядов от взглядов служащих, это тоже мне удалось, необходимо было сесть подальше рядом со взрослыми и вступить с ними в беседу. Как будто я их родная лохматая дочь.

Я увидела знаменитый номер Дурова со слоном! На арене была огромнейшая кровать с гигантской подушкой. Слон, как человек, садился на кровать, брал хоботом здоровенный будильник, тот звонил! Слон ставил его на тумбочку. Потом он ложился боком. Играла медленная музыка. Но слоновья туша тут же начинала бугриться, взмахивали передние толстые копыта, слон медленно вставал (Дуров, правда, подбадривал его палочкой). Дальше в дело шел хобот, слон поднимал и откладывал подушку, а затем доставал оттуда клопа размером с чайник! Клал его на песок и ногой бил по нему. Клоп взрывался! Стоял дикий хохот. Дуров угощал слона, засовывая ему что-то в пасть, как на верхнюю полку.

Еще были обезьянки. Одна, в костюмчике, читала большую книгу, нервно ее листая. Между страницами, видимо, были какие-то съедобные кусочки. Она быстро совала их в рот и скорей листала туда-сюда, бестолково, но жадно. Помаргивала, оглядывалась и почесывалась. Всеми своими хаотическими движениями она напоминала голодного вшивого мальчишку.

Или голодную девчонку.

В поисках еды

Мы рыскали в поисках пропитания всюду, как бродячие щенята. Однажды я забралась в кабину фырчащего грузовика и отогнула полочку, висящую над передним стеклом. И там неожиданно нашлись три рубля! Я тут же слезла, показала ребятам деньги и сказала: «Там, над стеклом!»

Все тут же полезли смотреть, ничего не нашли.

Я стояла как победитель!

Конечно, деньги у меня отобрали известным способом: «А ну покажь!» — «Да не буду!!!» — «Ля! Ничего у тебя нету! Покажь!» — «Не покажу!» — «А в морду?» — «Оставьте меня в покое вообще, дураки!» — «Огольцы, у ней нету ниче у падлы бляцкой!» — «Нету, да? Нету? А на! Вот, смотри!» (Деньги на раскрытой ладони.) Хлоп снизу по руке! (Деньги падают, исчезают.)

Поздней осенью я возвращалась, по выражению Лермонтова, «на зимние квартиры» к бабушке и тетке. В холода босиком не побегаешь. Валенок не было, одежды не было никакой. Еды тоже.

В школу я не ходила.

Но я часто в сентябре стояла босая на балконе и смотрела, как дети идут с портфелями — по Фрунзенской ходила каждый день девочка в ярко-голубом пальто с большими белыми пуговицами. Как мне оно запомнилось!

(Когда моему сыну Кирюше исполнилось два годика, мне удалось купить ему и его двоюродному брату Сереже синие пальтишки с большими белыми пуговицами! Тогда трудно было что-нибудь достать, это были простенькие байковые с начесом одежки, но я была почему-то так счастлива, когда их купила!)

Вава приносила от столовой Дома офицеров картофельные очистки — их солдаты сваливали на помойку. Баба пекла это на сковородке на примусе, как пекут картошку, без масла. До сих пор помню ужасный вкус горелой шелухи…

Примус стоял на подоконнике в комнате. На кухню нас на пускали.

Питались мы также из помойного ведра соседей. Это были богатые люди. В бывшей комнате Деди поселился майор, у которого имелся патефон и одна пластинка. Я, прислонясь ухом к забитой общей двери, выучила Бетховена «Заздравную» («Выпьем, ей-богу, еще») и арию из оперетты «Сильва» («Красотки, красотки, красотки кабаре»). В другой комнате обитала семья директора железнодорожной школы, той самой Рахили, которую почему-то Баба звала красивым именем Фурия. У нее были две дочки постарше меня, Эмма и Алла, и свирепый муж, тоже

железнодорожное начальство.

Ванная в квартире отапливалась дровами, которых у нас не было. Там же лежал топор. Мы мылись холодной водой в комнате. Однажды бабушка закричала из коридора. Мы вбежали, она лежала в луже крови на пороге кухни. Муж Рахили, застав ее в ванной, ударил мою маленькую бабушку топором по голове, чтобы ей неповадно было ходить туда. Слава Богу, что удар прошел по касательной. Вава вызвала «скорую», врач забинтовал бабушкину седую голову (единственное, что на ней было белое за все пятнадцать лет, которые мои родные провели в Куйбышеве). Они, разумеется, никуда не пожаловались. Имя того начальника было Кретин, так я его и запомнила. А вся семья называлась «рвачи».

Разумеется, майор, Кретин и Фурия выкидывали толстые картофельные очистки, селедочные хребты с головкой, зеленые капустные листы. Горелых хлебных корок почти не имелось.

Но это надо было тоже добыть, избежавши позора и ругани! т. е. когда соседи спали.

Если удавалось достать керосин, Баба варила суп!

Куклы

Однажды наступил обычный момент, когда квартира угомонилась, дело шло к ночи. Голод уже полностью сожрал наши кишки, и, выждав контрольное время, мои старшие послали меня за мусорным ведром.

Помня о топоре, я прокралась на кухню.

У помойного ведра на скамеечке валялись две огромные тряпичные куклы без платьев.

Их явно выкинули дети нашей соседки, Фурии Яковлевны.

Куклы были с головами из папье-маше, без волос, с облупленными носами, туловища, руки и ноги тряпичные.

У меня имелась своя кукла, но одноногая и целлулоидная, притом небольшая. Кроме того, у меня был конь. Я вырезала его из кусочка картона и раскрасила единственным своим лиловым карандашом: нарисовала ему глаз. Конь показался мне ненастоящим. И я обмотала его поперек живота тряпочкой, чтобы получилось брюхо потолще.

А тут две такие огромные красавицы!

Теперь-то я знаю, что такое куклы для девочки: они для нее покорные богини. И эти маленькие боги вызывают трепет, дикую жадность до слюней, обожание и поклонение, а также свирепость, и если они наконец-то попали к вам в руки, с ними можно делать все! Их всюду носят с собой, крепко до зверства прижимая к груди, их насильно кормят, приговаривая «ам!», и могут оставить навсегда с замурзанным, засохшим лицом. Могут раскрасить им морду, а потом смыть все подчистую, в том числе и фабричные брови и краску с губ. Срезать волосы. И потом способны жалеть и любить еще сильнее. Ничто не может сравниться с любовью девочки к своей кукле (только безумная любовь к маме и папе и нечеловеческая привязанность к бабушке и дедушке). С куклой можно делать все! Играть с ней даже во врача, чтобы, глотая слюну, делать ей операции. Нельзя только, чтобы кукла попала в руки мальчишкам! Они ее разорррвут!

Кукле нужно устроить дом, постель, желательно под стулом, под столом.

Но тут я как замерла. Я ничего не могла с собой поделать. Выброшенные куклы лежали, а я не верила своему счастью. Я знала, что у нас нет будущего, что я не имею права и помечтать о том, чтобы сшить им платья и где найти лоскутики, я не смела даже думать, куда их положу и какую жизнь мы могли бы прожить вместе!

Эти две огромные куклы стали первыми моими божествами.

Я сразу начала по ним тосковать. Нам предстояло разлучиться. Я встала на колени, усадила их, положила их набитые ватой бедные грязные руки как следует. Эти гигантши постепенно занимали свое место в моей душе, уплотняли ее, наполняли (так ребенок наполняет душу, грудь и брюхо матери, если прижать его). Я попеременно обнимала их. Потом я взяла их на руки, прильнула к ним и замерла. Они были огромные, прекрасные и покорные.

Не помню, сколько это все длилось, может быть, до утра. Я не посмела их взять домой. Перед школой в кухню заглянула Рахиль, деловая женщина, и вскоре вышли обе девочки, мстительно взяли своих кукол и уплыли.

Победа

Теперь про счастье, про Ночь Победы. Это был именно не день. В те сутки в городе мало кто спал, видимо. С часу на час ожидали сообщения, и потом все радостно повторяли эту непонятную формулу — «безоговорочная капитуляция». В четыре часа утра меня разбудил шум на улице, как будто бежала и бормотала, что-то выкрикивала огромная бесконечная толпа, как идущий поезд. Было еще темно (часов у нас не имелось, но почему я думаю, что это было в четыре — в пятом часу уже начинался рассвет).

Я вскочила и как была, в сарафанчике и босая, убежала на улицу, где и носилась целый день. Качали военных, остервенело подбрасывали даже наших бездельников из Окружного дома офицеров, осторожно качали раненых из госпиталей, везде играли патефоны, гармошки и балалайки, в Струковском саду были танцы, у входа продавали подснежники.

Начиналась новая жизнь, и наступал великий голод послевоенных лет.

ОДО

Я все больше отбивалась от дома.

В первый раз я убежала летом уже в более-менее сознательном возрасте, лет в семь. Видимо, после Дня Победы.

В начале июня я провела несколько дней на свободе. Ночевала не на улице, не в Струковском саду под эстрадой, где видела пролом в досках и черную, заплесневелую землю, от которой несло сыростью и застарелым людским навозом, там уже все было изгажено (днем я кружила, искала себе пристанище на ночь). А нашла я место ночевки в кабинете начальника ОДО (Окружного дома офицеров).

Я давно вместе со всеми ребятами с нашего двора научилась пробираться туда на киносеансы, прячась за дверями, научилась собирать хлебные крошки из фанерного фургона, в котором привозили буханки в столовую ОДО (когда кучер и приемщик уходили вместе в дверь черного хода с последним поддоном хлеба и с бумажками, фургон оставался пустым, открытым. Кляча стояла, поставив заднее копыто на ноготь, а мы, голодные дети, забиралась внутрь, где невыразимо вкусно пахло сухарями, и собирали с полу в щепоть крошки).

ОДО был родным местом, его черный ход маячил у нас на задворках. А сам двор и здание были огорожены сараями и гаражами. Солдаты ОДО гоняли голубей, швыряли им хлебные корки, которые, попав на железные крыши сараев, засыхали, голуби не могли их склевать, и мы, дети, залезали со стороны двора на эти раскаленные крыши, бегали на пяточках и искали там корки.

На крышу можно было взобраться только одним способом — уцепившись пальцами ног за острый край огромной бочки с варом.

Кто уж ее поставил у сараев, неизвестно, но по сути это была настоящая ловушка для голодных ребят. Взрослые ведь знали, что дети все равно полезут, но бочку не убирали!

В жару вар расплавлялся, вытекал наружу, и все понимали, что можно упасть в бочку и насмерть утонуть в варе. Никто бы не смог вытащить, вар не отпустит. Но дети лезли. На крыше, возможно, валялись корки! Для меня голод был сильнее опасности. Стало быть, мне надо было улучить момент, когда мальчишки не крутились около бочки.

Под бочкой всегда огромной бугристой лепешкой лежала лужа расплавленного вара, вытекшего наружу. В нее меня однажды все-таки толкнули. Я сидела в этом страшном вязком

месиве и старалась не плакать. Вокруг стоял безудержный хохот. Я не могла выдраться и только водила, как во сне, черными огромными руками, превращенными в рукавицы, пыталась расклеить пальцы, а с них тянулись сосульки и нити вара. Ладони стекленели, но я боялась опустить руки обратно в толщу клейкого вара, чтобы опереться, а это была единственная возможность встать. Какой-то взрослый человек с руганью отлепил и поднял меня. Под дикий смех дворовых ребят я поплелась домой, стараясь не касаться головы. Меня кое-как отскребли. Трусики пришлось выкинуть. А других не имелось… Я приспособилась завязывать майку внизу узлом.

В этом мире было не до размышлений. Только бежать, или прятаться, или, если уж настигнут, кричать и драться.

Во всем остальном у меня было нормальное по тем временам детство. Подружки, прятки, бешеные «казаки-разбойники». Играли в «чижа», в «замри». В спокойные моменты мы делали в земле «секретики» — клали в ямку цветные стеклышки и накрывали одним большим стеклом, а потом засыпали сверху грязным дворовым песком. И ходили, искали чужие «секретики», не выдавая свои. Хотя, разумеется, дети смеялись над моей московской речью, передразнивали эти «видишь ли» и «дело в том, что».

Но самой близкой и любимой была у меня собака Дамка. Иногда мы с ней валялись вместе где-нибудь, я ее обнимала за худенькую шею, а то мы бегали и прыгали, она приносила брошенную палку, я хохотала. Но как-то раз она мчалась, улепетывая в том числе и от меня, с ужасной скоростью, она с трудом тащила в зубах как бы окровавленную гребенку — видимо, кухонные солдаты выкинули обчищенные бараньи ребра. Я побежала за ней, а она предупредительно зарычала на ходу, первый раз за все время. Я отстала. Дамке было не до шуток!

Я все упрашивала тетю и бабу родить мне «хоть котеночка, да хоть щеночечка».

Однажды зимой моя мечта исполнилась, я привела в комнату голодную кошку, это был как раз вечер Нового года. Она дежурила на лестнице и мяукала, я ей открыла дверь. У нас по случаю праздника горела керосиновая лампа! Было невероятно светло и прекрасно. Я обнималась на диване с моей новоявленной Мурочкой, она робко урчала. Мы ждали полночи, а потом вместе пировали тем, что выкинули соседи. Она ела все, даже картофельные очистки и селедочную головку! Потом, поевши, мы с этой серенькой Муркой водили хоровод вокруг еловой веточки, воткнутой в консервную банку. Кошка вынужденно перебирала тощими задними лапками, заплетающимися неровными шажками

таскаясь по кругу, я держала ее за передние ручки и пела «Красотки, красотки, красотки кабаре», совместно с соседским патефоном. У нас был праздник!

Потом она попросилась наружу и убежала.

Вся жизнь проистекала у меня летом.

Иногда мне все-таки удавалось забраться на крышу и найти кусочек черной корки. Обратного пути не было (как раз угодишь в бочку с варом), и приходилось тайно спрыгивать с той стороны сараев во двор ОДО. Затем я проникала в Дом офицеров мимо дежурных, не помню как. Для нас для всех в ОДО была одна главнейшая приманка — там вечерами крутили кино. Трофейные фильмы «Королевские пираты», «Остров страдания» с Эрролом Флинном. Фильмы с Диной Дурбин. «Большой вальс». «Серенаду Солнечной долины» (любимейший мой фильм, кроме глупого финала).

Так что летом было много счастья.

Мы смотрели подряд все, прячась за дверьми и особенно за портьерами в промежутках между сеансами, как наши шпионы в позднейших военных кинофильмах («Секретная миссия», «Подвиг разведчика», к примеру), и так же я однажды спряталась уже после кино. Потом, как во сне, я промчалась по совершенно пустым коридорам и нашла себе для ночевки кабинет начальника, там стоял диван грубошерстной обивки, которая всю ночь колола мне щеку. Подложив под голову локоть, я было собралась спать, а ночь стояла светлая, июньская, и тут моим взволнованным глазам предстала в полном и грубом блеске картина, на которой Сталин и Ворошилов в шинелях принимают парад, а мимо катит кавалерия (тачанки?). В первый раз в жизни я увидела перед собой произведение живописи и испугалась.

В дальнейшем я еще расскажу об ужасе моей жизни, о «Портрете» Гоголя.

Язык придворных

Днем я, как полагается беспризорному ребенку, побиралась. т. е. просила милостыню. Голод я переносила легко, мы голодали уже давно, бабушка лежала огромная, раздутая водянкой, хотя моя тетя и говорит, что она иногда ходила на разгрузку в порт, за что Бабе давали бутылку денатурата, которую можно было обменять на хлеб. Вава один раз откуда-то принесла в ладони кучку винегрета, а другой раз — чашку сливового повидла. Я как присела перед повидлом, так его сразу и съела, как звереныш, понимая, что другого такого случая в жизни не будет. Десятки лет потом я не могла выносить даже запаха сливового джема!

У нас отрубили за неуплату электричество, но временами удавалось купить керосину для лампы и примуса. В лавочке нам отпускали топливо после всех почему-то. Мы простаивали там долгие часы. С тех пор запах керосина вызывает у меня предчувствие света и радость. Мы приносили домой бидончик. Можно было что-то сварить. Иногда зажигали керосиновую лампу, и торжественный, ярчайший, золотой свет заливал нашу комнату с высоты диванной спинки.

Вот вам вопрос о радости жизни — особенно острое счастье ведь зарабатывается лишениями, как ни крути. И только разлука дает возможность немыслимой встречи.

Я переносила легко голод, но не могла вынести несвободы. Боясь за меня (все-таки тут маленькая девочка из порядочной семьи, а город дикий, полно бандитов, во дворе жизнь вольная), бабушка и тетя Вава объяснили мне, что в городе цыгане украли ребенка, и под этим лозунгом они не велели мне гулять. Я тут же сбежала, явилась домой через несколько дней и, простодушно воспользовавшись их же легендой, сказала, что меня крали цыгане, а освободила милиция.

Они тревожно переговаривались над моей бесшабашной головой, употребляя так называемый «язык придворных», код подпольщиков.

Они не знали, что я научилась его понимать, я тоже это скрывала. Я помню, что они ругались словом «чешпо». Дедя цитировал довольно часто стишок Пушкина про князя Дундука (я его воспринимала как детский: «Отчего же, почему же Дундуку такая честь? Отчего он заседает?» — И тут Дедя торжествующе завершал: «Потому что хона есть!»). Слово «хона» я быстро поняла, на улице «огольцы», то есть шпана, ругалась

приблизительно так же.

Вава, моя тетка, недавно открыла мне секрет этого кода. Он назывался у большевиков «язык придворных». Список согласных там делился пополам, и первая буква менялась на последнюю и т. д., «ж» на «х» и обратно, «г» на «ч», «н» на «п». Известное ругательство звучало бы как «жуй». То есть «И-ци-па-жуй», нечто китайское.

Поэтому все их тревоги, все страхи за меня я понимала, все намерения, предвидения, все горькие слова слышала. Но мне это было нипочем, я в эти дела не вникала, им не верила, моя задача была уйти на улицу.

Так я все летние месяцы войны и прожила — носилась по городу, просила милостыню, косила под сиротку: «Нет ни мамы ни папы, помогите».

Большой театр

Однажды я даже проникла на балкон (видимо, осветительский) оперного театра, вход туда был снаружи по железной лестнице. Я кружила под стенами Оперы, поскольку войти в театр не удалось, а огни сияли, публика валила, сладкая музыка слышалась… И тепло было внутри.

И вдруг я заметила вдали от входа, за углом, крутую металлическую лестницу. Она уходила под небеса, на высоту примерно пяти этажей. Уже темнело, висели низкие тучи, накрапывало. Я полезла вверх руками и босыми ногами по мокрым железным ступенькам, жутко боясь смотреть вниз. Вскарабкалась, поскреблась, изобразила сиротку, страх возвращаться по этой крутой лестнице вниз, в пропасть, придал моему голосу, видимо, настоящее отчаяние. Я исполнила весь текст детей-нищих про то что «папи нету, мами нету… Разрешии-ить войти!?! Ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну умоляю вас, смилуйтесь, будьте любезны, мне так хо-олодно!!! Так хочется му-узыку послушать, ну пустите хоть на пять минуточек!» Ветер, действительно, свистал. Ноги заледенели на железе. И вдруг дверь открылась в тепло, тьму, загремели праздничные звуки оркестра, добрая тетя пустила.

Я оказалась на балкончике у осветительницы, около раскаленных, воняющих горелой краской софитов, а внизу, рукой подать, было что-то волшебное, цветное, яркое, какой-то дворец в искусственном саду среди нарисованных деревьев — и на нем тоже имелся балкон, чуть пониже моего! И буквально в нескольких метрах от меня стояла розовая дама и нежным голосом пела «Милый друг мой, я слушаю вас». В тот вечер я прослушала «Севильского цирюльника» Россини в исполнении эвакуированного Большого театра. На следующий вечер я полезла вверх снова. Скреблась. Замерзла в своем сарафанчике. Выла. Но мне уже не открыли.

Как побитая собака, я поплелась домой. Там хоть было тепло.

На всю жизнь я запомнила этот кусочек из дуэта Розины и Альмавивы…

В дальнейшем, когда я возвращалась, тетя и бабушка делали вид, что все в порядке, они уже не расспрашивали меня, но я продолжала им рассказывать свои байки (как меня украли).

Видимо, Баба и Вава были счастливы, что я вообще есть на свете, и не рисковали выводить меня на чистую воду. Иногда они меня кормили супом из капустных листьев, которые Вава подбирала на рынке на земле. («Для козы? Это ты для козы?» —

спрашивали торговые бабы, чтобы не расстраиваться, видимо. Моя тетка Вава, недавняя студентка Академии бронетанковых войск, я это видела, тайно заплакала, нагнувшись над втоптанными в землю капустными листьями, от таких вопросов). Поздно вечером я, как всегда, была посылаема на промысел за соседским помойным ведром.

Вниз по лестнице

А однажды я, вернувшись, видимо, наплела такого, что бабушка с тетей посуровели и, посовещавшись на своем языке, пошептавшись, вынесли решение.

И Вава пошла и заперла дверь на ключ!

В общем, все было не напрасно: каждая маленькая девочка, вырастая, должна была занять свою позицию во дворе. И как правило, должна была пройти через многие руки.

Там, за сараями.

Девчонки постарше между собой об этом не говорили, но намекали, показывая подбородками в ту страшную сторону.

Я не понимала ровно ничего. Не чувствовала опасности. Я была худая как скелет. Меня били, но пока что не использовали в своих целях.

Однако это будущее — так или иначе — меня бы не миновало. Хотя бы в качестве наказания, чтобы знала свое место.

А тут из Москвы приехала тетя Маруся Яковлева, сестра моего деда Николая Феофановича. Она была педагог, по линии театрального общества инспектировала провинциальные театры и с посылочкой от моей мамы также навестила и нас. Она привезла мне подарки — коробку трехслойного мармелада и коробку с детской алюминиевой посудкой — там были кастрюлечки с крышками и даже половничек, все приделанное к картону резинками.

Совершенно неслыханная и невиданная роскошь!

Тетка Маруся дисциплинированно поговорила с нами, порасспрашивала и уехала.

Она, как актриса и педагог, а также как сестра мужа бабушки (злая золовка) и бровью не повела, увидев, как мы живем.

Но в Москве она высказала моей маме напрямую все, что ей пришлось увидеть и пережить! Так я думаю.

Мама в тот момент заканчивала ГИТИС и устраивалась на работу.

Мои бабушка и тетка из гордости ведь никому ничего не писали.

Итак, встревоженные родные меня заперли.

И однажды, танцуя под собственное громкое пение, показывая лежащей бабушке и Ваве свое искусство, я подплясала к двери с торчащим ключом и успела повернуть его в замке, но меня настигли любящие руки. Больше ключ уже в двери не

торчал. Сердце у меня бешено билось. Меня держали под стражей.

И тогда я, охваченная жаждой свободы, вышла на балкон. Мы жили на третьем этаже, спрыгнуть было страшно. Подумав, я, дико волнуясь, перелезла на соседский балкон, оттуда с трудом дотянулась до пожарной лестницы. Она качалась, была деревянная, трухлявая, пролеты между перекладинами казались мне огромными. Повисая каждый раз на руках, я на ощупь ловила ногой ступеньку и спускалась шаг за шагом на волю. Внизу, метра за полтора до земли, лестница кончилась. Что было делать, я ухнула вниз. Хлопнулась задом. Вскочила. Ура. Долетела. Был солнечный зеленый день. Я заранее все предусмотрела, оделась во все свои одежды — в майку, сарафан и суконную салатового цвета жилеточку, которую подарила мне добрая соседка из другого подъезда. Она мне и хлебца иногда выносила.

Потом я с бурно бьющимся сердцем, дрожа от счастья и свободы, все-таки погуляла под балконом, дождалась, пока не появилась над перилами седая голова моей тридцатидвухлетней тети. Я смотрела вверх на нее, она смотрела своими огромными темно-синими глазами вниз на меня. «Как ты спустилась?» — громко крикнула тетя, чтобы выиграть время и подольше подержать меня на месте (может быть, она надеялась, что бабушка все поняла и уже кинулась по лестнице за мной, хотя куда ей было, ноги опухшие не ходили). «Спрыгнула», — ответила я на всякий случай, чтобы они не догадались, и быстрее вихря умчалась вон, пока меня не поймали. Я сбежала, как выяснилось, навсегда. В следующий раз я их увидела только через девять лет, и они меня не узнали. Мне уже было восемнадцать. «Это кто?» — спросила моя крошечная бабушка, поднимаясь по лестнице еле-еле своими раздутыми ногами. Я все еще чувствовала себя виноватой…

Как я теперь понимаю, пройдя путь воспитания своих трех детей, троих бывших подростков, — они тоже, дети, воспитывают взрослых. Вынуждают их принимать меры.

Какой следующий шаг в борьбе за свободу был у меня?

Не возвращаться домой вообще.

А у них, у бабушки Вали и у Вавы?

Поймав меня, запереть и балконную дверь.

Потому что только в теплое время ребенок на улице останется жив. Как только станет холодно, он погибнет. Потому-то бездомные дети вертятся вокруг теплых вокзалов. Но все равно они умирают.

Однако совсем не давать им воли — убегут.

О воспитание, борьба неразрешимых противоречий.

Впрочем, когда меня спросили, о чем пишутся пьесы, я ответила наскоро — о неразрешимых проблемах.

Они все, по сути, неразрешимые.

Об этом дальше.

Литературные лежания

Теперь, после этого педагогического отступления, вернусь к «Портрету» Гоголя.

Так вот, бабушка меня воспитывала в замкнутом пространстве, удерживая дома тем, что великолепно пересказывала классическую художественную литературу. Тетка мне впоследствии говорила, что ее мать легко продолжала любую радиопередачу, если читали Гоголя или «Войну и мир». Она многое помнила наизусть. Бабушка Валя, бывшая «курсиха» Бестужевских курсов, отличалась фантастической памятью. Мой дедушка Николай Феофанович, ее муж, был профессором-лингвистом и знал одиннадцать языков. А я, их потомок, даже в школе не училась, потому что обуви не было. С апреля по октябрь я бегала босая, а зимой сидела дома. Но все-таки я начала читать лет в пять по газетам, которые выкидывали соседи. Мои взрослые принципиально не хотели меня учить. Дедя запретил почему-то (и правильно сделал, ребенок оч-чень интересуется запретным!). Я даже наизусть шпарила отрывки из «Краткого курса истории ВКП(б)», бабушкиной прикроватной книжки — в которой она подчеркивала откровенную ложь. Вся книга была в подчеркиваниях.

Имелись еще два печатных издания — «Комната на чердаке» Ванды Василевской, которую я не запомнила, и моя первая прочитанная книга «Жизнь Сервантеса», кажется, Франка. Там было описание графина с вином, стоящего на столе вроде бы в тюремной камере. Красные блики ложились на белую скатерть. Я до сих пор вижу эту картину ясно, как будто жила там. Красный свет на белом! Ничего подобного в моем мире не было. Ни белого ни красного. Но оно существовало в моей детской жизни, вот в чем дело. Я помню эти отсветы! Эту белую как плотный слежавшийся снег, эту тяжелую скатерть с толстыми раструбами, спускающимися по углам. Эту комнату с деревянным потолком. Маленькие низкие окна, за которыми горит вечернее солнце. А на воле зеленые поля! Испанская тюрьма мне представлялась почему-то такой.

Еще у Бабы было собрание сочинений Маяковского в одном томе. Видимо, в память о том, что Маяковский был в юности влюблен в Бабу и называл ее пышно Голубая Герцогиня, в духе Серебряного века. Молоденькая бабушка Валя стеснялась его громких признаний. Маяковского привел в Московский лингвистический кружок друг дедушки Роман Якобсон, сказав: «Я открыл гениального поэта». Там они с моей юной бабушкой

встретились еще раз — до того Маяковский, что называется, «бегал» за ней, будучи малолетним членом партии. Об этом я уже упоминала. Тогда им было по пятнадцати лет.

По семейным легендам, Маяковский, встретив бабушку при содействии Романа Якобсона, сделал Голубой Герцогине предложение, а она отказала ему.

А в 1914 году у Вали и Коли Яковлевых уже родилась дочь Вера, моя тетушка Вава.

Когда баба Валя возвратилась после реабилитации в Москву в 1956 году, ее сестра Ася, вернувшаяся из лагерей и ссылки, воскликнула: «Ну вот, не хотела за поэта, вышла за профессора, и что получилось!»

* * *

Наше с Бабой лежание бывало, конечно, зимой.

Обычно бабушка Валя возвышалась на кровати вздутая как гора (та самая голодная водянка), а я умащивалась рядом, тощая как скелет, мы укрывались чем могли, и она целыми днями как бы читала мне, прикрыв глаза, почему-то в основном Гоголя, «Мертвые души», «Вечера на хуторе близ Диканьки». У нее была одна слабость: она много внимания уделяла описанию обедов. И невинно вставляла в гоголевские меню шкварки и борщ. Я спрашивала, что это такое. Бабушка отвечала. У меня, как у собачки Павлова, текли слюнки.

Она прочла мне наизусть и «Портрет» Гоголя. Возможно, что и «Вия», его я боюсь до сих пор.

Так вот, повесть Гоголя «Портрет» произвела на меня незабываемое впечатление (до сих пор я считаю, что сюжет о продаже своего дара — самый актуальный. Кто служит деньгам, служит известно кому).

Наши литературные лежания были по той причине, что мы ослабели от голода.

Мои концерты. Зеленая кофта

А летом я просила милостыню.

Я побиралась не протягивая руку, а ходила по незнакомым дворам, становилась где-нибудь у сарая (там обычно бегали дети и сновали старухи) и начинала петь. Это были песни типа «На полянке возле школы», «По росистой луговой», «По берлинской мостовой». Танго я не пела, а «Утомленное солнце» искренне ненавидела. Это был заезженный шлягер, каждый вечер эту пластинку заводили в Струковском саду. Под нее раненые из госпиталей тянулись на танцы, поселковые бабы у парка продавали букеты, в небесах догорали продолжительные закаты, утомленное солнце действительно опускалось за Волгу, и нам потом попадались на мостовой отдельные головки георгин, насаженные на проволоку. Я долго билась над вопросом — зачем на проволоку-то? А это они так приделывали отвалившиеся цветы.

Так что «Утомленное солнце» мне надоело до такой степени, что я его вставила в сценарий фильма о нашем с Юрой Норштейном общем послевоенном детстве, фильма «Сказка сказок», который уже стал чем-то вроде постоянного репертуара ТВ на День Победы 9 мая.

Затем я исполняла, как попугайчик, пластинку соседа-майора «Выпьем, ей-богу, еще, Бетси, нам грогу стакан! Последний в дорогу-у! Дурак тот, кто с нами не пьет!» и, выходя на коду, завершала выступление залихватским попурри из оперетты «Сильва» — «Красотки, красотки, красотки кабаре! Вы созданы лишь для развлеченья! Не знают сомнений красотки из кафе! И им не-досто-йны… любви… му…че…нья-аа! Крра-сот-тки, красотки» и т. д.

Там, правда, было «недоступны», но я с этим словом не справлялась.

Стало быть, я пела свои песенки вроде малолетней Эдит Пиаф, а затем, когда репертуар кончался, а дети уже меня окружили, я, чтобы не терять слушателей, тут же с ходу начинала рассказывать «Портрет» Гоголя. Детей эта история просто потрясала. Я помню, что один раз мне принесли кусочек черного хлеба. А другой случай был такой, что какой-то мальчик подошел и, стесняясь, сказал мне, что его мама меня зовет. Я сначала испугалась, инстинкт говорил мне, что нельзя идти за незнакомыми в чужое парадное. Но все дети стали меня уговаривать, их это тоже заинтересовало, и мы пошли. Там, наверху, на темной лестнице, открылась дверь, и женщина,

утирая лицо, протянула мне зеленую трикотажную кофту без пуговиц, вроде свитера (и я ее тут же надела). Все были рады и осматривали меня на темной лестнице, в свете открытой двери, как собственное удачное произведение.

Больше, разумеется, я никогда в этот двор не заглядывала.

* * *

Спиноза вроде бы говорил, что мы избегаем тех мест, где нам было плохо.

Но иногда невозможно вынести и непомерное добро, сделанное тебе. Туда нет возврата.

Кто-то сказал, что отплатить за великое благодеяние можно только неблагодарностью…

Может быть, ты подозреваешь, что ничто не повторится, все будет хуже, и уйдет главное счастье жизни — воспоминание о добре. И те лица тебя уже не встретят, и зеленой кофты больше не будет.

А так — они с тобой. Эта толпа голодных детей, эта открытая дверь, протянутая рука и невидимая чужая мама, которая плачет, стоя спиной к свету.

Джойс называл такие вспышки памяти «эпифании».

Эти эпифании здесь, тут, сейчас.

Портрет

И вот так, порассказавши по дворам «Портрет» Гоголя, я в полном одиночестве поздним вечером, в Доме офицеров, в пустом кабинете начальника, устроившись на диване, подложив под щеку руку, увидела в свете негаснущего заката произведение живописи, на котором Сталин вполне мог обернуться и своими черными глазами жутко посмотреть прямо на меня. В диком страхе я легла на другой бок и так застыла, накрывшись ладонью.

Чудовищная угроза исходила от этой фигуры.

В дальнейшем я уже ночевала в других кабинетах.

Такова сила воздействия живописи! Мало ли что чувствовал художник, когда писал это произведение. Может быть, оно у него родилось от страха, в надежде на помилование.

А что чувствует автор в момент созидания, то и передается особенно чувствительной публике.

Кстати, после получения зеленого свитера я почему-то стала стесняться выступать по дворам, а пошла просить милостыню в магазин.

Похоже, я вообще прекратила деятельность артистки, вплоть до детского дома.

Но собирать милостыню в магазине гораздо труднее! Поцарапаешься в чью-то спину, попросишь копеечку, а дядя сплеча и отвесит тебе копеечку! Начнешь выступать на тему «дяденька, подайте еще побольше», а тебе резонно возразят, что ты ведь столько и просила…

А ведь самая маленькая порция мороженого стоила три рубля!

Формулировка «подайте копеечку», скорее всего, осталась в репертуаре нищих еще с дореволюционных времен, когда копейка что-то стоила. Так сказать, «при старом прижиме», как говорили бабушки-контрреволюционерки.

Мой дебют состоялся в большом продуктовом магазине.

Там нищие стояли у кассы как бы почетным караулом, тихо шепчущим свои мольбы коридором. Покупатели проходили сквозь строй побирушек, идя платить, а на обратном пути шеренги почти смыкались, и попрошайки, голодающие, несчастные, сирые и больные, безногие, слепенькие, протянув робкие руки за мелочью, образовывали тесный живой туннель.

Сейчас я вспоминаю, что покупали в этом магазине мало, очереди в кассу не было.

Высокие потолки, пустота.

Тогда товары не лежали на полках, их иногда привозили и «выкидывали», а покупатели бежали, вставали в хвост «за крайним» и в результате «доставали».

Я заняла место в самом конце череды нищих, далеко от окошечка. Надежды не было.

Однако ситуация вдруг поменялась. Весь этот почетный караул по бокам кассы надоел кассирше. Она стала кричать из своего окошечка, и нищие покорно, как побитые собаки, отошли и встали к дальней стене. Я одна осталась на месте. Мало того, я прибилась к самой кассе. У окошечка кассирши был такой карниз, лоток, чтобы, видимо, сдача, которую сгребали, не падала на пол.

Вот в этой нише, под карнизом, я и спряталась от глаз кассирши. Но я не помещалась там целиком и склонила набок голову и так стояла.

И тут началось! Люди стали подавать мне как заведенные. Кармашек моего сарафана под свитером быстро раздулся. Я ничего не могла понять. Это был дождь мелочи!

Я струсила. Что-то непонятное происходило. Почему они все мне подают?

И тут я все поняла: моя склоненная набок, неудобно

вывернутая голова под карнизом кассы. Они все думают, что я больная! Калека!

Как я предполагаю сейчас, на моем довольно подвижном лице застыло выражение нечеловеческого страдания, поскольку стоять в одной, да еще и искривленной позиции является самой страшной карой для ребенка. Я совершенно честно мучилась. Но и уйти, когда всех выгнали, а ты спряталась, да так удачно, нельзя. Я терпела и страдала. Возможно, что у меня было несчастное красное личико и брови трагическим домиком. Такая святая мученица-ребенок с вывернутой кривой шеей. Сердца людей разрывались от жалости.

Все нищие, наверное, примелькались уже, их воспринимали как людей без трагедии — ну, такое у них место работы. Ходят как на службу. Делать им нечего.

И тут появилась новая девочка, да еще калека, неприкрытое горе!

Окончательно меня добило то, что от стены отделился мальчик-нищий, его послал одноногий отец-нищий. Мальчик-нищий, глядя на меня во все глаза, подал мне копеечку и торжественно, свершив доброе дело, вернулся к своему плохому месту под стеной.

Как только я поняла все, мне стало стыдно до настоящего ужаса. Сердце ушло в пятки. Это был бы позор, если бы они узнали, что я на самом деле не больная! Меня как кипятком обварили. Я, видимо, еще больше покраснела. Люди стали нагибаться ко мне, подавая, что-то спрашивали. Надо было бежать. Держа голову к плечу, еще больше кренясь, я отлепилась от кассы и проделала путь к выходу из магазина (мимо своих собратьев-нищих), но и некоторое время на улице все сохраняла свою кривую позу. Только зайдя в какой-то двор, я спряталась в кусты, села к стене и посчитала свое богатство. Мне подали четырнадцать рублей!

Можно было купить мороженое. Оно стоило три рубля самое маленькое, девять порция побольше и двенадцать самая большая. Но у меня была мечта о кукле! Я воображала себе эту огромную куклу! И я помчалась в маленький магазин, в лавочку, торгующую бумажным товаром и игрушками, куда я наведывалась обычно просто так и простаивала столбом над стеклянным прилавком. Меня там уже знали и регулярно выгоняли — но теперь было другое дело, я сказала, что у меня есть деньги. Ко мне отнеслись настороженно.

И я, терзаясь, выгребла всю мелочь на прилавок. Продавщица сурово посчитала. Я, замирая, показала на куклу за ее спиной. Но оказалось, что моих денег хватило бы только на самое дешевое в

этом магазине. Под стеклом в витрине лежал мальчик в матроске, матерчатый, с целлулоидной головой. На более дорогую девочку я не поднялась. Я с невыплаканными слезами, потеряв все свои надежды, взяла моего мальчика и спрятала его за пазуху, за воротник подаренного мне зеленого свитера. Я подумала и прижала его к себе. Он был мой! Моя собственная куколка! И тут я помчалась по улице, высоко подпрыгивая от счастья. У меня был маленький мальчик!

Когда я вбежала в свой двор, куклы у меня за пазухой не оказалось, я ее уронила.

На этом удача кончилась. Я поняла, что все было справедливо. Я обманула всех, и Бог меня наказал. Мой маленький матросик лежал у меня на груди недолго.

Удивительно, но так происходит в жизни, наказание следует за преступлением. Только очень большие злодеи уходят от кары, но их оберегают (курируют) совершенно иные силы, как мне кажется.

Другая жизнь

Скоро после этого горя у меня началась другая жизнь, совершилось чудо.

К тому времени, к началу июня 1947 года, я, спустившись с балкона, давно жила на улице, то есть во дворе, и меня уже успели удочерить, это была женщина с соседнего двора, которая потеряла своего ребенка. Она жила в одноэтажном домике под деревом, в густой тени. В комнате этой женщины царил полумрак, над кроваткой висела увеличенная фотография умершей девочки с прикрепленным черным бантом. Тетя меня мыла в корыте, и это было жутко противно. Чужие руки трогали меня, фу. Я не помню, но, возможно, она помазала мою голову керосином. Я поспала под портретом недолго, одну ночь, и убежала к себе во двор. Портрет, портрет, всегда портрет с устремленными на тебя глазами! И женщина, вечно темная, маленькая, озабоченная, которая почти не смотрела на меня. Она в полутьме доставала из шкафа драгоценные дочкины одежки и, сомневаясь, поглядывала в мою сторону. Она явно хотела привыкнуть ко мне и пока не торопилась раскрывать все свои богатства, но я ушла гулять во двор и не вернулась. Я почему-то ждала свою собственную маму, которая уехала четыре года назад в Москву учиться и пока что не приехала, только посылала небольшие деньги, на что мы и покупали по карточкам хлеб и, изредка, керосин.

Я, вольная как птица, лохматая, вся в расчесах от клопов и вшей, видимо, уже пыльная после помывки (зеркал в те времена не было, я не видела себя, как все бродяги), бегала по двору, не зная своего будущего, но прискакали довольно взрослые дети соседей сверху из нашего подъезда, дети врагов и сами мои враги, они меня всегда гоняли и били, парень и девка, брат с сестрой, я их боялась и спряталась за угол, но они вдруг весело, как друзья, закричали издали, чтобы я шла к ним домой, меня ждет мама!

Вот как получается в жизни! Твои недруги, мучители вдруг поворачиваются к тебе совсем другими лицами, светлыми, добрыми. (Потом я наблюдала это не раз.)

Я заартачилась и не поверила. Домой к врагам? Какая еще мама? Та черная тетенька с портретом на стене? Но они кричали: «Мама, мама твоя приехала! С Москвы!»

Нечто невероятное! У меня закружилась голова.

Но уличные дети никому не должны доверять.

И не хотят ли они меня обманом вернуть домой? Под ключ? Или сдать в детский дом? За мной охотились две тетеньки из какого-то отдела, чтобы отправить в детдом, я их боялась как огня. Однажды я уже напоролась — поскребла ногтем по чьей-то спине со словами «подайте копеечку», и вдруг передо мной, повернувшись, возникла та самая тетя как из страшного сна и сказала: «А вот ты где!»

Как я от нее тогда бежала!

Но я пошла с моими врагами. Мы поднялись, прошагали мимо двери нашей квартиры, за которой меня напрасно ждали бедные бабушка и Вава, покинутые мной. Мы поднялись этажом выше, и меня ввели в комнату, где за столом сидела моя собственная мама!

Я поперхнулась и зарыдала от счастья, меня как взорвало. Я не видела мою дорогую четыре года. Родное лицо улыбалось мне, но появились и ямочки под глазами (они возникали, когда мама хотела плакать от умиления, например, когда она видела меня после разлуки; и точно такие же ямочки теперь у моей дочери). Моя мама усадила меня и стала как маленькую кормить с ложечки манной кашей, которую она специально в ожидании сварила — с молоком, маслом и сахаром. Меня вырвало. Потом я помню, что мама меня обмыла и на руках понесла в баню, я ужасно стеснялась, что меня тащат у всех на глазах, здоровую дылду, но мама оставила меня пятилетней и привыкла, что дочку можно носить. В бане меня постригли наголо, оставив только чубчик, а уже ночь мы провели на деревянных брезентовых раскладушках под названием «к'озлы», ударение на «о», на чистейших белых простынях, в огромном зале в аэропорту, среди десятков таких же спящих. Я спать не могла. Запах свежего белья, высушенного на солнце во дворе! Мама рядышком и спит, держа меня за руку!

Это было девятое июня. Я всю жизнь помню эту дату. На исходе ночи нас подняли, посадили в самолет, в котором железные скамейки тянулись вдоль бортов, как теперь в метро. Мы летели очень долго, самолет швыряло, он проваливался в воздушные ямы, душа уходила в пятки.

Мы прибыли на место утром. Я была в новых коричневых сандаликах, надетых на носки, на мне были трусы, майка и ярко-красное платье! Еще у меня было большое коричневое клетчатое пальто. Я чувствовала себя как Золушка на балу, совершенно не в своей тарелке. Начиналась новая жизнь.

Забегая вперед, скажу, что мне там не оказалось места.

«Метрополь»

В Москве, куда мы приехали на автобусе, стояла пасмурная раннеутренняя погодка, озноб прохватывал. Легкий туман скрывал противоположную площадь Свердлова, когда мы стояли под светофором у Малого театра напротив «Метрополя». Или солнце еще не взошло. Я не выспалась, было холодно, мама так и держала меня за руку, с первого взгляда, как будто боялась потерять.

Никому другому я не разрешила бы водить себя за руку.

Помню, что передо мной простерся пустынный Охотный ряд, который мы должны были перейти, чтобы попасть в гостиницу «Метрополь», где нас ждал мой прадедушка Илья Сергеевич, Дедя, — и меня потрясло, что очень мало машин стояло у перекрестка. Я-то была воспитана на трофейных американских фильмах типа «Сестра его дворецкого» в родном ОДО и ожидала, что мы с мамой прилетим по меньшей мере в Нью-Йорк с его потоками машин!

Но мы прилетели в Москву.

Мы вошли в дедушкину квартиру в гостинице «Метрополь». Сюда меня принесли из роддома, здесь я жила первые годы своей жизни. Это был вроде бы мой родной дом.

Но я уже была совершенно неуправляемым, диким ребенком после войны, после разлуки, почти Маугли. Как бы сейчас сказали, я была асоциальна. Жизнь, которую мы вели в Куйбышеве, была жизнью отщепенцев, париев, юродивых. Враги народа — это не пустая фраза, мы были враги соседей, милиции, начальства, дворников, прохожих, обитателей двора всех возрастов. Нас в ванную не допускали, стирать не разрешалось, да и мыла не было. В свои девять лет я не ведала, что такое туфли, расческа, носовой платок, школа, что такое дисциплина, например. Я не знала, как усидеть неподвижно, читала я чаще всего на четвереньках, проглатывая книги с бешеной скоростью. Ела тоже мгновенно, преимущественно руками, запихивая в рот огромные куски, и вылизывала за собой дочиста. Круглый год я ходила босая. Я не знала простынь. Вши и клопы разъели мои руки от плеча до локтя, и так, что от расчесов не оставалось живого места. Ступни и кисти рук были серые, в кровавых цыпках, в гное, трещинах и ссадинах, а ногти черные как у обезьянки.

Только волосы и глаза были, наверное, прежние, детские. Но волосы мне остригли.

Вот какую девочку получила моя мама.

Разумеется, я мешала своему прадедушке в гостинице

«Метрополь», у него там была только одна комната, и мало кому нравилось присутствие вышеописанной буйной натуры девяти лет в таком чинном партийном гнезде, как «Метрополь».

Мама пошла на работу, Дедя по делам. Мне стало скучно, требовалось действовать.

Посидевши в одиночестве, я стала рыться в письменном столе и обнаружила в ящике у Деди банку с серебряными полтинниками. Они были такие красивые!

Я села на подоконник.

Внизу, во дворе, бегали и орали как резаные мальчишки.

Я с высоты своего положения стала по-царски кидать им монеты и страшно забавлялась, глядя, как они переполошились, бегают за монетами и дерутся!

Каждая новая монета вызывала у них взрыв бешеной активности и мордобой.

Они уже с надеждой смотрели вверх, а я, довольная, пряталась.

На следующий день я выволокла в коридор прадедушкиного деревянного игрушечного коня. Вернее, это был конь отлетевшего Сережи-летчика, моего юного деда. В дополнение к чему я нахлобучила на себя тяжелую непомерную Дедину буденновку (целый прибор, суконный шлем с длинными кусачими ушами и шишаком!). Уголок козырька доходил мне почти до подбородка, и пришлось задирать голову, чтобы видеть пол. Кроме того, я стянула тяжеленную саблю, мирно висевшую у деда на ковре, взяла ее в руки и в таком виде начала бороздить на коне длинные коридоры «Метрополя», отталкиваясь ногами от паркета и крича на скаку «Ура, товарищи! В бой!».

Что там было между взрослыми после моей кавалерийской вылазки, я не знаю. Сабля оказалась неподъемной, она в конце концов повисла у меня через плечо на какой-то тряпке и волочилась с лязганьем по полу, и представьте себе этот вид — в чинном коридоре «Метрополя», подпрыгивая, грохоча и царапая наборный, навощенный паркет, загребая ножками, движется огромная буденновка на игрушечном коне, а за ней тянется, звякая, еще и сабля. Я была очень маленькая и худая, в детском доме впоследствии у меня было прозвище Москвичка-спичка.

Поэтому, наверно, мама срочно вывезла меня из «Метрополя». Нас, короче, дедушкина родня попросила вон. На первый случай мама переправила меня в Серебряный Бор, на дачу к нашей почти родственнице, старенькой Мамаше (это было ее прозвище). Я приходилась ей двоюродной племянницей внебрачного сына одного человека, Сережи Судьина, которому Сереже Судьину Мамаша, в свою очередь, когда-то сдала койку в Казани, его привезли из маленького города поступать в первый класс гимназии, это называлось тогда «нахлебник», то есть койка была с питанием. Там, под присмотром Мамаши, он и вырос.

У этой Мамаши Сережа Судьин при наличии ее собственных детей числился самым любимым ребенком. Он стал революционером. И женился он на шестнадцатилетней Леночке Вегер (которая позже, уже посмертно, оказалась моей двоюродной бабушкой). Леночка, хорошенькая как ангел, пришла селиться в комнату к мужу одна, так как он был занят на работе. Она в то время тоже уже ходила на службу, заведовала детским очагом (так назывались ясли). Леночка вошла, опустила голову и увидела, что на ее блузке не хватает пуговок, остались только тряпочки (тогда пуговицы обшивались материей и шли от ворота до юбки часто, в два ряда). Леночка сказала: «У меня пуговки оборвались». А Мамаша уже ее полюбила и ответила: «Ничего, я пришью».

(Недавно я услышала следующую историю, относящуюся приблизительно к 1925 году. Дело происходило в «Метрополе», в семье моей бабушки Вали. Как-то в воскресенье утром маленькая Люля заболела, предположительно скарлатиной, и второго ребенка надо было изолировать. И мою будущую тетушку Ваву (ей стукнуло одиннадцать лет) мать отвела к этой своей сестре Леночке в гостиницу «Националь». В «Национале» Леночка Вегер, заведующая секретариатом Калинина, занимала номер на втором этаже, первая дверь в тупичке справа от парадной лестницы. Это было воскресное утро. Никакой еды у Леночки в комнате не имелось, даже хлеба. Все сотрудники Кремля обедали в кремлевской столовой, и им с собой еще давали сухой паек, сверток с провиантом на ужин. (Впоследствии все, что выдавали «контингенту» в течение многих десятилетий в так называемых кремлевских столовых — а по сути в закрытых городских магазинах, — так и называлось, «сухой паек». Куры, фрукты и овощи, икра и балыки, даже нежнейший хлеб и какое-то специальное молоко.)

Маленькая Вава стояла там, где ее оставила мать, и тут в номер к Леночке безо всякого предупреждения и без стука, видимо со своим ключом, вошел Михаил Иванович Калинин. И тут же, не глядя по сторонам, последовал налево, туда, где находился альков и в нем кровать. Леночка громко сказала ему, что у нее в гостях племянница — которая, кстати, стояла столбом и во все глаза смотрела на обувь Калинина, поскольку он имел на ногах кот'ы, деревенские боты без шнуровки, но с ушками и боковыми резинками. Так-то на Калинине был серый городской костюм с пиджаком, а вот обут он был странно. В кот'ах ходили приезжавшие на базар крестьяне. Правда, у Калинина кот'ы были лакированные, что тоже дико заинтересовало ребенка. Она буквально не могла отвести глаз от кот'ов всесоюзного старосты. Калинин же из алькова спросил, как понравилась девочке Москва. У него, как потом объяснила Леночка, было много детей в деревне, и они всегда приезжали именно оттуда. Леночка тут же взяла стул, повернула его сиденьем вперед, встала за его спинкой и буквально стала наезжать на бородатого дедушку, вываживая его из алькова и не позволяя ему подойти к себе. Во время этой процедуры она сообщила, что девочка живет в Москве, в «Метрополе», а вовсе не приехала из деревни.

Как-то удалось выпроводить Калинина, а потом Леночка сказала своей сестре в присутствии ее детей: «Если бы вы знали, как это трудно». Калинин был ее старше на двадцать пять лет. Судя по всему, кремлевские титаны не ограничивали себя ни в чем по отношению к своим сотрудницам. Каганович, о фамилии которого речь пойдет немного позже, тоже являлся к красавице Леночке при Ваве, но был удален. Робкий Билл Клинтон, подвергшийся нападению, т. е. секшуал харрасменту, со стороны толстой практикантки, по сравнению с советским руководством курит в углу, как говорят теперешние люди, когда хотят подчеркнуть чье-то превосходство.

Мамаша

Но вернемся к Мамаше. Всю жизнь, начиная с первого класса его гимназии, она не покидала Сережу Судьина — до самого его расстрела, а потом Мамаша жила при второй жене Судьина, Фире. Леночку расстреляли примерно в ту же пору, что и ее первого мужа Сережу, в тридцать седьмом году.

И все эти годы Мамаша зарабатывала на жизнь, обшивая всю дамскую округу. Она мастерила что душе угодно. Но особенно «шли» бюстгалтеры, скроенные по французскому фасону — кто-то из клиенток съездил в командировку в Париж, и мамаша тут же сняла выкройку.

В свое время Мамаша сильно огорчалась, что маленькая шестнадцатилетняя жена Сережи Леночка дома ничего не ест и «ногами болтат». Откуда такое выражение: Леночка в родной вегеровской семье была младшая и любименькая сиротка, после смерти матери оставшаяся едва двух лет от роду. У евреев маленькая сиротка — объект всеобщего поклонения. И чуть что, Леночка впадала в истерику, кидалась на пол и стучала ногами. «Болтала», по выражению Мамаши. Как результат, в шестнадцать лет в Казани Леночка уже была член партии и заведующая.

Существовало у меня с Мамашей и еще одно родство — с другой стороны, со стороны Яковлевых. У Сережи Судьина, великолепного военачальника, позже был роман с красавицей актрисой Марией Яковлевой, сестрой моего дедушки Николая Феофановича. Маруся Яковлева выросла как все Яковлевы, под метр восемьдесят. Поэтому партнеры в любой труппе были бы для нее низковаты, и она стала театральным педагогом. От ее романа с Судьиным и родился Сергей Сергеевич Яковлев, киноактер, народный артист, сыгравший в фильме «Тени исчезают в полдень». Сережа у моего дедушки Коли был вроде сына, он его выучил в институте, во ВГИКе. Вот какая я была Мамаше родня! Со всех сторон. Внучатая племянница первой жены Судьина и двоюродная племянница побочного сына Судьина.

Тем не менее добрая Мамаша меня приняла. Крошечная, старенькая, совершенно кособокая, сгорбленная Мамаша взяла меня, постороннего ребенка, без единого слова. В доме было полно народу, в том числе и бегали какие-то ее внуки-правнуки, но я ни с кем не познакомилась. Мне это было не нужно. Мне было некогда. Я хотела подслушать, о чем моя мама говорит с Мамашей, но они ушли в дом.

Затем мама, судя по всему, договорилась с Мамашей, поцеловалась со мной (под глазами появились ямочки,

предвестники плача) и уехала. Я заранее тщательно запоминала, откуда мы шли, сначала от метро к троллейбусу, а затем сойдя с троллейбуса (только что не отмечала путь белыми камешками, как Мальчик-с-пальчик), и немного погодя выбралась за дачную калитку, добежала до остановки и уехала на этом троллейбусе обратно к маме. Я рассчитала, что доеду до метро, а там уже все знают станцию имени Кагановича. Но не тут-то было! Я помню сердобольные лица людей, которые маленькой толпой отвечали, склонившись ко мне, что все метро называется «имени Кагановича»!

Начиналось пыльное московское лето, дело шло к вечеру, солнце висело низко, лучи его били мне в лицо, ослепляли.

— Нет, — убеждала я их, — там было, на доме, написано «имени Кагановича»!

— Все, все метро имени Кагановича! — в один голос отвечала мне толпа.

Меня даже подвели к станции метро «Сокол» для подтверждения. Действительно, я прочла на совершенно неизвестном здании точно такие же слова «имени Кагановича».

То есть все было как в сказке про Аладдина, когда он пометил все ворота одним знаком! Будь он неладен, этот Каганович! Люди спрашивали меня, где я живу. Знаю ли я свой адрес. По-моему, они уже были готовы сдать меня в милицию и детский дом!

И тут я нашла выход и выгребла из памяти слова — гостиница «Метрополь». Слава тебе господи! Все облегченно засмеялись и повели меня в метро, и кто-то даже убедил билетеров пустить бедную потерявшуюся девочку бесплатно! (Видимо, я уже наговорила чего-то, наврала этим легковерным москвичам про себя, круглую сиротку, не ела шесть дней.) И через некоторое время я туда, в «Метрополь», заявилась! Как потерявшийся Мальчик-с-пальчик, с победой! Мама ахнула, узнав, что я опять у прадедушки. Бабушкина мачеха, бывшая жена Деди, но проживавшая по соседству, — эта мачеха тоже, видимо, ахнула. И меня забрали от Деди и затем быстро отправили в пионерский лагерь.

Лагерь

Оттуда мне было не сбежать, нас везли на пароходе, потом высадили и долго вели вечером по сырой траве, по огромному лугу, при уже закатившемся солнце, на вечерней заре. Запах мятой травы, звон комаров, орава людей с чемоданами и мешками, многие старше меня, темнеет, страшно. Могут побить. Дорогу запоминать бесполезно!

В первый раз в жизни я оказалась в огороженном пространстве без возможности обрести свободу.

Там, в лагере, в коллективе, были свои законы, как оказалось, и я их не знала. Это не были законы дикого двора (беги, ищи, хватай, глотай сразу, прячься, отвечай ударом на удар, никому не верь, зовут — не ходи ни за что).

В лагере меня поразило прежде всего четырехразовое питание (а я все запасала хлеб, держа его в тумбочке), чистые простыни, личное полотенце, общая баня раз в неделю, стыд какой, а также туалет на ряд очков вместо забежать за угол, еще и длинный железный лоток для ежевечернего мытья ног и ходьба строем всюду! В столовую четыре раза в день, в спальню дважды, на линейку два раза по будням и по праздникам еще разок дополнительно. И в лес строем.

Сразу обнаружилось, что я не пионерка, девятилетняя беспартийная, и меня приняли. Повязали галстук. Правда, довольно скоро так же торжественно исключили, под барабанный бой на линейке, не помню за что. За постоянные драки, может быть, а скорее всего, за полную дикость. Я еще молчала о том, что не учусь ни в каком классе никакой школы!

Я тут же растеряла все свои вещи. Осталась только юбка на помочах и белая рубашка (белый верх, темный низ, праздничная униформа пионера). Видимо, они лежали про запас в моем чемодане и так сохранились. Правда, пуговицу от одного помоча я тут же потеряла, и приходилось его заправлять в юбку. Оттуда, из-под подола, он вилял в виде длинного (часто мокрого) хвоста, так как в то лето нередко шли дожди. Разумеется, надо мной смеялись.

Помню, что от таких всепоглощающих трудностей я завела себе в кустах идола, такую веточку, которую воткнула в землю под сосной. Я кланялась ей, я вставала перед ней на колени, складывала руки домиком и горячо ей молилась. В Бога я уверовала еще в Кубышеве, я сама поняла, что Бог есть. Моя вера выражалась в том, что я тайно крестила себе рот после зевка (подсмотрела в трамвае у одной старушки). Своего деревянного

бога, неструганую палочку, я украсила каким-то цветочком, завила вокруг нее венок, который быстро высох.

Моя предыдущая жизнь научила меня жуткой бережливости насчет продуктов питания, и я хранила за спинкой кровати окаменелые мамины пряники, которые она мне дала с собой, я их берегла на черный день и как святыню, как память о маме, и один раз пришедшая в спальню комиссия с позором вытряхнула их из мешка. Мама сварганила этот мешок из моих бежевых байковых шаровар, зашив штанины. Этому тоже брезгливо удивились.

Господи, как мне было там плохо!

Лагерь воспитал во мне ненависть к проверкам, контролю, коллективизму и, одновременно, восторг до слез перед идущим под военный марш строем. А также личную скромность, нелюбовь и подозрение ко всякой похвале, желание спрятаться подальше, но и наоборот — стремление участвовать во всех кружках: рисовать, петь, танцевать, играть в спектаклях, выступать со стихами, делать себе костюмы и парики из бинтов и, скажем, пакли (пакля добывалась в стенах деревянных бараков). Я так придумала: обматываем голову бинтом и, тыкая иголкой наугад, без зеркала, прямо на голове пришиваем к нему паклю. Затем стаскиваем образовавшуюся шапочку и заканчиваем пришивать в лысых местах.

Таким образом я на одном лагерном карнавале сделала себе костюм клоуна — патлатый парик, красный нос, намазанный свеклой, и половник, украденный на кухне, якобы зонтик. Я гуляла и приплясывала под этим половником, как под зонтиком, надеясь получить приз, — сказали, что дадут выпить морсу сколько хочешь! Но меня просто не заметили. Тогда я самостоятельно тронулась на поиски (должен же где-то быть этот морс) и в темноте под стеной кухни набрела на целую бочку морса! Половник пригодился, я зачерпнула красноватого цвета жидкость и хлебнула от всей души, радуясь, что я над бочкой одна и никто меня не гонит, не выталкивает и не говорит, что ты ведь не получила приз, чего пьешь?

В этой бочке оказалась вода, в которой мыли свеклу и морковь, а может, и картошку. Поганый вкус грязной ботвы. Уроки коллективизма на всю жизнь — не ищи халявы индивидуально! И потом: если никто вокруг не толпится — стало быть, это непригодно. Где нет толпы — там искать нечего.

Кроме того, лагерь развил во мне болезненную тягу к справедливости, забастовкам, упрямству в отстаивании своей позиции, склонность к протесту и к мелким обманам типа украсть общественный огурец. А также детские законы запрещали высовываться, жадничать, ябедничать и воровать личное (общее

можно, поскольку все только это и делали).

Меня вернули к маме с пустым чемоданом, в юбке с двумя хвостами, все пуговицы потерялись к концу лета, мама меня устроила на три смены, как оказалось.

Улица Чехова. Дедушка Коля

Следующее наше пристанище было у маминого отца Николая Феофановича Яковлева, дедушки Коли, на улице Чехова, 29, квартира 37.

Там тоже фигурировала разведенная мачеха, теперь уже жена деда Коли, с дочерью. И они все свои силы положили на то, чтобы выгнать нас с мамой. Маленькая, сухая старушка сорока пяти лет, мамина мачеха, была настоящим кошмаром для нас. Каждый месяц маму вызывали на заседание суда по иску мачехи о выселении нас из квартиры.

У деда, как и у прадеда, имелась собственная комната, но в два раза меньше, двенадцать квадратных метров, однако с очень высокими потолками, в четыре с лишним метра. И его библиотека (пять тысяч книг) располагалась в шкафах, которые громоздились один поверх другого до потолка. Был отдельный шкаф Библий. Самая большая была неподъемная, в светлой свиной коже с серебряными застежками. Были первоиздания «Бориса Годунова». «Евгений Онегин» стоял в лакированном картонном футляре, тонкие книжицы в обложках из зеленой бумаги, каждая глава отдельно. Как потом предположили оценщики в букинистическом, экземпляр когда-то принадлежал генералу Ермолову. Почему мама тайно продала эту книгу — я долго болела ангинами, гайморитом и фронтитом, и она решила повезти меня в Прибалтику, на море. Была у деда одна моя единственная читаемая книга восемнадцатого века «Описание земли Камчатки» Крашенинникова, у нее был особенный запах старой бумаги, кислый. Прочесть остальные четыре тысячи девятьсот девяносто семь книг не представлялось возможным, так как они все были на иностранных языках, в том числе и немецкое полное собрание сочинений Гете с кошмарными гравюрами Доре (какие-то рогатые люди). Дед был профессором, я уже упоминала, что он к знанию одиннадцати языков приплюсовал еще и знание приблизительно семидесяти языков народов Кавказа, поскольку для них он составлял азбуки, а некоторым отсталым аулам вообще создавал заново письменность. Кавказские языки, которые ее имели в виде арабской вязи, все переводились сначала на латинский алфавит.

А также дед считается создателем теории фонем (1923 г.) и математического метода в лингвистике. Дед есть в энциклопедиях. Недавно я прочла в «Независимой газете» другой его титул: «отец алфавитов». Он еще в двадцатых годах был готов перевести кириллицу на латиницу. Слависты, русские лингвисты

и востоковеды его знают.

Деда Коля был огромный человек под метр девяносто ростом, с калошами сорок шестого размера (две мои ноги влезали туда). Он был великий молчальник. Его бывшая жена иногда, чтобы ему внушить свою очередную вредную мысль, стучала костью среднего пальца деду в лопатку: «Коля, к тебе можно?»

Его любимое занятие стало разглядывать старые географические атласы Европы. Это уже происходило после, когда его отовсюду уволили, а он был заместитель директора Института востоковедения. Он сидел без копейки денег, дни свои проводил в кресле в прихожей и дымил «Беломором». Ученики и сподвижники его оставили. Он писал крупным, идеально каллиграфическим почерком какие-то тексты на рулонах серой бумаги или листал свои любимые атласы на иностранных языках — там были обозначены даже деревни, и он, видимо, мысленно ходил по старым дорогам.

Деда уволили, потому что он не сразу одобрил статью Сталина «О марксизме в языкознании». Об этом я уже сказала.

Потеряв работу, он перестал спать и ночами, лежа на своей панцирной кровати, с силой бил себя по колену и ругался матом, крича: «Берияшка! Виноградка! Чикобашка!»

В.В.Виноградов и А.С.Чикобава были его научными противниками, и это они, судя по всему, сыграли роль в его увольнении. А по поводу Берии скажу, что позже, когда того арестовали, соседи признали в моем дедушке провидца и стали его суеверно уважать.

В те годы изгнания из института он за ночь выкуривал две пачки «Беломора», шепча и изредка выкрикивая свои бессильные проклятия. Дым в нашей комнатушке стоял стеной. Я научилась спать, положив локоть на ухо.

Дед утратил все.

Он уже был выдвинут на звание члена-корреспондента Академии наук. Он жил как нормальный профессор, кормил свою бывшую жену и младшую, больную базедовой болезнью дочь и содержал еще одну семейку, рыжую толстую тетю Фаню с дочерью в нашем дворе. Он ходил к ним обедать по воскресеньям и спал там после обеда. Я тоже за компанию увязывалась с ним обедать (там было первое, второе и компот!) и потом укрывала его одеяльцем на диване. Однажды я съела, в первый раз увидев такое сокровище, целую банку вишневого компота. Любезная Фаина не сказала ни словечка, я ела и ела. Я никогда не знала вкуса таких вещей и глотала прохладные сладкие ягоды ложками и не жуя, прямо вместе с косточками. Той же ночью с высокой

температурой и с диагнозом «острый аппендицит» меня сволокли в детскую больницу, уложили на операционный стол, стали заговаривать мне зубы, тем временем привязали руки-ноги к столу и надвинули на нос и рот колпак, откуда вместо сладкого воздуха полез ядовитый, раздирающий легкие газ эфир. Как казнимый человек, я начала рваться и мычать, просила вздохнуть разок. Дали. Потом опять безжалостно насунули эту маску с эфиром, и на этот раз казнь была доведена до конца. Меня удушили. Я опять задохнулась, билась, стонала, вопила, плакала, но была уже крепко привязана и должна была смириться, обессилеть, безвольно размякнуть и умереть, и довольно быстро очутилась летя в большом туннеле, через который косо и часто сек свет как дождь, ядовитый и жгучий, резало нос и гортань от запаха этих острых, бьющих насквозь лучей, я летела сквозь косые яркие струны разъедающего света, в ушах стоял противный свист или звон, как теперешняя частотка, а в конце туннеля было ослепительно светло, и я туда неуклонно приближалась, а в меня неподвижно били, звеня, отравленные, тончайшие, заостренные, пронзающие насквозь длинные иглы. То есть полная картина клинической смерти, как ее описывают…

Кроме книг, дед имел в этой комнатке полуторную кровать с панцирной сеткой и никелированными шарами на спинках, огромный письменный стол красного дерева, кресло, шкаф для рукописей с выдвигающимися папками, каждая с тесемками, и большой квадратный обеденный стол.

Попытка уместиться

Под этим столом и спала с сорок третьего года, поступив в ГИТИС, моя мама. Стол имел огромный недостаток: в пятнадцати сантиметрах над полом там проходила по периметру толстая деревянная планка, и спать можно было либо ногами поверх планки, что было ужасно неудобно и больно, либо с трудом засунув ноги под нее. Поэтому мама соорудила для меня в уголке за дверью, в общем коридоре, ложе на сундуке. Я с интересом спала там, совершенно одна (такое со мной случалось редко), и слушала журчание разных счетчиков (у каждой комнаты свой). Но это продолжалось только двое суток. Соседи под водительством маминой мачехи забрали дедушкин сундук из коридора и на его место поставили свой огромный шкаф. Я пошла спать на пол под стол, под бочок к маме, и была счастлива. Это у нас был свой домик. Дети обожают жить под столом. Сверху, на столешнице, у мамы стояли кастрюльки, сковорода, крупы, книги, миска для винегрета, тарелки: наше все. По бокам матраса лежали вещи.

Но мамина мачеха не оставила нас в покое. Ей пришла в голову новая идея, как обустроить нам жизнь. Вскоре пришли грузчики и стали вытаскивать стол из комнаты (он срочно понадобился мачехе для дачи). Мама плакала и ловила сыплющиеся вещи. Я вцепилась в ножку стола, как боевой ребенок, и долго ее не отпускала. Рушилась наша вселенная. Мамина мачеха резко отдавала команды, стоя в дверях. Довольные соседи невинно ходили мимо по коридору. Наконец стол унесли. Мы остались в пустоте. Все наше добро лежало на полу как после бомбежки.

Мама, стойкий оловянный солдатик, не согнулась под этим ударом судьбы. Отплакав и вытерев слезы себе и мне, она вдруг остановившимися глазами окинула новый простор, стала что-то мерить веревочкой, писать на бумажке, и в результате вскоре купила маленький письменный столик и кровать! И все это поместилось! Правда, кровать была с хитростью: днем она укорачивалась (промышленность знала что выпускать для тесных помещений), а на ночь ее опущенный участок поднимался. То есть днем я могла сидеть за столом на краю нашей кровати, есть и готовить уроки, а ночью мы как люди ложились спать. Правда, было тесновато, восемьдесят сантиметров на двоих в ширину, я была уже не маленькая, к тому же беспокойная. На ночь, от счастья что я наконец легла, мне обязательно надо было покрутиться туда-сюда, покататься на кровати, поколошматиться головой о подушку, размахивая руками и испуская радостные

вопли. Это называлось «бешение». Прекрати бешение, говорила мама. Ночью, видимо, я тоже вертелась, мама жаловалась на мои острые локти. Мы проспали с ней на одной кровати еще лет семь, пока я окончательно не выросла. Тогда мама приобрела мне раскладушку, и она как-то тоже уместилась! Радости моей не было предела, у меня отдельная кровать!

Из подвигов маминой мачехи упомяну только один. Как-то я заболела и лежала на дедушкиной кровати в жару. Никого не было в квартире, только эта мачеха. В один прекрасный миг мне почудилось, что потолок и стены съезжаются и лезут на меня. Я выскочила из страшной комнаты, в жару и в поту, и помчалась по коридору искать кого-нибудь, и наткнулась на мамину мачеху. Я ей пожаловалась на потолок и стены. Она взяла меня костлявой рукой за плечо, привела в комнату, заботливо заставила лечь, вышла и повернула ключ с той стороны! Заперла! Я не помню, что делала, билась об дверь, наверно. Плакала, орала? И сколько часов это продолжалось и кто меня открыл?

По ужасу это было сравнимо только с впечатлением от детского спектакля в Куйбышевском театре. Я была, видимо, совсем маленькая. Там фигурировал Кощей Бессмертный. Он до поры до времени содержался позади сцены за какой-то дверью, потом дверца эта открылась — и в зеленом, жутком свете он явился целиком, старик-скелет, обросший лохмотьями мха, бренчащий цепями. Он поднимался из подземелья, рос… Я закричала отчаянно, на весь театр. Он приходил ко мне во сне несколько раз. Однажды (сон) я шла по тротуару пустынной улицы, небо как на рассвете, дома были желтые, невысокие, и в окошечке над дверью одного из домов я увидела знакомый зловещий зеленоватый огонек. Дверь должна была вот-вот открыться. Я догнала какого-то прохожего и находчиво сказала ему: «Дяденька, давайте прекратим этот страшный сон». И проснулась.

(Когда я увидела фильм Бунюэля «Скромное очарование буржуазии», там был точно такой же эпизод, сон солдата — как он идет но пустынной улице с низкими домами, а это мертвый город, и зияет дверь подъезда, а там с потолка сыплется земля. Позже я написала сказку о городе мертвых, «Черное пальто», там девушка бежала по улице, и она одна была там живая.)

Детский дом

Меня куда-то надо было девать, отдавать учиться по крайней мере.

И вот настал момент, и мама, нажарив мне на дорогу белых гренков, отправила свою дочку с какой-то попутчицей-теткой в Башкирию, в детский дом для ослабленных.

Была осень. Мы ехали несколько суток, по дороге я всех настойчиво угощала размякшими мамиными гренками. Потом пришлось добираться от вокзала за город пешком. Помню золотой лес, по которому мы шли к детскому дому, парк, запах забродившего палого листа, дыма и, с берега, дух свежести и речной тины. Детский дом, двухэтажный дачный дворец, стоял на высоком берегу речки Уфимки под Уфой.

(Тогда под детдома и дома пионеров отводились действительно дворцы. Правда, под психбольницы, колонии и тюрьмы шли монастыри.)

Там меня посадили сразу во второй класс, выяснив, что я умею читать и писать. Мне выдали тетрадку. Я в первый раз в жизни зажала в пальцах ручку, обмакнула ее в чернила и торжественно стала выводить буквы.

Подошла учительница и сказала:

— Ты почему начала писать с середины страницы? Надо писать с начала.

Я тогда беззаботно вырвала лист и на следующем вывела дату и слова «Классная работа» снова ровно в центре страницы. Как заголовок на титульном листе книги. А надо было на первой строке…

Учительница подошла, посмотрела, велела написать снова. Я опять начала с середины. Терпение у нее лопнуло — и меня отвели в первый класс…

Там я живо стала отличницей. Что не мешало мне вести себя точно так же, как летом в лагере. И, поскольку я уже была пионеркой, меня опять выгнали из пионеров!

Я помню, как заболела ангиной, и меня положили в лазарет. Он назывался еще «изолятор». Я лежала в бреду на чистой белой коечке, по-моему, запертая, совершенно одна. Было очень страшно. И я обрадовалась, когда увидела маленькую мышь под соседней кроватью. Я тут же отдала ей припасенный под подушкой хлеб. Она взяла его передними лапками, села на хвост как белка и стала есть!

Там, в детском доме, мы готовились к Новому году. Наши воспитательницы все поголовно были ленинградками, которых

вывезли с детьми в блокаду. И они с нами устроили настоящий новогодний концерт — это был театр! Меня нарядили цыганкой, я пела, сидя на полу, в хоре «ляй-ляй-ляй» в цветастых юбках и в платке, а на моей тощей груди висело ожерелье из стеклянных елочных бус! А потом я плясала, размахивая юбками!

Уж что-что, а жизнь цыганского табора мы видели ежегодно, как только спадала вода в Волге. Они ставили шатры на нашем берегу, варили похлебку, это нас и приманивало. Трещали костры, сидел на цепи медведь с кольцом в носу, бегали как угорелые чумазые детишки в комбинезонах с разрезом (детеныш присел, прореха разошлась, сделал свои делишки, вскочил и побежал). Не помню, как они плясали, но я плясала в детском доме точно так же.

После этого за мной стал преданно ходить мой первый в жизни кавалер, воспитанный сын учительницы, беленький второклассник. Я его держала в строгости, как полагается барышне из хорошей семьи, и мы даже с ним ни разу не подрались.

К сожалению, мне не в чем было ходить гулять, я замерзала. И я написала маме письмо с просьбой прислать мне пальто и валенки. И надо же такому чуду произойти, что мама мне прислала огромную посылку с бархатным теплым пальто и валенками! (Наследство от моей троюродной сестры Маришки Вегер, американское пальто на искусственном меху с большой чернильной кляксой справа). Я надела эту замечательную теплую и удобную (в ней можно было валяться на снегу) одежду, а потом в экстазе стала бегать и кружиться по льду пруда. Валенки меня сводили с ума! Как было хорошо и приятно ногам! И тут же я угодила ногой в незаметную маленькую полынью. Нога в валенке провалилась безнадежно. Я вынужденно сидела на льду, протянув свободный валенок, и кричала почему-то «ура, товарищи!». Поэтому меня стали тащить не сразу. Не заметили, что я стала одноногая. А когда вытащили, то валенок ушел на дно…

К весне детей поубавилось, их возвращали на место, в мае вывезли последних. Детский дом для ослабленных уходил на каникулы, может быть, его и расформировали вообще. В послевоенные годы был неурожай и голод. Разъехались воспитательницы. Увезли моего друга. Увезли Маню, четырнадцатилетнюю девочку, слабенькую настолько, что она ручку с пером еле удерживала в пальцах, поэтому мы сидели с ней в одном первом классе. Она была высокая, худенькая, плохо ходила. У нее были огромные черные глаза.

Опустел наш большой дом над речкой Уфимкой, на крутом берегу, его закрыли. Осталась только сторожиха с каким-то

мужиком. Я жила у них в домике. Они говорили по-башкирски. (От того времени у меня в памяти застрял счет по-башкирски: бир ике иш дурт биш олте жиге сигес цугес ун. Ун бир, ун ике и т. д. Простите меня, господа башкиры, если что не так. Раньше я знала ваш язык.)

Сторожиха и ее мужик собирали в лесах подснежники на продажу. Я ходила с ними, помогала. Старалась как-то принимать участие в этой непонятной теперь жизни.

Мы собирали цветы на огромных росистых полянах, окруженных высокими деревьями, в утренней тени, когда солнце сидело еще низко. Мы собирали цветы на рассвете, целыми корзинами. Там была какая-то густо-синяя даже трава, в которой сидели крупные белые звездочки подснежников. Надо было рвать нераскрывшиеся бутоны.

Я уже понимала, о чем башкиры говорят (все-таки восемь месяцев среди местного населения! Дети обожают узнавать чужие языки и легко их осваивают, чтобы все понимать, разведывать, узнавать. Они не могут без информации. Дети прирожденные разведчики).

Башкирская пара говорила о том, что меня, наверно, переведут в другой детский дом, но куда, еще не известно. Не пришло распоряжение. Потому что моя мать меня не забирает. Бросила.

Я этому не поверила. Потом я узнала, что просто мы все такие, мы вечно опаздываем всюду. Даже когда семья Вегеров, моего прадеда Ильи Сергеевича, должна была креститься в лютеранской церкви (вслед за тем молодые Илья Сергеевич и Ася, у которых уже был выводок внебрачных детей, в том числе и моя маленькая бабушка Валя, собирались обвенчаться, узаконить потомков и отдать их в школу) — так вот, и на это важнейшее событие Вегеры опоздали катастрофически. Однако дисциплинированный немец-пастор их дождался, только вежливо спросил: «Варум зо шпет», почему так поздно.

Днем я одна гуляла в лесах. Там была некая заманчивая вещь — пещера Пугачева. Вход в нее, узкая кривая щель, виднелась высоко в крутом обрыве. Говорили, что там огромные пространства. Я долго примеривалась туда залезть и втиснуться, но что-то меня не пустило. Какой-то инстинкт не ходить туда где тесно. Зато в лесу я набрела на домик, небольшую вроде бы дачу. В окне сидела женщина и курила. Я попросила папиросу. Она дала мне папиросу и огонька. Я вполне профессионально изобразила курильщицу, не кашляла. Женщина с интересом на меня взирала. Откуда появилась в лесу эта красивая дама?

Я думаю, если бы я осталась в этих лесах, она бы меня точно

удочерила. Я ей наплела, что у меня никого на свете, я сиротка.

Потом все-таки какая-то тетка за мной приехала, забрала меня, уже имевшую образование в объеме первого класса (это в десять-то лет!), но при этом круглую отличницу. И меня повезли с Урала домой. По дороге попутчицы менялись. Какое-то время я прожила у чужой тети, спала на полу. Вот она, по-моему, жалела меня, так как выразила желание тоже удочерить такую выдающуюся сироту, которая плетет бог знает что. Действительно, что я рассказывала о себе незнакомым людям, это не влезало ни в какие ворота (видимо).

Но я не дала себя удочерять. Я ее сразу невзлюбила как человека, покушающегося на собственность моей мамы. Я своей маме принадлежала полностью. Я ее боготворила. Ее чудесный образ меня, поэтически говоря, не покидал ни на минуту. Согревал меня, сироту детдомовскую (при наличии живых папы, бабушки, дедушки, тети и целого коллектива двоюродных бабушек, дядь и теть). У меня была одна цель жизни — жить вместе с мамой!

Меня привезли в Москву, и тут же я поехала на три месяца в пионерский лагерь. Это был опять труднейший процесс перевоспитания. В детском доме меня уже уважали как отличницу и артистку. А тут опять исключили — сначала сняли с должности председателя совета отряда, куда выбрали сразу же за невероятную активность и образцовое поведение в первые дни (я думаю), а затем и выкинули из пионеров на линейке. Ясно, за что, за драки, недисциплинированность и т. д. Своих носков, сандалий, носовых платков, расчесок и ленточек я вообще не видела в глаза с первых дней в лагере. Вскоре меня перевели в наказание в отряд помладше. Там я в первый же момент в восторге приняла участие в общей драке, мне сильно накостыляли, и я продолжала существование уже в том виде, к которому привыкла.

Единственное утешение было в искусстве. Я записалась в хор, в театральный кружок, в рисовальный кружок, в кружок танца. Я надеялась своими талантами пробиться к признанию в этом лагерном сообществе, в коллективе детей войны, воспитанных в условиях тотального голода и школьной дисциплины.

Но я не припомню, чтобы дети уважали кого бы то ни было за пение или рисование. К актерам и певцам они относились презрительно, как в древности к скоморохам. Дети ценили то, что вообще ценится в людях всякого времени — силу, презрение, молчаливость, собранность, волю к чему бы то ни было, то есть

характер. Самоуважение также котировалось, но выше всего стояла простая и грубая физическая сила.

Моя репутация держалась за счет одного — на ночь, когда уже гасили свет, я рассказывала в спальне страшные случаи!

Я помню, как в том своем любимом детском доме в девять лет дорассказывалась до того, что все уже спали, а я не могла заснуть и вдруг впала в страшную панику, в первый раз в жизни поняла, что когда-нибудь умру, и начала кататься по кровати и кричать благим матом: «Я не хочу умирать, я не хочу умирать! Не хочу умираа-ать!!! Хочу жи-ить! Ааа-а!» Все проснулись, включили свет, сбежались взрослые, держали меня за руки, я рвалась куда-то и кричала страшно.

Один раз я уже видела смерть — с балкона в Куйбышеве. Прямо под ним стоял грузовик, и в кузове, почему-то на голубых подушках, лежала мертвая девочка, одетая как кукла. Я ревела потом всю ночь.

В следующий раз я безутешно, почему-то не очень громко, скрываясь, плакала осенью 1949 года по возвращении из лагеря. Мама только что мне сказала, что Дедя умер год назад.

Дедя погиб в 1948 году, когда исполнилось десять лет с момента смертного приговора над его детьми Леночкой и Женей (те самые десять лет без права переписки). Он несколько раз сходил на Лубянку, седой, со снежно-белой бородой (малыши всегда принимали его за Деда Мороза и окружали, смеясь). Он писал заявления, где упирал на то, что десять лет прошло, где мои дети. Перед каждым посещением Лубянки прощался. Написал ряд писем Сталину, где порицал начальника НКВД Аввакумова за «барство». Потом он пошел с бидончиком на улицу Горького за молоком, стоял в толпе у светофора на углу напротив «Националя», пока шли машины, и его сильно толкнули прямо под колеса хлебного фургона (водитель, шоферша, на суде говорила, что этот дедушка из толпы просто сам бросился под колеса согнутый). В бумагах написали, что он был нетрезвый. Придумали энкавэдэшники убогие. Дедя не пил никогда.

Я провожала Дедю как могла, тихо скуля, почти без слез. Как исполняя какой-то важный обряд. Стояла в темном коридоре и плакала для него. Я тебя больше никогда не увижу. Как же так, я тебя больше не увижу. Дедя мой Дедя.

Мне казалось, что он слышит.

Незрелые ягоды крыжовника

Мама привезла девочку в санаторий для ослабленных детей и оставила там.

Это была осень, и дом, двухэтажный, бревенчатый, с галереями вдоль спален на втором этаже, стоял на берегу большого пруда, как многие барские усадьбы.

Вокруг простирался осенний парк с аллеями, полянами и домами, и запах палой листвы пьянил после городской гари — деревья стояли именно в золотом и медном уборе под густо-синими небесами.

В спальне девочек оказался рояль, неожиданное сокровище, и те счастливицы, которые умели играть, играли, а те несчастные, которые не умели, старались научиться.

Девочка эта была я, двенадцатилетнее существо, и я буквально заставляла умеющую играть Бетти учить меня. В конце концов удалось вызубрить песенку «Едут леди на велосипеде», левая пятерня болтается между двумя клавишами, отстоящими друг от друга как раз на расстоянии растопыренных пальцев — большого и мизинца (между до и соль), а правая под это ритмичное бултыханье (до-соль, до-соль) выделывает мелодию, блеск.

Рояль было первое, на что мы кинулись в дортуаре.

Девочка-то попала именно в барскую усадьбу с колоннами, с высокими потолками, дортуар был устроен в зале.

Кажется, после революции это имение было передано детям рабочих, туберкулезным детям рабочих, но к тому моменту, когда девочка доросла до пятого класса, уже все давно смешалось, и все дети были детьми рабочих, одинаково жили в коммуналках, ездили в битком набитом городском транспорте и ели в столовых, где не хватало мест, так что полагалось выстаивать очередь к каждому стулу, на котором сидел едок. Очереди шли перекрестком от любого стола, четыре луча от четырех стульев, и сплетались между собой, голодные очереди, следящие за каждой ложкой, отправляемой в пасть сидящих как баре и не торопящихся никуда едоков, дорвавшихся наконец до сиденья. Все были рабочие, все стояли в очередях за хлебом, картошкой, за ботинками, штанами и очень редко за чем-то роскошным типа пальто.

И в квартире надо было ждать под дверью то ли уборной, то ли ванной, и на остановке надо было ждать, причем в толпе, и не обязательно передние первыми врывались в пришедший транспорт, иногда задние оказывались сильней и шли по ногам,

лишая слабых, пришедших раньше, того малого преимущества, которое давала справедливая очередь.

Очередь — воплощенная справедливость, и очередь дошла и до девочки, которую мама записала в туберкулезном диспансере на путевку в лесную школу (так назывался санаторий).

И вот, покинув задымленные московские улицы, свою районную школу, сверкающую чистотой, и постоянное ложе сна, находившееся на матрасе на полу под столом, девочка в сопровождении мамы поехала на электричке с чемоданом в лесную школу, где спальня с роялем называлась «дортуар», где в столовой была целая колоннада по бокам и хоры наверху (бальный зал).

Я не берусь описывать, какова была та девочка двенадцати лет чисто внешне. Как известно, внешность многое показывает, но не все, внешность может показать, например, как человек ест, ходит, говорит и что он говорит, как отвечает учителю или как бегает в парке, но нельзя никак и никому дать знать, как протекает жизнь внутренняя, никто и догадаться не в силах и судит о человеке по пустым внешним проявлениям. Например, и у преступника идет постоянный внутренний разговор с самим собой, оправдательный разговор, и если бы кто слышал этот разговор, если бы! И у заурядной, обычной девочки двенадцати лет этот разговор шел беспрерывно, все время надо было решать, что делать, буквально каждую минуту — как и что кому ответить, где встать, куда идти, как реагировать. Все с одной очень важной целью, чтобы спастись, чтобы не били, не дразнили, не вытесняли.

Сил у ребенка двенадцати лет не хватает, чтобы справиться со своей буйной натурой, чтобы следить за собой и быть образцом поведения, аккуратности и молчаливости. Сил не хватает, и ребенок буйствует, бегает, кричит, чулки рвутся, ботинки мокрые от этой беготни по уже сырому осеннему парку, рот не закрывается, крик исходит из грудной клетки, потому что идет игра в колдунчики или в казаки-разбойники. И в школе тоже на переменках беготня по коридорам, волосы трепаные, из носу течет, то и дело драки, красота.

Ребенок, оставшийся без матери, должен сам следить за собой — не терять хотя бы вещи, начнем с этого, чтобы было в чем пойти через парк в школу, а не то что один чулок на месте, а другой ищи-свищи по всему дортуару. Исчезают первыми носовые платочки, варежка (правая), шарф, долго ищется шапка, а про карандаши, линейку и ластик нечего и говорить, их нет. Нет вскоре ни у кого в классе.

У девочки даже возникает план написать сказку о той стране

потерянных вещей, куда исчезают все расчески (да, еще и расческа потерялась), ленточки из кос, заколки, ручка с пером, все карандаши и т. д. Из этой страны нет возврата, такая будет сказка.

И вот девочка, порастерявшая все свои мелочи, не может жить без карандаша, ластика и линейки, без расчески, лент и заколок, и пишет маме письмо, дорогая мамочка, как ты поживаешь, я живу хорошо, привези мне — и целый список.

Так ребенок, как Робинзон Крузо, должен обеспечивать себя необходимым, в хозяйстве все время прорехи: калоша пропала. Калоша — серьезная вещь, без нее не пройдешь в учебный корпус по сырой аллее среди луж по глине, не прорвешься и в столовую в грязных ботинках, не пустят. Воспитательница Галина Ивановна пока дает большую калошу, и, хлопая и волоча подошву, девочка ходит позади всего класса как отщепенец, грешная душа, в разных калошах. Пока мама не привезет новую пару.

Я была средняя по красоте девочка, а тут еще эта здоровенная хлопающая кастрюля, в которой приходилось скользить по глине две недели, туда-сюда, в школьный, спальный и столовый корпус.

А мне очень важно было выглядеть по-человечески, девочка двенадцати лет, шутка ли! В старшем, шестом, классе, был маленький Толик, ровесник по возрасту и ниже на полголовы, необыкновенной красоты. Жгучие черные глаза, маленький нос, веснушки на переносице, ресницы лохматые, вообще очи как звезды и все время улыбается — лукаво, как соблазнитель.

Девочка-то была для него высока, но очарование этого юного Гермеса, бога воров, распределялось строго равномерно на всех. Он излучал свою энергию как маленький реактор, бессмысленно, без адреса, на сто метров вокруг. Больше всего Толик был похож на бесенка с золотым лицом, сияние сопровождало его повсюду, а также его вечно окружали мальчики из класса, он всегда был в центре, опасный как острая стрела, обжигающий все глаза. Достаточно сказать, что когда он появлялся в столовой, то та часть зала, где стоял его стол, озарялась каким-то светом, девочке становилось необыкновенно весело, Толик пришел, его глаза укрупнялись как под увеличительным стеклом, они внимательно обшаривали свое царство, где Толик был королевичем, все головы поворачивались к нему как подсолнухи к солнцу, или это только казалось высокой девочке двенадцати лет, девочке об одной калоше, которая волокла вторую, чужую калошу по аллее как кандальник, регулярно туда и обратно, на завтрак, на уроки, на обед, в дортуар, на полдник и так далее. Улитка, скользящая на одной подошве, вот кто такая была эта девочка, которая получила колючку в самое сердце, в сердце, вокруг которого росла

припухлость размером с крупную ягоду крыжовника.

У всех, у всего детского санатория, у мальчиков и девочек старших, пятых-шестых, классов, росли эти припухлости, и однажды в вестибюле главного дома, где располагалась столовая, в высоких дверях, когда я снимала вторую, нормальную, калошу, мне явился светлый луч Толик, он вошел, и на него тут же налетел какой-то дружок и толкнул его нечаянно в грудь руками.

— У-ю-юй! — завопил Толик дурашливо и томно, — уя! Больно же грудь, дурак!

Он держал ладошку над левым соском. На лице его сияла бесовская улыбка.

«У него тоже, у него тоже болит грудь! — крикнула про себя девочка. — Надо же! Не у девочек одних! Не у меня одной!»

Он явно обратил на меня внимание, что выразилось в том, что луч его внимания уперся в мои глаза. Я, видимо, смотрела на Толика, и мысль явно читалась в этих моих глазах, какая-то важная мысль, и Купидон хотел прочесть эту мысль и уже истолковал ее в свою пользу. Но налетевшие мальчишки мигом повлекли своего кумира в столовую. Так впервые наши глаза встретились.

Мысль же моя попросту читалась так: «Неужели же и у НИХ тоже набухла грудь и болит?»

То, что Толик страдает, привело меня в экстаз. Оказывается, он прост как я! Такой же организм! Проходит ту же самую стадию! Мы вроде головастиков!

Девочка тронулась в столовую как завороженная, причем когда вся школа уже обедала (приходилось волочься с этой калошей далеко позади всех).

Коллектив не любит, когда кто-то ведет себя изолированно, не так, опаздывает, не так одет. Коллектив — а девочка воспитывалась в коллективах с детского садика — карает сурово. Он издевается, молотит по голове, щипает, подставляет подножку, он отнимает что только можно у слабых, дразнит. Бьют прямо в нос кулаком, вызывая кровянку. Дико смеются при виде большой калоши. Крадут все (страна потерянных вещей!)

С коллективом, стоглазой гидрой, надо быть осторожной, имеется много приемов, как избежать ловушек. Надо не доверять никому своих мыслей. Если кто узнает твои мысли, конец, сразу расскажет другим. Все будут смеяться за спиной.

Нельзя было даже есть тайком свою посылочку из дома от мамы, каменистые пряники. Жадина-говядина! (Другие не жадины.)

Навсегда отбили чувство собственности. Все отдай!

Летом, в пионерском лагере, бывало даже хуже, никто из

взрослых не следил за драками. Накормить бы всех, уложить бы и поднять бы, вот закон многодетности, о деталях не пекутся.

В лесной же школе классы были небольшие, детей не много. Парк, колонны, рояли и обособленность туберкулеза делали воспитателей внимательными к детям. Воспитатели тоже были из числа безопасных больных. Многие ходили в корсетах из-за костного туберкулеза. Многие и были поэтому учителями здесь, вдали от людей, на свежем воздухе. Странные, умные, необычные педагоги, ушедшие от мира в этот парк, во дворцы с колоннами, в область хрустального неба, тьмы по вечерам, редких огоньков сквозь стволы высоченных деревьев.

Из-за калоши произошла беда, девочка стала изгоем, последней в классе. Она шаркала позади всех девочек, специально отставала, над ней откровенно смеялись.

В конце второй недели, в октябрьскую ночь, когда отряд после ужина тянулся по парку в дортуары, девочка совсем отстала от девочек, шмыгала калошей далеко сзади, а там уже шли мальчики и без воспитательницы.

Девочка оказалась среди мальчиков.

Как волки инстинктивно отрезают дорогу живому существу, стягиваются в узел вокруг жертвы, так и они вдруг остановились перед девочкой в густых зарослях на тропинке, преградили путь, тени, неразличимые в темноте.

Девочка оглянулась и увидела, что и задние, как бы движимые некоей догадкой, подтянулись поближе и заторомозили, пододвигаясь медленно.

Как будто они все были охвачены одним чувством, групповым соображением охотников, которое делает всех единым организмом, сбивает в кучу над одним трупом.

Это краткая мгновенная догадка, азартная, недалекая, не глядящая вперед, не раздумывающая о будущем. Сейчас есть цель, она движется, ее надо остановить, схватить. Все догадались об одном.

Что было в их двенадцатилетних головах, в их пустых еще сердцах, в их незрелых организмах, в их неспелых ягодах крыжовника вокруг сосков, — одно: чувство коллективного гона, схватить!

Девочка стояла во тьме деревьев, в кольце, в центре небольшой опушки. Вдали, очень далеко, на краю поля были огни спального корпуса, там еще мелькали фигурки уходящих девочек. Благополучные, в полной безопасности.

Я закричала им. Я издала дикий вопль. Я кричала как труба, как сирена. Это был визг ужаса, непрерывный, хотя слезы заливали глотку.

Мальчики, те, что были впереди, приближались, посмеиваясь. Были видны их глупо улыбающиеся лица. Они топырили руки, готовясь схватить.

Я стояла на месте и посылала свой крик девочкам.

Я видела, что далекие фигурки девочек стали оглядываться и побежали прочь.

Мальчики сходились. Потом — всю жизнь — я узнавала эту маску бессмысленной, каверзной, поганой улыбки, невольной ухмылки исподтишка, для себя, когда никто не видит.

Их пальцы шевелились. Возможно, в этот момент их ягоды крыжовника надулись.

Я визжала еще громче. Я готовилась дорого продать свою жизнь.

Что они могли сделать со мной?

Деловито, как гурьба хирургов, руководствуясь чувством необходимости или единым инстинктом при виде жертвы, они, в конечном итоге, должны были ее разорвать на части буквально руками и закопать остатки, так как потом надо было скрыть результат охоты. Перед тем проделавши все, что можно проделать с попавшим в собственность живым человеком. Что называется словом «глумление».

Пока же их желанием было заткнуть мне рот чем угодно.

Но: что-то их все же остановило на расстоянии двух метров. Кольцо больше не сужалось. Они ждали. Я рванулась и, дико визжа, помчалась сквозь их круг на волю, в поле.

Калошу я потеряла, неслась как вихрь и догнала последнюю из девочек еще у дверей корпуса.

Она шла, тоже улыбаясь той же поганой улыбкой, когда ей пришлось обернуться на мой топот. Я ворвалась в дом, зареванная, в соплях, но никто ничего не спросил, почему я так орала. Им было это откуда-то понятно, они тоже произошли от темных времен пещер, каждая была потомком такой ловли и охоты. Дети понимают жизнь и легко принимают ее простые правила. Они готовы именно к пещерному существованию. Они портятся страшно быстро, возвращаясь к тому, древнему способу жизни, с сидением кучей перед очагом, с коллективной едой всем поровну, вожакам больше, последним и слабым меньше или ничего. С общими самками. Без постели, без посуды, есть руками, спать на чем стоишь, курить вместе, пить тоже, выть вместе, не брезговать другими, их слюной, выделениями и кровью, носить одинаковую одежду.

В тот вечер все девочки молчали, никто ничего мне не говорил. Как будто произошла какая-то важная, нужная всем вещь, воцарилась справедливость, все утолены.

Они же не знали еще, что я вырвалась.

Что было бы, если бы круг сомкнулся над девочкой, если бы она осталась лежать там, под деревьями? Сбились бы в кучу. Глядели бы жадно. Были бы готовы сожрать глазами труп.

Что было бы, если бы она вернулась живой, но истоптанной, растерзанной общей добычей? Для таких случаев существует слово «опущенный». Все знают из древних времен, что опущенного можно использовать как угодно, можно бить вволю, можно хоть есть ложкой, издеваться, и каждый вокруг может заставить его делать что хочешь.

Это называлось в те времена «не давать проходу».

В городе, во дворе были такие дети, которым не давали проходу, как бы имея на это право, все окрестные ребята.

Им вечно загораживали путь, прищемляли, прижимали к стене на глазах у всех, преследовали по двое, по трое. При виде их смеялись и охотно бросались навстречу.

У преследуемых был вид равнодушной, терпеливой, странно улыбающейся твари.

Спасти их могли только взрослые, но где их взять на все время, на всех дорогах?

На следующий день все было как раньше, не хуже и не лучше. Калошу я нашла по дороге в столовую, вставила в нее грязный ботинок и зашмыгала с утроенной скоростью, стараясь не отстать. Мальчики вели себя как обычно, не упуская возможности дать по шее, дернуть за косу, подставить ножку.

Девочки исподволь следили и ничего не обнаружили.

Если бы мальчишки смеялись, гоготали, если бы они встретили меня особенно, тогда бы все было понятно.

Но по каким-то признакам девочки поняли, что я вырвалась.

Все вернулось на свои места. Только один человек во всем санатории почуял все случившееся со мной, ему как-то косвенно донесли, видимо. Это был самый развитой среди детей, самый вооруженный для охоты — Толик.

Он стал загораживать мне дорогу, причем Толик никогда не ходил один, с ним постоянно было двое-трое дружков.

Он загораживал мне дорогу, шаря своими лучистыми, черными, роскошными глазами по моему лицу, по туловищу, по ногам. Он глуповато улыбался, а его телохранители, стоявшие всегда на расстоянии, охраняли территорию мрачно. Им было не до улыбок. Не они охотились.

Так прожектора шарят в ночном небе, выискивая нарушение.

Я всегда уходила невредимой, научилась пользоваться взрослыми, любой лазейкой.

Сердце мое страшно билось, когда я обнаруживала впереди

засаду.

Это не было то, что называют «он за ней бегает».

Это было что-то другое.

Девочки ничего не могли понять и пожимали плечами.

Одна я знала, что Толик преследует меня, намекая на некий мой позор.

Хотя в классе девочку постепенно перестали трогать. Она как будто отстояла себя могучей глоткой и несгибаемостью. У девочки, как оказалось, был талант страшно кричать, у нее был сильный, необычный голос, от низкого воя до высокого визга. И этот талант проявился в нужный момент.

Это был, видимо, талант кошки, которая, прежде чем вступить в драку, меряется силой вопля.

Кроме того, я была сильно взбудоражена и получала любой ценой одни пятерки.

Тут ведь был не пионерский лагерь, тут была лесная школа, и ребенка мерили не только способностью быстро встать и вовремя прийти.

Пятерку нельзя было вышибить ударом, над пятеркой нелегко было издеваться, над сочинением, которое было прочитано учительницей в качестве образца, не очень-то посмеешься за спиной.

Двойка же, особенно по математике, влечет к плевку на пол, к буйству, прогулкам вне школы, страх перед контрольной ведет к восстанию, невозможность понять дробь — к тюрьме.

В условиях своего московского детства, в этих очередях к стулу в диетической столовой (мама на работе вечно и купила талоны на обеды), в коммуналке на общей кухне девочка не нуждалась в пятерках, будучи защищена любящей матерью.

Здесь, в одиночестве, одна среди чужого объединившегося племени, девочка защитила себя, написав сочинение об осени. Горя как в лихорадке, она нагромоздила описание на описание, хрусталь на багрец, золото на ниспадающие каскады, бирюзу на резьбу, кристаллы на кораллы, и удивленная, даже пораженная учительница по русскому, красавица в хрустящем кожей корсете, костный туберкулез, дала прочесть мое сочинение всем учителям и потом прочла его вслух в классе.

В этом классе, который чуть меня не растоптал.

Дальше больше, я написала стихи. К празднику Конституции в стенгазету. Не те настоящие стихи, над которыми смеются и которые рвутся самым беспощадным образом из ослабевшего человека, как бурное извержение болезни. Я написала стихи, неподвластные насмешке. Стихи, за которыми неминуемо следовало всеобщее уважение. Мы советский народ, мы сегодня

сильны — и стоим мы за мир во всем мире. Три куплета.

— Сама сочинила? — спросила, хрустнув корсетом и улыбаясь, красавица учительница.

Низкое зимнее солнце било в огромное окно, создавая вокруг ее темной головы, обернутой косами, светлый контур, сияние легких вьющихся волос.

Я, таким образом, твердо встала на ту дорогу, где никто не мог преградить мне путь. Мама прислала мне валенки с калошами.

Ночами я уходила в ярко освещенный туалет и, стоя у подоконника, заканчивала уроки, решала задачки и учила правила «жи-ши пиши через и».

«Жо-шо пиши через о», — смеялись мальчишки-двоечники, пусть.

Я пела своим сильным новым голосом, запевала в хоре. Меня поставили танцевать с девочками танец «молдовеняска», мы кружились, притопывали, мчались, скрестивши руки попарно.

Санаторий готовился к Новому году.

После Нового года нас отпускали восвояси, конец.

И я больше не увижу своего мучителя, моего божка Толика.

Толик, Толик, бредила я, какое-то имя как топленое молоко, сладкое, теплое.

Глаза твои как звезды.

Как звезды веснушки твои.

Голос твой как хрусталь.

Светит надо мной лицо твое, твои черные кудри, твой наглый и томный взор.

Он буквально загонял меня каждый раз в угол, нахально и отчетливо произнося какие-то дикие слова, причем смеялся. Причем намного ниже меня будучи. Но крепенький, прямой как стрела, с высоко поднятой головой.

Не пухлый младенец Амур, не женственный Аполлон — а резкий, выгнутый, напряженный туберкулезный мальчик. Точно нацеленный. Знающий свои права.

Я пряталась от него. Я всюду его встречала как наваждение. Я тосковала без него, а увидевши, получала толчок в грудь, как от удара ветра.

Все давно все видели и уже не удивлялись, застав эту странную парочку, высокую девочку, прижавшуюся к стене, и маленького мальчика, который стоял, опершись ладонями о ту же стенку точно по бокам девочки, и что-то вкрадчиво повторял.

В Толика, как мне казалось, были влюблены все.

Его маленький рост как раз придавал ему царственность, поскольку его слуги и оруженосцы все были выше его, вся свита.

Он шел посреди них как провал, как зияние. Как пустота, все расступались, и он шел один в этом пространстве.

Мои сны были полны его лицом.

Когда началась эта подготовка к празднику, девочка была как в лихорадке, репетировали то одно, то другое, и неудержимо наваливалась последняя дата, двадцать восьмое декабря.

К концу девочка нашла место где плакать — в раздевалке, прижавшись к чужим пальто.

Я знала, что больше никогда в жизни не увижу Толика.

Девочка двенадцати лет с двумя плодами крыжовника в груди. Отличница неизвестно какой наружности, но все в порядке, валенки с калошами, расческу тоже мама прислала, ленты, заколки. При этом плакала заранее о своей будущей жизни, которая вся пройдет без бога Толика.

Девочка одевалась и, надевши новые валенки с калошами, брела вон из дортуара в заснеженный парк, на ледяное шоссе в солнечный день встречать свою маму — ибо это уже был день отъезда, праздник миновал.

Девочка оглядывалась на волшебный замок, где последние часы царствовал Толик, и плакала под бледно-бирюзовым небом среди резьбы зимы, под каскадами хрусталей, которые ниспадали с деревьев, поскольку ветер дул ледяной и все замерзло, в том числе и слезы. Под чашей неба бриллианты снегов.

Уже пришел Новый год, я пела перед хором как солистка, затем танцевала дикий цыганский танец «молдовеняску» с бусами и в пестрой юбке, топала в тапочках с белыми носочками с такой же подружкой, и мы неслись, сцепившись руками, в вихре музыки посреди бального зала. Все для тебя.

Надо сказать, что Толик тоже пел под рояль, у него оказался чистый, сильный высокий голос, рродина слышит… Рродина знает… Как в облаках ее сын пролетает…

Тут ему было не до глумления, он старался. Он волновался. Он дал слабину, как каждый зависимый артист. Его приветствовали как-то странно, хлопали удивленно. Царь не может хлопотать об аплодисментах!

Потом был ужин и, самое главное, танцы. Венгерка, падекатр, падеспань (девочка Надя, чего тебе надо), падепатинер, я стояла в толпе, и Толик стоял, уже пришедший в себя, озорник, смеялся со своим вечным патрулем. Смеялся надо мной.

Объявили дамский танец.

Я тронулась с места и пошла к нему.

Это был падекатр, старинный менуэт с приседаниями.

Я его не видела.

Мы взялись за руки ледяными пальцами и деревянно прошли

весь танец, приседали, он кружил меня за поднятую руку, слегка приподнявшись на цыпочки.

Это было начало пятидесятых годов, детей учили чинным танцам Смольного института благородных девиц.

Чинный Толик замер, не смеялся, было не до шуток, дело зашло слишком далеко, все его насмешки подтвердились. Скрывать мне уже было нечего. Я плакала, текли сопли.

Толик уважал меня, мое состояние, и даже проводил до какой-то колонны, а потом вернулся к своим.

Я ушла в дортуар и плакала до прихода девочек.

В наших отношениях с Толиком наступил новый, открытый период, с которым он уже не мог знать что делать, не то что перед тем, когда он легко и просто стоял передо мной, вжавшейся в стенку, и цинично повторял: «Ну что, черт влюбленный? Ну что, черт влюбленный?»

Мама приехала поздно, мы с ней побрели под черным небом по белой дороге на станцию с чемоданом, огни дортуара сопровождали наш бедный поход. Мама всегда забирала меня последней. Все уже уехали. Как и когда увезли Толика, я не знала.

Больше я не видела его никогда.

Но я его потом услышала, его голосок.

Он начал мне звонить уже в Москве.

Меня позвала к телефону Юлиника, жившая в соседней комнате, дочь моего деда от второго брака. Студентка ВГИКа, художница.

— Тебя, — как обычно вытаращившись, сказала она. — Какой-то парень.

— Какой парень, ты что, — забормотала я, двинувшись в прихожую. — Але!

— Это Толик, Толик говорит, узнаешь? — пропел стальной голос. — Привет.

— А, привет, Ленка, — значительно сказала я, глядя на Юлинику. В прихожую вышла и моя мама. — Ленка Митяева, — сказала я маме.

Отворил свою дверь и холостяк дядя Миша Шиллинг, рентгенолог поликлиники КГБ, высунулся на скопление народа. Ничего не понял, но дверь оставил открытой.

Якобы они все ждали, когда освободится телефон.

Мой любимый дядя Миша даже отслонил свою черную, как в рентгеновском кабинете, портьеру и стоял в голубом егерском теплом белье среди портьер как принц в драпировках.

— Это Толик тебе звонит, — звенел комариный голос.

— Привет, привет, — ответила я.

Как будто бы магнит содержался в этой черной эбонитовой

трубке, всех стянуло в прихожую. Не хватало семейства Калиновских-Старковских, затем второй из жен моего деда, а также самого деда, курившего «Беломор» в кровати, и истопницы тети Кати.

— А, Ленка? Нет, Ленка. Не получится у меня. Не могу, — лепетала я. И сообщала маме, зажав трубку: — Они в кино идут.

— Новости! Поздно! — эхом откликалась мама, а дядя Миша и Юлиника чего-то ждали.

На глазах у родни и соседей я разговаривала с самой великой тайной моей жизни!

— А зачем, Ленка, — тускло спрашивала я в какой раз, ибо Толик своим хрустально-стальным голосом приглашал меня прийти к кинотеатру «Повторный».

Я готова была упасть в обморок от слабости.

— Ленка, зачем, — говорила я, мысленно заваливаясь.

Тот, кто покинул меня навеки, тот исчезнувший мир каскадов и резьбы по бронзе, мир счастья, подвигов, чудесных спасений и великой любви — тот мир не мог существовать в условиях Москвы, в коммуналке, среди соседей, в нашей комнате, заставленной книжными шкафами, в которых подло прятались клопы, а спать можно было только на полу под столом.

Хрустали и бирюза, Рродина слышит, падекатр, мой плач, ледяные пальцы — все ушло, исчезло, все осталось там, в раю, тут другое дело. Тут я пятиклассница с хроническим ринитом (сопли) и в ежедневно рвущихся коричневых чулках.

Толик, ангел, королевич, маленький принц, не мог стоять в мороз, во тьме в автомате у грязного кинотеатра «Повторный».

Вся душа моя, однако, ныла и болела, со мной говорил любимый, потерянный навсегда.

Толик постарался узнать мой номер телефона и теперь сам приглашал меня на танец, неизвестно какой.

Я не верила своему счастью, я не понимала, что это счастье, и нудно повторяла всякую чушь для внимательных слушателей: мамы, Юлиники и дяди Миши.

Они давно уже все поняли и с интересом отнеслись к моей партизанской легенде.

— Не, Ленка, не выйдет. Мама не отпустит, да, ма?

Мама кивала, потупившись.

Я не верила Толику ни на грош и правильно делала, ибо он кому-то начал сдавленно говорить «да кончай ты», а кто-то приглушенно хохотнул, грубо и нетерпеливо.

Вокруг меня сужалось кольцо глупо улыбающихся, напряженных морд.

Но я была далеко от них.

— Тут надо соседям телефон, — сказала я равнодушно (ком в горле) и положила трубку, вежливо сказав «пока, Ленка».

Толик еще несколько раз звонил, приглашал в кино и на каток, а я все бормотала «зачем это, Ленка».

— Зачем-зачем, — отвечал, посмеиваясь, наглый мальчик Толик.

Ясно, что Толик, гений, вундеркинд, нашел применение чужой несчастной любви, догадался, как ее употребить в дело — но круг улыбающихся животной улыбкой лиц, круг приготовленных для удушения пальцев не сомкнулся над девочкой, остался там, в лесу, там, в заколдованном царстве незрелых ягод крыжовника.

Находка

Меня нашли осенью 1961 года на просторах казахской целины Юрий Константинович Арди и Вася Ананченко, корреспонденты «Последних известий» Всесоюзного радио.

И они так меня потом иногда и называли, «находка».

Точнее говоря, вся эта история произошла в студии Петропавловского радио в Северном Казахстане.

Они были там, в Петропавловске, в командировке, а я приехала туда на одни сутки из глухого райцентра Булаево, взять клише в областной типографии (из цинковых так называемых клише делались фотоснимки для органов печати, старинная технология). В Булаеве я выпускала «районку» — номер газеты, посвященный работе строительного отряда МГУ на целине, в данном районе Североказахстанской области.

Был сентябрь. Все студенты отряда уже уехали в Москву с песнями, деньгами и сухим пайком, исхудавшие, черные, жилистые, все повально в тельняшках и парусиновых штанах (флот по-шефски выделил обмундирование б/у). В Булаевском районе остались возведенные белыми студенческими ручками многотонные стены зернохранилищ (из природных каменных глыб), саманные домики, кошары, — их потом приехали достраивать «под крышу» армяне-шабашники. (Не знаю, доделалось ли это или все ушло под глубокие снега, когда кампания по приобщению студентов к простой жизни зэков была завершена.)

И еще на целине осталась я — печатать газету об университетском стройотряде, которую всю сама написала под разными фамилиями.

И вдруг далекому корреспонденту Казахстанского радио занадобилось, опоздавши, сделать вдогонку какой-то материал о нашем строительном отряде. Он позвонил в Булаевский райком, где я в унынии сидела одна со своей гитарой.

О, ночи в казахстанской провинции! Пустой кабинет с койкой, телефон в коридоре, повсеместный лай собак, тьма египетская, ветер гремит по крышам, все.

Звонок! Кто это в такую поздноту?

— Але, девушка! Мне бы кого-нибудь из студенческого отряда!

— Все уехали уже.

— А вы? Вы кто?

— А я делаю здесь газету об отряде, заканчиваю…

— О! Вы-то мне и нужны! Вы можете приехать ко мне в

Петропавловск на радио выступить? Как жалко, упустил, я был в командировке, так хотелось их записать, так сказать, под песни у костра.

— А я завтра еду как раз к вам в Петропавловск в типографию за клише. И у меня как раз гитара.

Он помолчал — как видно, оторопел от такого совпадения:

— Ну вот! Да вы что! А переночуете у нас, жена вас накормит.

Назавтра областная типография должна была выдать мне последние клише фотографий, а затем предстояло напечатать весь тираж и сопровождать его в Москву.

Белые мухи носились над одноэтажным городишком Булаево, долгие и глубокие лужи рябило как в шторм… Дул сильный, леденящий, настоящий предзимний степной ветер. Я пробиралась на вокзал с гитарой. Из верхней одежды у меня был бордовый прорезиненный плащ китайского производства и большой головной платок, похожий на оранжевое вафельное полотенце. Под ним матросская тельняшка. Внизу — парусиновые матросские клеша и зеленые ботинки. Что-то немыслимое. Все, кроме военно-морского обмундирования, покупала в разное время мама. Доставала. Я плакала над этими обновами, но делать было нечего. Носила. И в таком виде поехала в столицу Северного Казахстана, навстречу своей судьбе.

* * *

А вот как я там оказалась, на целине.

Весной, когда уже пора было заканчивать университет, я пыталась устроиться на работу. Но меня не взяли ни в газету «Неделя» (где уже принятый на работу мой однокурсник в ответ на все вопросы о штатном местечке запел и выдвинул ящик стола, в котором загремела, перекатываясь, пустая коньячная бутылка. А я намека не постигла и ушла после слов «ты в уме ли, старуха, какое там, сам еле-еле…»), ни в «Крокодил» (туда, в отдел писем, уже зачислили мальчика с нашего курса, Колю Монахова, который потом прославился, публикуя фразы из народных писем под рубрикой «Нарочно не придумаешь»). В отдел сатиры и юмора радио меня тоже не взяли — работники даже скромно посмеялись, переглянувшись между собой, едва я ввалилась и на вопрос ответила, что хотела бы у них работать, еще бы они не засмеялись! Там в то время вкалывали Владимир Войнович и Марик Розовский!

Почему я пыталась устроиться в такие странные места — потому что я только что защитила творческий диплом по сатире и

юмору, там были фельетоны и рассказики (и на защите этого диплома схватились два преподавателя — председатель комиссии говорил, что не смешно, а оппонентка закричала, что смешно, вы че! Сцепились они по поводу моего комментария к письму, пришедшему в журнал «Крокодил». Человек прислал мед. справку, выданную гражданину Н., что такой-то Н. пришел в амбулаторию «на своих нохах». Я отвечала на письмо в таком духе, что хорошо, что Н. пришел не на своих рухах. И вот начался этот длительный спор: смешно или нет. В результате стороны помирились, мне поставили четверку, и я, довольная, отчалила).

А на работу я так и не устроилась.

И в этот тяжелый жизненный момент я услышала, что от университета едет на целину строй-отряд, куда-то в степи Казахстана. И у меня возник хитроумный план: поехать с ними туда, это вообще бесплатная дорога на край света, когда еще предоставится такая возможность туда добраться!

Данная идея с отъездом казалась мне решением всех моих вопросов.

Тогда были такие времена. Трудно — езжай за туманом и за запахом тайги, на ту сторону Урала, по маршруту, кстати, воров и убийц, которые как раз тоже в свои времена отправлялись в ту же сторону по Владимирскому тракту (нынешнее шоссе Энтузиастов, московское начальство знало, как назвать братьев по духу) и дальше к Тихому океану, три года шли пешком (как описывал Чехов в своем отчете о командировке под названием «Остров Сахалин»), чтобы ступить на грузовой пароход во Владивостоке и затем переправиться на каторгу, на тот остров, в тогдашний ГУЛАГ… (Книга Чехова, его научный отчет о поездке через всю Сибирь на Сахалин, написана была безо всякой страсти и обличения, скучно, тягомотно, однако это и был настоящий первый «Архипелаг», и именно там и был показан подлинный социализм без собственности, не хуже платоновского «Котлована»: каторжане получали дом и землю, но поскольку это было не «ихово», государственное, то они тут же пропивали все, в том числе и арестантские халаты, и брели за пайкой хлеба и приварком что ни день, иногда по четыре часа в одну сторону, без дороги, сквозь сахалинскую тайгу, на кухню. Они никогда ничего не сеяли, вообще ничего не делали. Спали на голом полу. Единственная шутка у Чехова на всю книгу — что аборигены-рыбаки носят арестантские халаты каторжан «из щегольства».)

Не вдохновило автора это путешествие по России…

Тоска, видимо, его брала или предчувствия донимали.

Великим русским писателям даром эти поездки не проходят — Радищева вообще посадили за очернительство после одного

путешествия из Питера в Москву.

Чехов никакого пафоса и обличения не допустил, и правильно сделал.

И его «Сахалин» поэтому мало кто прочел.

* * *

Надо сказать, что к решающему моменту, к окончанию моего университетского обучения, к последнему госэкзамену, я подошла совершенно распустившись. Это бывает со студентами. Я перестала учиться. Диплом на тему «О природе юмора», опомнившись, наваляла за одну ночь накануне последнего срока сдачи, в нем было двенадцать страниц теории и полтора десятка моих заметок из «Крокодила». Вообще за пять лет учебы я не только ничего нового не узнала, но и подзабыла все то, что прочла к окончанию школы. Нас на факультете все время натаскивали как будущих идеологов, подвергали чтению бесконечных ленинских трудов о партийной печати (люди как «винтики общепролетарского дела») и его же, Бовиных, книг насчет какого-то эмпириокритицизма, затем шел диамат, истмат, диабаз и гранит марксистской философии, зачем-то теория коммунистической печати (что сие означало?), плюс какие-то попытки научить грамотно писать, практикумы по правке текста, то есть вставить вместо трех точек нужный падеж или предлог… При том что у нас на курсе прочно сидели асы с национальных окраин, которые в диктантах на одну страницу делали по 38 ошибок (личный рекорд студента из Баку). Они-то потом и становились главными редакторами местных газет. В том числе у нас имелись и два неторопливых монгола, которые так и не успели за пять лет записать ни одной лекции…

А ведь научить человека выражаться грамотно почти невозможно. Еще иностранца насобачить полбеды, он зубрежкой возьмет. И спроса с него не будет. Но исконно русского человека «с Калининграда» и «с Тирасполя», с исковерканным от рождения люмпенским окраинным языком, именно что ни к селу ни к городу (как в пословице «пошел по язык да свой потерял») — научить правильно писать в университете на нашем факультете не могли по определению! Несмотря на блестящих преподавателей стилистики. Потому что главным делом была преданность идеям партии.

Так что из нас готовили непрофессионалов, идеологически выдержанных профанов…

И все это происходило при наличии великой литературы,

отметим. Одновременно!

Каково было идеалистам, воспитанным на высоких образцах, влезать в кусачие робы пролетариев умственного труда, лжецов на зарплате!

(Как-то, много позже, профессор Асмус уважительно спросил А.А.Морозова, переводчика «Симплициссимуса», в доме творчества в Переделкине (когда я перед тем на скамейке в парке изложила им очередную главу польской книги о барокко и сарматах, меня попросили вкратце перевести): «А что она заканчивала?» — «Журналистику». — «Бедная»…)

И вот последний госэкзамен, гос, я как раз и заканчиваю университет. Теория и практика советской партийной печати плюс зарубежная коммунистическая печать. «Партсовпечка» по-нашему.

Господи! Я не могла себя заставить готовиться к этому экзамену. Вечером накануне я, однако, пошла, спотыкаясь, в Ленинскую библиотеку хоть что-то подчитать. Хоть в энциклопедиях. Не знала же ничего!

Надо было судьбе послать поперек моей дороги хорошего дружка Юрку. Он шел со своей мамашей именно по этому же переулку, но в противоположном направлении. То есть навстречу мне, которая брела, полная сомнений, к неведомому источнику знаний относительно коммунистической печати (дяденьки педагоги так и не соорудили никакого учебника по данному вопросу).

— У меня сегодня день рождения, привет! — заорал Юрка, а его маленькая мамаша-рентгенолог просияла и кивнула. — Пойдем к нам?

— Правда! — закивала его мама. — Пойдемте, Люсенька!

— А пойдемте, — сказала я.

И вернулась домой с последним метро, вот как.

Затем утром я явилась на госэкзамен с понятным опозданием. У двери толпились однокурсники, впившись утомленными глазами в тетрадки. Поздно было даже просить что-то почитать. Они сами явно выклянчили драгоценные конспекты у отличниц. Отличницы давно сидели в аудитории.

Я заглянула туда. Ого! Комиссия будь здоров, во главе с нашим однoруким деканом. И молодой Засурский, основатель кафедры зарубежной коммунистической печати. И какие-то тетки-дядьки. Человек семь.

Я тут же зашла. Мне было терять совершенно нечего. Как во сне, в полном бетонном спокойствии взяла билет. Села.

Поглядела. Нет! Ничего я не знаю о коммунистической печати Японии! И возникновение и зарождение партийной печати Сибири в эпоху революции тоже не вызывает во мне никаких чувств. Колчак? Врангель? Какое отношение они имели к партийной печати? А только эти имена, да еще и фамилии казненных в топке паровоза героев (то ли Лазо? то ли, наоборот, Щорс?) приходили в мою бедную головенку. Но партийная печать? Как они там могли все эти кошмарные вещи освещать?

Я встала и вышла на лобное место перед комиссией. Она была еще довольно свежая, неутомленная. Сидел лысый, с искусственной рукой, с какими-то тоже не совсем одинаковыми глазами, оба были подозрительно ненастоящие, наш декан. Он был суров, как герой фильма ужасов. На факультете («на факе» по-местному, народ говорил «пошли на фак») вообще ряд педагогов резко отличался от остального народа фантастической внешностью. Один преподаватель диамата, стоя в полный рост, доставал бровями как раз до края стола и иногда так и смотрел, невидимый, оттуда. Мы с подружкой Веркой как-то залетели в пустую аудиторию, Верка, приподняв юбчонку, стала поправлять чулок — и о ужас! Прямо на столе вдруг загорелись укоризненным огнем два глаза в увеличивающих очках! Преподаватель задрал голову!

Мы с ней обе имели незаслуженную тройку по этому предмету…

Ладно. Я стояла в вольной позе перед государственной комиссией. Потом промолвила нехорошим тоном (не без развязности):

— А я не знаю билета.

Они оживились, зашевелились. Такое приключение! Вежливо предложили взять еще.

— И этого билета не знаю. Вообще ничего не знаю.

— Ну хорошо, — встревоженно сказал дяденька справа, — а вот как Хрущев назвал журналистов? Вот как?

Тетя в центре вдруг откинулась и, незаметно для комиссии, стала мне подсказывать, шевеля губами. Где там! Мне было уже не до мелочей.

— А не знаю я, — оголтело произнес мой рот.

Они смутились. Я, как закоренелый преступник, уже закусила удила. Вообще дело начало смахивать на судебное.

— Подручные партии! — с горьким укором ответил за меня дядя.

— А, — как бы вспомнила я. Разумеется, мне была знакома эта формулировка. Вообще-то подручными в дни моего детства обычно называли в журнале «Крокодил» помощников палачей.

Ренегат палач Тито и его подручные.

— Ну вот, — покачал головой дяденька. Мол, что же ты так-то.

Помолчали. Никто не знал как и когда меня гнать в шею. Ужас витал над аудиторией. Сзади меня напряглись лучшие силы курса, первые ряды отличников.

Тут я неожиданно для себя сказала очевидную пакость:

— А мне это не пригодится.

Пауза. Они не верили своим ушам. Выпускница говорит, что ей не пригодятся знания, приобретенные тут! В стенах университета!

— Что вам не пригодится? — задал наводящий вопрос дяденька справа.

— Ничего! Зарубежная печать!

Засурский выпрямился:

— Как это?

Дело его молодой жизни! Изобретение пылкого полиглота!

— Да я еду через три дня на целину, — заявила я со всей силой здорового рабочего класса, — на стройку работать! Надо изучать жизнь! Прежде чем писать!

Часть комиссии нехорошо задумалась. Теперь как это так — вдруг взять и влепить двойку будущему рабочему стройки! Идеологически-то она верно схватывает! Да и Засурский тоже хорош! Зачем дуракам-студентам его зарубежная печать? Кто это читать-то будет? Пусть она коммунистическая, но ведь это же на других языках! Их же никто не знает! Закорючки какие-то японские, индийские! Что в них понятного-то? Филькина грамота это все! Коммунистическая-то да, но ведь хрен знает что они там пишут! И проверить некому!

И потом (явно размышляли они) — можно наказать нерадивого студента, исключив его из университета и сослав на годок проветрить мозги в какую-нибудь многотиражку на стройку — но эта-то сама туда, и горделиво причем, лезет! И учит нас!

Тогда я этого не понимала совершенно, но демагогические приемы, видимо, были усвоены мною за пять лет учебы четко. Вот у меня коммунистические принципы! На целину, на стройку! В гущу! А не у вас тут в Москве!

Старым духом повеяло, чистками, рабочими ассоциациями пролетарского чего-то (рапповщиной). Превосходством рабочего класса над гнилой интеллигенцией. Письмами в ЦК, мало ли. Они все друг на друга строчили.

С такими людьми, наверно, только так и можно было разговаривать.

И я тут же весьма пышно удалилась вон из аудитории. Сердце мое трусливо билось.

Народ, подслушивавший за дверной щелью, расступился в ужасе, как перед еретичкой. Я прошла в пустом пространстве, как-то преступно улыбаясь, проследовала через весь коридор и затаилась где-то в закутке.

Все, мне конец.

Что меня ожидало? Диплома не дадут, на работу без него никуда не возьмут, ни в какую районную даже газету, жить нам будет не на что, а через год все равно придется сдавать опять тот же самый «гос»… Будь ты неладна, коммунистическая печать Японии.

Спустя время в коридоре забегали, созывая всех на объявление оценок.

Прошла опять в пустоте, села в аудитории отдельно.

Мне объявили тройку!

Я захохотала от неожиданности. Этот смех странно и кощунственно звучал в серьезный, даже торжественный момент окончания университета.

Комиссия попрятала глазки и горько смотрела врозь, мимо меня, как многоглавый Змей-Горыныч, упустивший зайца на ту сторону реки. Ясно было видно, что они с огромным удовольствием влепили бы мне именно сейчас заслуженную двойку. Но что делать, пролитое не соберешь!

* * *

После окончания университета у меня имелось пять рублей, и я их, придя через три дня в назначенное утро к университету на Ленинские Горы, сдала командиру первого попавшегося автобуса на питание, доехала с ребятами до товарной станции, залезла в телячий вагон на нары и начала приводить в действие план дальнейшей жизни. Я собиралась поработать на стройке в Северном Казахстане со студентами, а дальше, когда они уедут, остаться в степях и тихо переезжать из города в город, писать для местных газет, продвигаясь к Тихому океану, по маршруту Чехова. Жить же на гонорары. Изучать настоящих простых людей! Почему-то мне именно это казалось самым важным.

Так что я действительно уехала как грозилась. И действительно вкалывала на стройке разнорабочей, грузчицей. Таскала камни как на каторге, под палящим солнцем, полные носилки, ноша на двоих при пятидесяти градусах жары, без бани (два раза за два месяца), с солоноватой водой из бочки, без почты

и с коричневыми макаронами на завтрак, обед и ужин — как в какой-нибудь Италии, с той только разницей, что в Италии эту слипшуюся массу не сдабривали бы кусками вареного бараньего сала. Макаронникам такая кухня и не снилась!

Через месяц мы закорявели, заплошали, пошли какими-то нарывами, даже устроили забастовку, то есть кисло сидели у своего недостроенного амбара, похожего на вконец разрушенный римский Колизей, и не работали. Можно было это квалифицировать как преступление, и всех, весь курс, показательно выгнать из МГУ и из комсомола — но нашему командиру, аспиранту-математику Беленькому, это и в голову не пришло. Он был чужд идеологии. Он был просто хороший человек. И вместо того он нас отвез на грузовике в совхозную баню, дал денег купить пряников и карамели (думаю, что это были собственные средства аспиранта Беленького), а также мы смогли приобрести тетрадки и конверты, зайдя в канцтовары как в рай. Сразу после бани и канцтоваров, как только мы были готовы ехать обратно, на нас налетел ливень, степь прямо на глазах зазеленела, а дорога немедленно обратилась в глубокое болото, и мы ехали промокшие, заляпанные по брови после баньки, стоя в кузове, веселые, и пели песни.

Еще через неделю такой жизни меня белым днем обнаружили (лежащей на полу за печкой в вагончике по причине болезни) командиры сводного отряда, приехавшие на машине из районного центра (я была единственный журналист с дипломом МГУ на территории, как тогда шутили, равной трем Франциям). Они вежливо смотрели на пол, где я в духоте валялась с высокой температурой, и предлагали сменить участь: уехать в Булаево и начать делать газету о стройотряде университета. Я сначала сочла это предательством, а потом, через два дня, когда они опять приехали, согласилась (все равно все скоро закончится) и стала спешно выздоравливать.

Это была чудная жизнь! Свобода! Просторы! Я начала ездить из отряда в отряд, брала интервью, собирала песни, смешные случаи, байки. Единственно что я не посетила ни разу — это стан факультета журналистики. Почему-то будущие коллеги были мне поперек горла.

Я добиралась на редких попутках, иногда лежала в высокой траве посреди степи в ожидании грузовика, под высоким небом, в звенящем просторе. Ничего нет прекрасней степи. Ничего. Даже море короче, быстрее обрывается. Я запомнила на всю жизнь восход солнца над черным паром — лиловая, густо-фиолетовая вспаханная сырая земля и оранжевое большое солнце, которое выпрастывалось, жидко дрожа как желток, выскакивало, еще

ничего не освещая, а именно «озаряя» — а на дороге стоял грузовик, с него прыгали наземь доярки в красных от рассвета белых халатах, и накатывало стадо, посреди которого ехали на лошадях пастухи и орали что-то шутливое по-немецки, как орут мужики встречным бабам, из чего я понимала только лихое «Доннер веттер!» А доярки, идеально чистенькие, даже накрахмаленные, румяные и здоровые, со смехом восклицали: «Гутен морген», — это были ссыльные, сосланные в степи немцы Поволжья…

Но потом, когда стройотряд уже уехал в Москву и я готова была двигаться по стране дальше, к Тихому океану, сведущие люди в районной газете сказали мне, что гонораров районки не платят, а штаты везде заполнены членами партии, даже снять койку будет не на что — да и печатать мои статьи вряд ли кто захочет. Так они мне говорили. Действительно, газетенки не интересовались творчеством. Я почитала тутошнюю подшивку. Это был тоскливый ужас. Местные редакторы публиковали бодрые вести с полей, интервью с председателями совхозов и всякую идеологически выдержанную хрень из «тассовок», материалов агентства ТАСС, притом, как я теперь понимаю, находясь под сильным прессингом обкома и райкома, на самом дне партийного океана. Такие рыбки без боков, сплющенные, сильно пьющие. Ибо чем дальше от центра, чем больше вокруг пустого пространства, тем теснее живется человеку. Он на виду. Ему меньше простора. Больше давят сверху. Мне было там не выжить.

У меня той весной, перед окончанием университета, была еще одна надежда найти работу — мой незнакомый отец. Он был профессором философии (марксистско-ленинская этика, атеизм) и членом редколлегии журнала «Наука и религия». Мог бы помочь. После долгих поисков я нашла моего папу ровно в том же дворе, в котором проучилась пять лет, — его кафедра повышения квалификации преподавателей общественных наук находилась прямо напротив двери моего факультета журналистики. Он знал многое обо мне. До него явно доходили слухи о моем идеологически невыдержанном поведении.

Он испугался и даже привстал, когда я вошла к нему в кабинет. Я видела его перед тем всего один раз в жизни, десять лет назад. Тем не менее мы друг друга сразу узнали: голос крови, видимо. Придя в себя, он повел меня в ресторан-поплавок и накормил. Он спросил в заключение, очень осторожно:

— Чем собираешься заниматься?

— Да вот, — ответила я. — Поеду работать на целину, на стройку разнорабочей.

— Правильно! — облегченно воскликнул он. — Так начинаются все карьеры!

Эти мои планы вызвали в нем большое воодушевление. Он дал мне десять рублей.

Я пришла к нему еще один раз, просто так. Соскучилась, может быть. Он заметил:

— Моя жена против того, чтобы мы с тобой встречались. Но я ей сказал: «Ты не знаешь, может быть, она нам пригодится».

И он повел меня в университетскую столовую.

Больше я его не видела, моего удивительно мудрого отца.

Но все получилось именно так, как он сказал.

Такова предыстория моего появления в городе Петропавловске.

* * *

На следующий день я, сойдя с местного поезда, управляемого паровозом, уже сидела на петропавловском радио в студии у микрофона, в теплом и светлом месте, и пересказывала содержание написанной мною газеты (каждая статья шла как «новелла»), а также пела под свою гитару песни стройотряда. Пела, я думаю, не меньше часа, в том числе блатной репертуар типа «Вхожу это я в пивную», любимые песни раздольных казахских степей. Для советского радио это была, как я понимаю, безумная новинка!

Когда я вышла из студии, будучи в тельняшке и белых матросских клешах, а также в зеленых ботинках, вид, возможно, невероятный для радио, даже экзотический, при этом загар как у мулатки и совершенно выгоревшие, цвета соломы, волосы, да еще и в руке гитара, — ко мне обратился оживленный, интеллигентного вида, даже какой-то французистый старичок, лет за сорок, и сказал ласково:

— Откуда вы явились такая?

— Из Булаево.

— ?

— Это шестьдесят километров отсюда.

— Надо же, — сказал интеллигентный старичок. — Как интересно. Мы вас слушали. Я комментатор «Последних известий» Константин Арди.

Из угла кивнул дядя тоже не первой молодости, хорошо за

тридцать пять. Он казался утомленным, заработавшимся. Так обычно выглядят после вчерашнего. Я до того посидела на практике в городе Горьком, в сильно пьющем коллективе местной газетки, которую они же сами справедливо обзывали «Горькая правда», и мне уже были визуально знакомы разные состояния человека.

— А это Вася Ананченко, корреспондент, мы вместе приехали. Вы нам понравились.

Пожилой Вася попробовал улыбнуться. Глаза у него были синие, и такого же примерно цвета подглазья. Он сидел нога на ногу, понурившись.

Девушки всегда очень подозрительно относятся к комплиментам. Знаем мы вас, старые дядьки! Я насторожилась.

Старец продолжал хвастливо:

— Эх, вот если бы вы были москвичкой, я бы вас взял на работу на радио!

Я тут же сурово возразила:

— А я москвичка.

— Ну хорошо, — растерялся старичок, — будете в Москве, заходите.

Как бы его поймали на неосторожном обещании.

Возникла тяжелая пауза. Вася смотрел в пол, покачивая головой и ботинком.

Но Юрий Константинович Арди был, вообще говоря, удивительно легким и добрым человеком. И он вышел из положения доблестно:

— Вот вам телефон (он засуетился, ища ручку), моя жена, Александра Владимировна Ильина, заведует отделом культуры в «Последних известиях».

То есть никаких таких двусмысленностей, жена!

Вася Ананченко зыркнул из своего угла как бы неожиданно трезво.

Посмотрим, говорил он всем своим видом.

Может быть, эта история и должна была иметь продолжение в каком-нибудь местном кабаке, но корреспондент радио тут же увел меня к себе домой, где его жена наготовила пельменей, весь вечер мне со смехом жаловались на тутошнюю жизнь, город, оказывается, все местные называют Петродыровск!

Дети радостно бесились вокруг, а потом мне предоставили комнатку с кроватью, на которой было две перины! Я погрузилась в эту роскошь, но поспать мне не удалось: пришли старожилы-клопы, видимо, попить свежей кровушки. Бедные люди, как мы все тогда жили!

* * *

Я выпустила булаевскую университетскую газету, вернулась с тиражом в Москву, а идти на радио все не решалась, месяц просидела дома, сопровождаемая стонами мамы, что нам не прожить на одну ее зарплату, это было чистой правдой, мамы всегда провозглашают горькие истины и этим раздражают своих детей, которые не желают подчиняться обстоятельствам; а затем я набралась духу и позвонила по чудом сохранившейся бумажке Арди.

— Ну где же вы, — сказал женский прокуренный бас (это оказалась сама Ильина). — А мы вас ждем-ждем… Приезжайте немедленно. Арди мне про вас рассказал.

Я, оцепеневшая, приехала, мне велели написать текст о возвращении студенческого отряда (якобы это произошло сегодня, а не два месяца назад), Ильина прочла, кивнула, меня тут же запустили в студию, и вечером, сидя у приемника «Рекорд-59», мы с мамой слушали меня голова к голове, и я не поняла из своего репортажа ни слова… Какой у меня был писклявый голос! При этом каша во рту, такое я вынесла впечатление от собственного выступления по радио.

Тем не менее, я начала там работать внештатно.

Через два месяца Ильина меня взяла корреспондентом.

Насчет карьеры мой мудрый папа оказался прав.

Моя первая начальница, завотделом культуры, прекрасная Александра Владимировна Ильина, имела суровую внешность Жана Габена, курила «Беломор», басом заступалась за меня перед начальством и на летучках, а в личных беседах строгала как карандаш. У нее первого мужа расстреляли в 37-м году, сын погиб на фронте. Дети ее были мы все.

Еще я очень уважала и боялась Павла Осиповича, Пашу Майзлина. Он был завотделом промышленности, при том что еврей и не член партии, дело вообще-то на радио немыслимое, тем более что на фронте, выходя из окружения со своей ротой, он закопал все документы, в том числе и партбилет, а также ордена — и выбрался, но известно, что тогда «наши» делали с такими. Он прошел все круги ада и упорно не желал еще раз вступать в партию, сколько ему ни предлагали, суля даже повышение по службе. Тем не менее его держали на высокой должности: в работе ему не было равных.

Это у нас был цех, заводской цех, поток новостей, без высоких слов, самое непатетическое изо всех средств массовой информации. Хотя и тут беспардонно врали: например, сев всегда

начинался у нас «на три дня раньше прошлогоднего», а одну и ту же домну провинциальные корреспонденты, за неимением информации, задували по нескольку раз (а нашего постоянного выражения «пущена третья очередь» вообще никто в стране понять не мог).

Бывало, Майзлин, лысый человек, сидящий за абсолютно пустым, чистым и блестящим, как его голова, столом (и это при огромнейшем объеме информации, которая шла через данный приемный пункт), будучи главным по дню, вгрызался в мою информашку, черкал, ноя себе под нос какую-то криво-косую песню, и со вздохом говорил:

— Самое дело, вот дали бы мне тебя месяца на четыре, я бы тебя научил, самое дело, как надо писать.

(Я с воем в душе шла к своей Ильиной предупредить, что меня хотят забрать, она слегка улыбалась прокуренной улыбкой Жана Габена, затягивалась папиросой и хрипло говорила: «И правильно».)

Это все были мои учители, люди старинной закалки и стальной выдержки. Я состояла при них как подмастерье (не оставляя, однако, усилий по подрыву принятых там норм языка). Вообще, я не встречала больше такого дружного, хорошо сколоченного и солидарного коллектива. Выгораживали друг друга, про сбежавшего сообщали: «Портфель его здесь, вышел, наверное», часто сидели вечерами, слушая байки. Особенно любим был Вадим Синявский. Мне запомнился его рассказ об олимпиаде в Австралии, когда наш журналист проиграл в карты сумму, равную суточным всей советской делегации! Тогда Синявский пошел парламентером, взяв с собой международников как переводчиков, и миру был явлен вызов на дуэль: кто кого перепьет. Сборная России против сборной мира. Алкогольная олимпиада. На кону был проигрыш нашего газетчика. Спиртное тоже за счет проигравшей стороны. Синявский в этом месте делал паузу:

— Я шел первым номером.

Слушатели восторженно кивали. Еще бы!

— Я обошел их уже на пиве — велел подогреть и перелить в кружку. Он-то пил из такой жестянки ихней!

Раздавался сдержанный смех.

— На водке их первый номер упал сразу под стол.

Аудитория делала вид, что изумлена. Потом следовал понимающий хохот. Все знали эту байку.

Далее шло перечисление напитков. Это была поэма! Пиво, бургундское, шампанское «Вейв Клико»… Ну, виски «Уайт хорс»… Водку наши сами выставили. Советский вклад, «Столичная». Ну и

сами понимаете…

— А то!..

Это все была рабочая кость информации, мои старшие.

Но и руководитель у нас был непростой. Наш главный, Владимир Трегубов, красавец, много раз женатый, совершенно седой, лохматый, вечно загорелый, просвистывающий по коридорам как торпеда, Вэ Дэ, как мы его звали, — он говорил отрывисто, всегда смотрел поверх головы собеседника, вечно спешил, не вникал в мелочи, не въедался под шкуру, как многие мои позднейшие начальнички; но в один главный момент своей жизни Трегубов основательно поставил точку, совершил политическое самоубийство, не желая лгать: на партсобрании, посвященном вводу войск в Чехословакию, он отказался голосовать «за», поднял руку «против». Он был единственным таким самосожженцем. Затем его постепенно выжили. Высокий, красивый, умный, интеллигентный, с вечно болтающимися шнурками, он блуждал по вокзалам, приглашал девушек на самопальные экскурсии, водил их по Москве. Один раз (ходили слухи) он даже пообещал кому-то достать ковер… Девушка пожаловалась по месту работы. В дальнейшем он почти нищенствовал и сошел, говорят, с ума…

Крепкие мужики, руководящие гении, могут вынести многое — в том числе тюрьму и лагерь; но не безработицу…

Весь радиокомитет, все эти отряды профессиональных лгунов, все бурлило в те дни «чешских» событий 1968 года. Я уже работала в радиожурнале. Перед собранием начальство велело запереть дверь. Выступали по собственному порыву. Один наш молодой коммунист пылко сказал, что сам бы всех там пострелял. Мы протянули вверх ручонки, одобряя ввод армии. Я не могла себе позволить такой роскоши как Трегубов, в семье было двое инвалидов, а также ребенок и я, единственный кормилец.

В тяжелые времена таких собраний, когда надо было поднимать руку, голосовать, я говорила себе: мы разведчики во вражеском стане. Самое смешное, что тогда полно было таких разведчиков, чуть ли не вся страна. Все хором врали и прятали свои чувства.

Когда я сказала Твардовскому, главному редактору журнала «Новый мир» о том, как голосовала, он мне ответил в том духе, что «знали бы вы, в какие моменты я поднимал руку…» Это было спустя пять месяцев после чешских событий, в январе 1969 года. Твардовский меня вызвал, чтобы сообщить, что не может

опубликовать мои рассказы. Ему, по его словам, нечем было бы меня защищать. Вскоре и он был снят с поста и практически погиб.

У жизни не бывает хэппи-энда.

Юрий Константинович Арди перед смертью ослеп. Моя крестная Александра Владимировна Ильина погибла типичной смертью курильщицы — сгорела в постели, в больнице. Она уже не могла ходить (облитерирующий эндартериит) и уснула с папиросой во рту… Они с Юрой умерли с разницей в день — он за сутки до нее, один в пустой квартире.

Вадим Синявский умер от застарелого туберкулеза. Мы ездили его навещать в Сокольники, тоже в больницу. Ровный, спокойный, угасающий человек… Ни для кого не было секретом, что его стремится погубить новый главный редактор, не пускает в эфир.

О них, наших дорогих ушедших, мы говорим с единственным человеком, который знал их всех, с радиокомментатором Максом Гинденбургом. Макс мне рассказывает вещи, которых я не могла знать по молодости лет…

К нашим беседам я еще вернусь в конце своих воспоминаний о моем детстве на радио.

У меня была профессиональная беда — я говорила в микрофон при всех обстоятельствах одинаково пискляво. Некоторые мои знакомые, слышавшие меня по радио, даже считали, что я работаю в «Пионерской зорьке»!

Мой крестный, Вася Ананченко, мне стал внушать разные полезные вещи, в том числе Вася сказал, что по радио надо говорить медленно.

— Ты не трещи, находка, — успокаивал он меня.

(Однажды я приволокла запись с литературного вечера в библиотеке — какая-то девушка пела еще более писклявым голоском свои песенки. В процессе записи что-то случилось с моей «крупорушкой» — так мы называли портативный магнитофон. Он весил 8 кг. Я починила механизм с помощью карандаша кое-как и попросила начать все с начала. Девушка дисциплинированно стала повторять. Я была в восторге от ее песен. До сих пор знаю их наизусть.

Александра Владимировна Ильина взяла у меня эту пленку, положила в стол, закрыла ящик и сказала: «Иди пока работай».

Это была бы первая запись на радио Новеллы Матвеевой… Но время еще не пришло.

Правда, ее слава началась очень скоро и останется на века.)

Так вот, один раз Вася решил меня наставить на путь

истинный и преподать урок настоящей работы, когда он, крякнув, услышал, что нас с ним посылают освещать какую-то производственную выставку в Манеже.

Я, правда, поначалу оторвалась от своего руководителя, взяла на плечо «крупорушку» и, перекосившись от тяжести, пошла сама искать себе выступанца. Нашла! Навстречу мне шел какой-то нарядный старик солидной внешности.

Встав у него поперек дороги, я нацелила микрофон ему под нос и звонко произнесла:

— Будьте добры, несколько слов о ваших впечатлениях!

И тут же почувствовала, что меня уносит с его пути, какие-то люди буквально взяли меня подмышки и оттащили в сторону.

Это был сам академик Миллионщиков (до сих пор не знаю кто такой).

Вася меня больше не отпускал. Он велел мне стать у стены и тут же привел выступающую тетю.

Я опять-таки сунула ей в лицо микрофон как дуло автомата.

В ответ на мой простой вопрос: «Как вам понравилась выставка?» — она мудро помотала головой и отстранила опасную штуку от своего лица. Вася стоял рядом и тоже качал головой. Потом он сказал:

— Смотри как надо!

Он, правой рукой держа микрофон, левой начал оглаживать тетеньку со стороны спины, при этом ласково диктуя, что надо сказать.

Тетенька оживилась, но сразу произнести фразу не смогла.

(Ходила же по рукам пленка с записью, где корреспондент берет интервью у бригадира, тот читает написанный текст о кормах для кроликов и произносит, что они должны быть «легко усвояемывые». Его просят прочесть еще раз. Получается «легко усвояевымые». Затем еще один вариант, «легко усвоявыемые»).

Наша бедняга отвечала на вопрос только «Ну».

Вася начинал беседу:

— Вам понравилась выставка? Да не «ну дак»! А просто: «Мне понравилась эта выставка».

— Ну.

— Вам понравилась?.. Фу ты господи! Не «ну», Раечка! (Сеанс поглаживания.) Скажи только: «Мне понравилась выставка». Да?

— Дак ну же.

Вполне справедливый ответ: сказано ведь было, чего еще-то повторять.

— Ах ты боже ты мой… Минуту. Так. (Солидно.) Вам понравилась эта выставка? А? (…) Ну что ты все ну! Что это ну!

Потом он ей написал на бумажке крупными буквами слово «Да»…

Когда он ее отпустил, то сказал мне:

— Вот ты видишь… Как приходится работать, в каких условиях… И вот как надо!

Следует сказать, что даже сам Леонид Ильич Брежнев (генсек ЦК КПСС, если кто помнит, что это такое было) впоследствии вы-ха-ва-ри-вал настолько заковыристые звукосочетания, произнося свои странные речи на съездах партии, что фирма «Мелодия», которая обязана была выпускать пластинки с его речами, панически искала подходящих пародистов, чтобы перепроизнести, к примеру, слово «находящихся». Сам Леня Ильич произнес его как «находявшихся». Среди прочих вызвали на студию и режиссера мультфильмов Эдика Назарова (любимые народом фильмы «Как муравьишка домой спешил», «Жил-был пес» и т. д.).

Эдик мастерски передавал интонации Лени.

Но слово спасти не удалось — оно было произнесено при полном зале собравшихся, при определенных акустических условиях. Не собирать же съезд заново! Не выпускать же на трибуну Эдика! Чтобы он сумел, напрягшись, рыча, вывернувши рот наизнанку, еле ворочая языком, теряя челюсть и как бы стараясь, чтобы не стошнило, вы-ха-ва-рить слово «находящихся».

Однако самое сильное впечатление осталось у меня от одной благотворительной акции «Последних известий». Это был пик моей карьеры на радио.

В тот раз в космос полетела первая женщина, Валя Терешкова, бывшая ткачиха с образованием типа техникум. Ну и нам, девочкам «Последних известий», доверили вести прямой репортаж с трассы. Решили как бы подбодрить женское племя журналистов. Восстановить пошатнувшееся равновесие между полами, раз девушку пульнули в космос.

Народ согнали встречать своих героев.

Меня поставили на балконе Дома обуви на Ленинском проспекте.

Толпы внизу и до горизонта тихо шумели, шевелились, трясли флажками.

Это было торжество равноправия, видимо. Как говаривал великий остряк Зиновий Паперный на языке полухинди, «женщина и мужчина бхай-бхай!» (по аналогии с лозунгом «хинди-руси бхай-бхай!»).

У меня перед глазами плясал мой текст, я его написала

заранее, Ильина одобрила («Вот вдали показался кортеж… Это открытые машины… Раздается громкое «ура»! Люди машут флажками!»).

Другой рукой я крепко зажала микрофон.

В напарники мне выделили Петровича, сурового, пьющего человека из отдела спорта. Мы с ним должны были быть, наверно, как равноправная радиостатуя «Рабочий и колхозница», но мы стояли порознь и рук вверх не тянули, с какой бы стати? Однако наша парочка все-таки представляла собой символ тесного единения спортивной редакции и отдела культуры, т. е. самое дикое сочетание, да еще и высунутое на высоте шестого этажа на балкон. Я от волнения ничего не могла рассмотреть на проспекте, как ни щурилась. Петрович, закаленный на футбольных репортажах, зорко глядел вдаль.

В руке его тоже трепыхался текст, но по другой причине (Петрович, видимо, с утра побоялся «поправиться»).

Вдруг по проспекту покатился нестройный отдаленный шум. Послышалось как бы «ура», как перед атакой. Точками на пустом проспекте показались машины. Петрович меня неожиданно сильно толкнул локтем.

Я начала совершенно не по тексту:

— Смотрите! Едут наши дорогие!!! Терешкова!!!

И тут же подавилась от умиления и заплакала.

Петрович заткнул мне рот свободной от микрофона ладонью.

Как он справился и каким образом читал текст (утвержденный руководством), который у него был в руке, которой он мне затыкал рот?..

Я потом долгое время с ним первая здоровалась в коридоре. Столько пережито было вместе там, на балконе! Как он мне находчиво рот-то запечатал! Но, по-моему, суровый Петрович меня решил не узнавать.

Если бы кто изваял нашу статую в тот момент, то она свободно могла бы называться «Рабочий затыкает рот колхознице, или Цензура в действии».

* * *

Вообще-то в «Последние известия» было не устроиться. Мне по крайней мере.

Там работали солидные, известные люди, ветераны, чьи голоса были общенациональным сокровищем. Вадим (Славич) Синявский, любимейший спортивный комментатор страны, хрипловатый интеллигент со слегка блатной, свойской

интонацией. Уважаемый до обожания кумир всех болельщиков!

У него, по легенде, пуля вышибла глаз, когда он вел репортаж из Сталинграда в момент взятия в плен Паулюса…

И там начинал тогда молодой Николай Николаевич Озеров, Коля, который в те поры еще оставался артистом МХАТа, но, будучи чемпионом по теннису, работал дополнительно и в спортивной редакции в «Последних известиях». Он был фантастически вежливым человеком и, пробегая по коридору, всегда здоровался со мной первым! Я даже стеснялась его и тоже здоровалась издалека.

И Арди, и Ананченко, и Юра Скалов, его взяли на войну мальчишкой, и всю Европу он прошел пешком как рядовой пехоты… Ему всегда больше всех хлопали на Девятое мая, когда коллектив ненадолго собирался в большой комнате.

Народ там был самый дружный и работящий. Шесть газет «Правда» в сутки — такой объем информации требовал работы на износ.

Радио слушали в СССР повсюду — в каждой почти избушке, в прокуратуре, в военных частях и любой деревне на столбе у сельсовета, в парках, парикмахерских и поездах в каждом купе и еще по коридору трижды, в детсадах, магазинах, поликлиниках, в кабинетах руководства сверху донизу, в комнатах коммуналок…

Была одна программа на всех. «Последние известия» народ слушал, но (как это ни печально) в основном ради погоды и спортивных результатов… Остальные новости были простому рядовому человеку напрочь бесполезны. Его жизнь не зависела от того, когда что посеяли, собрали и сколько чего и где выпустили. Все равно существование протекало помимо этой не всегда правдивой информации. Вот если бы сообщали, где дают простыни, посуду или сапоги — о! Чайники, диваны, колбасу! Где выкинули в продажу одеяла, колготки, книги Ахматовой! Но нет. Ходынское поле устраивать власти бы не разрешили. Этого боялись больше всего…

(Кстати, недавно я услышала, в чем было дело там, на Ходынке, во время коронации Николая Второго, и почему народ повалил на это проклятое поле. Все дело было в неверно понятой новости: по городу сообщили, что в честь коронации всем будут давать по кружке с короной. А народ расслышал «с коровой». И за скотиной ринулись все.)

Один интеллигентный заключенный, завлаб института «Искож» (партийная кличка в кругу друзей Майкл), посаженный в 1983 году за то, что после акта списания не уничтожал прошлогоднюю аппаратуру и прилагающиеся шурупы (да ни один

хозяин не выкинет гвоздочка! Да еще при тогдашнем дефиците всего!) — ему дали семь лет строгого режима с правом писать одно письмо в месяц за присвоение народного имущества в особо крупных размерах — так вот, он после освобождения рассказывал, что у них динамик в камере находился за решеткой, т. е. как бы на воле. И будил всех в 6 утра гимном. Они затыкали данную решетку тряпками. Майкл называл эту побудку «рев стада коров»…

Такое было радио, одно на всех.

Александра Владимировна Ильина, как я уже упоминала, заведовала культурой, самым бессмысленным, по мнению руководства, отделом в «Последних известиях». Все эти премьеры, вернисажи, концерты, фильмы и встречи с писателями, а тем более новые книги далеки были от нашего народа, который работал, растил детей, добывал пищу, разговаривал матом, а в свободное время играл в домино и варил самогонку. При этом бабы интересовались, где что дают, школами и больницами, а мужики футболом и домино. И все поголовно воровали с родных предприятий.

Не дашь же в эфир информашку о том, что плотник 4-го разряда дядя Дима Болотин припер из цеха (выкинул через забор другу) оргалит, поскольку жена уже его, Диму, достала, что надо сделать полки на кухню, а забойщик мясокомбината дядя Саша Речкин обмотался свининой как обычно и вышел через проходную беспрепятственно, только прохожие глядели во все глаза: идет человек, а за ним кровавый следок капает. У соседей свадьба, Нинку выдают, тетя Валя с первого этажа принесла бутылку своего, попросила.

Я писала хрен знает что.

То есть вначале меня, как рядовую необученную, кинули было освещать работу министерства сельского хозяйства. Как ее освещать? Я отправилась в министерство этого хозяйства, нашла там какого-то немолодого сотрудника с внешностью трагического героя немого кино, тщательно причесанного на косой пробор, с черными подглазьями. В каком-то розоватом даже костюме. Щеголь такой. Он сидел у себя в кабинете, перебирал бумаги и радушно меня поначалу принял. Он заведовал чем-то научно-исследовательским. Фамилия у него была сложная, кончалась на «джи», как сейчас помню. То ли восточная? Поначалу он как-то значительно, с элементом легкой меланхолии, на меня смотрел. Но когда он разобрался, зачем я пришла, то начал бурно отнекиваться, протестующе выставлять ладонь, поднимал-опускал ее, как в танце, говорил, что никаких новостей нету, и так меня и отправил восвояси. Но я взяла его телефон и настойчиво ему

звонила. А что было делать? Я же должна освещать работу министерства! Что оно, не работает, что ли? Потом, где-то через неделю, он обнаружил новость: изобрели такую штучку, которую опускали в кучу зерна. И если загорался красный огонек, то зерно было плохое. Ура! Я написала информашку под названием «Санитарный светофор». И ее прочли утром в воскресенье. Повторяю, радио у нас было одно на всю страну, и оно говорило везде. Моя подруга прослушала эту интересную новость, позвонила мне и спросила: «Это ты, что ли, писала?»

Больше этот «джи», как я ему ни звонила, ничего найти интересного для меня не мог и даже попрекнул меня, что ему сделали замечание за разглашение информации. (Может, это была вообще липа?)

Как раз тогда наш руководитель Хрущев выдвинул идею послать это министерство в деревню. Переселить ближе к объектам, к колхозам. Которые находились в ужасной разрухе, как обычно.

И министерство сельского хозяйства, в преддверии этой насильственной депортации на деревню к дедушке, держалось довольно конспиративно.

Затем, когда мой источник информации занялся переселением, меня поставили освещать работу ЦК комсомола.

Помню, я пришла в кабинет, где сидели три инструктора. У стола одной из них стоял спиной ко мне, опершись на стол и нависая над объектом, довольно полненький мужчина. Инструктор буквально делала ему выволочку:

— Вас куда посылали? Вы просили командировку в колхоз. Что вы будете писать портреты передовиков комсомола. А вы мне что принесли? Билет почему принесли такой, ездили на берег Крыма? Я это оплачивать не буду!

Художник, склоняясь к инструктору, негромко объяснял, что это была творческая необходимость… Что возникает такая определенная тяга… Ну, как бы интуиция ведет…

— А что это она вас ведет вместо колхоза на море?

— Понимаете, природа поиска… — жарко и убежденно говорил художник. — Духовность… Монастыри… Святые места…

Этим он ее доконал, сдал все документы и вышел довольный.

— Новый Афон ему, видите ли, нужен, — устало сказала инструктор. — Так, что у вас?

— Я из Всесоюзного радио, пришла нет ли каких новостей.

— Вот! Вы видели? Художник этот Илья Глазунов вместо колхоза, куда мы его посылали, поехал на море. Месяц купался. А мы должны платить. Это новость.

Что-то большого потока информации ЦК комсомола мне тоже

не принес.

И тут Юра Скалов отказался от освещения работы Союза художников. Говорил, что ему надоело одно и то же. Стоял посреди нашей большой комнаты и, улыбаясь, отмахивался, что не может больше. Я помню этот момент.

(На самом деле, как мне сказал недавно радиокомментатор Макс Гинденбург, просто Юра тяжело заболел. Он все меньше мог ходить, однако и в таком состоянии работал. Потом стали отказывать руки. Он диктовал. Потом и совсем слег.)

Меня послали освещать жизнь Союза художников.

Оп-па! Я и написала вгорячах глубоко лирическую зарисовку с первой же выставки, которую посетила (мне все казалось, что надо улучшать стиль радиоинформации). Это была жуткая история.

Я начала свою информашку словами: «Тихая вода медленных северных рек…» (остального я не помню, может быть, дальше следовало «неспешная жизнь охотников, дальние костры по ночам») — после чего шли вполне конкретные дела: вот этому и была посвящена такая-то выставка, и кто автор, и число картин.

И вот диктор (кажется, Высоцкая), разбежавшись после потока новостей о задутых домнах и выданных на-гора тоннах угля, тем же деловым и суровым тоном быстренько начала: «Тихая вода медленных северных рек!..» и осеклась. Это было надо иначе читать, нараспев, что ли. Бедная диктор! В какое идиотское положение я ее поставила!

Скандала не было, только редактор Нина Скалова мне приватно очень мягко сказала: «Ну ты у нас прям Паустовский какой-то». Было очень стыдно.

Кстати сказать, особо теплого отношения к себе в редакции я не чувствовала. Приволок Арди какую-то девушку, кто она? А сам ее явно избегает… Подозрительно что-то. То ли потому, что жена рядом?..

Я ничего этого понять не могла, но общую отчужденность ощущала.

Пока однажды мне не велели сделать доклад на политинформации. О чем хочу. Некоторое испытание. Я и сделала подробный доклад о Пабло Пикассо. Он ходил в полузапрещенных у нас. А что? Он был же в свое время коммунист и борец за мир!

Я тогда читала польские журналы и нашла там замечательно хитроумное интервью этого удачливого и способного художника. Именно после доклада о Пикассо народ как-то принял меня. Подобрел. Почувствовал, что человек не опасается за свою шкуру, говорит свободно что хочет. Короче, своя девка.

Я трудолюбиво ходила на выставки, в мастерские художников. Посещала и запрещенных лианозовцев, и Васю Ситникова, и одного разудалого подпольщика скульптора. Они принимали меня охотно: а вдруг? Вдруг повезет и будет сказано о них доброе слово по радио? Но чудес не было. Скульптор, правда, больше всего одобрил мой магнитофон и даже что-то намекал, что неплохо было бы мне приходить и записать книгу его воспоминаний. Но мне не понравились его работы, какая-то расчлененка, мускулы с мослами, и его разговоры о том, что он живет с девочками-близнецами, купает их в ванне. И я больше его не навещала.

Самое жуткое началось в 1962 году, в сентябре. Прошла дискуссия «Традиции и новаторство», на которой (за кулисами) я взяла интервью у Льва Копелева. Практически зал в Доме актера устроил обструкцию выступившему режиссеру Сергею Юткевичу (его назвали Иудкевичем). Все были в эйфории: оттепель! Открылась знаменитая выставка в Манеже (30-летия МОСХа), и вот на нее провокаторы из Академии художеств специально пригласили «левых», и там была выставлена в том числе знаменитая «Обнаженная» Фалька, великого художника.

Но на этом вся оттепель и кончилась. Дело в том, что художники Московского отделения союза перед тем написали «наверх» письмо об Академии художеств. Дескать, жрет много средств, и у других союзов нет никакой академии, а художники в Академии плохие. Что было чистой правдой.

Академия в лице художника В.А.Серова, специалиста по ленинской тематике, пошла в наступление. (У художников была даже песенка на мотив «Когда страна быть прикажет героем»: «Когда страна быть прикажет Серовым, у нас Серовым становится любой».)

Серов пригласил Хрущева и весь его кагал на выставку «левых». Показали и «Обнаженную» Фалька. Потом ходил анекдот, что на вопрос Хруща: «Этто шо?!» последовал ответ, и Хрущ переспросил: «Какая еще обнаженная Валька?»

Короче, власть, увидевши левое искусство, была в справедливой ярости, что и требовалось. Академию оставили. Серова избрали ее президентом. И выдвинули на Ленинскую премию работу данного художника, где был изображен Ленин, а рядом рабочий кулаком вперед. Член комиссии по премиям художник В.Попков (наш человек) сказал, что этот кулак впереди как-то выглядит идеологически неверно. Комиссия испугалась и отвергла серовское полотно. А Академия художеств в каком состоянии была, в таковом и пребывает. Как-то недавно за столом веселая молодежь даже предложила переименовать Москву в

Цереград.

Я брала у этого Владимира гада Серова интервью после избрания его президентом. Я колдовала над пленкой долго. Монтировала. Я все его оговорки, все неграмотности оставила. Все его убогие мыслишки взахлеб, его нешуточное торжество. Пену у рта.

Без единого слова интервью приняли. Никто не заметил моей хитрости. Даже Ильина (я за ней следила). И страна, выслушав, не содрогнулась. Тогда все руководящие на любом уровне так коряво, косорыло выражались.

(И сейчас тоже. Посмеивались над Черномырдиным, он стал даже героем типа Чапаева. Как-то наш умный народец любит тех кто покривее и подурее. Опомнились, а он уже миллиардер!)

Оттепель (1962) на этом окончательно завершилась обледенением. На ближайшие двадцать три года.

То есть у нас любые попытки улучшения ведут к ухудшению.

Народу-то было в редакции немного. Спортивный отдел (великие комментаторы Вадим Синявский, Ник. Ник. Озеров), международники (известен был Валентин Зорин, все время яростно выводивший на чистую воду американский образ жизни и затем переехавший туда делать фильмы-обличения), а также отдел промышленности с с/хозяйством, это был самый большой и самый анонимный новостной блок (то там задули домну, то сям сев закончили, что-то ввели в строй, перевыполнили, заткнули некий «проран», что-то прорубили, произвели стыковку, залили, ввели, вывели, разрезали ленточку).

Кстати, о радиоязыке. Любимый глагол был «пустить» с разными приставками: запустили, выпустили, спустили со стапелей и пустили в ход. Международники использовали более ядреные формы, например, «распустить» (в смысле парламент), «испустить» (идея испустила дух), «допустить» (непарламентские выражения) и даже «напустить» кого-то на кого-то, и даже имелось словцо «науськивание». Они все время язвили по поводу «военщины», «приспешников», «пособников», «подручных» и «марионеток». Им было можно язвить.

Ну и мы состояли при эфире, отдел культуры. У нас язык был самый скромный, никаких чужеродных слов и никаких терминов, народ не поймет. Если выставка — то цифры сколько и тематика о чем, не более того. И наши «сюськи» (информашки) чаще всего летели в корзину.

А гораздо выше находились комментаторы, небожители.

Они до нас практически не снисходили.

Среди них был и упомянутый выше комментатор Макс Гинденбург. Мы с ним здоровались, но особой дружбы не

возникало — солидный, ответственный работник и какая-то начинающая девчонка, у которой все как-то не ладится. Вечно я не так пишу… Вечно мои репортажи не пускают в эфир, и я так и говорила обычно, возвращаясь от дежурного по дню: «Меня опять забодали». Десять часов работы насмарку. И ходила плакать в комнату, где грохотали телетайпы…

Потом я ушла в журнал. Меня в «Последних известиях» поняли. Меня напутствовали добрыми словами. Мне Паша Майзлин напророчил быть писателем, ни много ни мало, сказав: «У нас один уже был член союза писателей, Василий Ардаматский».

Прошло много лет, и вдруг звонок:

— Люся, это Макс Гинденбург. Как ты?

— Ничего, а ты? — на правах старого товарища отвечала я.

— Понимаешь, я написал тут рассказ…

Шли годы, он писал, я читала. Потом нашлось издательство, которое собралось выпустить целую книгу Максовых рассказов. Мы вступили в переговоры с редактором. Она попросила предисловие. Я его представила. Но издательство лопнуло.

Он писал, очень болел, но превозмогал себя и работал. По натуре Макс спокойный оптимист. Он был другом разных людей, в том числе главного редактора «Огонька» Анатолия Софронова — всю его жизнь. Софронов, одиозная фигура, этот известнейший антисемит и ретроград, самый большой враг прогресса, оказывается, был добрым и щедрым человеком для своих старых товарищей, да и для сотрудников. Я теперь уговариваю Макса написать подробные мемуары.

Тексты Макса самые простые, и все в них правда. Ну не врет человек, не та порода.

И теперь я решилась представить на суд публики моего коллегу, Макса Ефремовича Гинденбурга, фронтовика, писателя, журналиста из наших родных «Последних известий» Всесоюзного радио.

Как предполагалось, с предисловием (вы его сейчас прочли, но оно за ненадобностью с годами выросло, так уж я его и печатаю) и, теперь, с самой сутью: с рассказами Максика.

Не судите нас строго: Максу 92 года. Он молодой автор.

Он моя находка.

P.S. Рассказы М.Гинденбурга были опубликованы в журнале «Октябрь» № 11, 2004 г.

На тему о вдохновении [1]

Было дело, что текст рассказа являлся мне в полном виде. То есть начинала звучать первая строка со своим ритмом (обязательно), и важно было иметь при себе ручку и бумагу. Один раз в метро я медленно продвигалась в толпе на пересадку, и пришел в голову полный текст. Вернее сказать, я не заглядывала за первую фразу, нужды не было. Знала, что стоит потянуть за эту нитку, клубок сам начнет разматываться до конца.

Пошарила вслепую в сумке, ручка не нашлась. Первая фраза гудела в голове, я ее специально удерживала на одной ноте, не давая ей двигаться дальше.

Кое-как выбравшись из толпы, я перетрясла всю сумку. Ручки не было! Вот это было настоящее отчаяние.

Музыка кончилась. Упустила.

Дома я кинулась записывать, но вынуждена была оставить эту затею, рассказ растаял. Всю ночь промучилась. На следующий день на работе я пошла в библиотеку и заставила себя вспомнить. Однако это было уже не то (речь идет о рассказе «Грипп»).

С тех пор я панически боюсь остаться без ручки и бумаги, и своим студентам всегда говорю: мысль приходит только один раз, больше она не явится, и ее надо записать обязательно. Не важно, одна ли это будет фраза или полный сюжет, воспоминание, навеянное чьим-то лицом, музыкой, словом или запахом, как у Пруста (почему у него аромат пирожного «Мадлен» — астматики очень остро чувствуют все запахи).

Рассказ приходил, например, при виде лица в толпе («Сирота»), я написала текст в магазине на Пушкинской площади, рядом с тем местом, где увидела какого-то человека, до ужаса похожего на моего недавно умершего приятеля, Эдика Крылова. Как будто мертвый ожил! Я обошла его с другой стороны — нет, щеки не такие. Тут же писала рассказ, прижав бумагу к стене. Или в музее (на выставке работ Репина в Питере была его малоизвестная картина, какие-то девушки в лодке — и я увидела лицо моей подруги, которая все последние годы была на грани самоубийства, Л. У нее было лицо красавицы начала века — у Репина это тоже была красавица. Самый ужас заключается в том, что, может быть, она погибла именно в этот день, когда явилась мне. Вскоре я узнала о ее смерти, сердце Л. не выдержало большой дозы лекарств. Но рассказ я писать в тот момент не стала, потому что мне явился сюжет об уже умершей женщине, а стыдно было писать о Лене как об умершей, она еще была для меня жива. Именно стыдно, позорно. Как это у орлов принято

кружить над умирающим. Меня буквально обожгло стыдом у этой картины).

Так что рассказы приходили мгновенно, надо было только их быстро, как можно быстрее, записывать. В дальнейшем, уже теперь, я стала понимать, что, возможно, это были прастихи, первоначальная форма дальнейшего верлибра. Все указывает на это — возвышенность тона, некоторая как бы внутренняя декламация в каком-то ритме, даже повторы одного слова в конце. Почти полное отсутствие диалогов. И то, что это был единственно возможный вариант — я потом почти не правила свои тексты, только стилистические ошибки. И если рассказ терялся, я не успевала его записать, то другой вариант был непереносимо ниже уровнем.

Так все и шло, я писала свои присланные мне готовыми рассказы (многие авторы говорили о том, что есть впечатление, что им диктуют).

Пока однажды мне не надоело. Это же был почти механический процесс — быстро записать. Гудящая голова, всплывшая в памяти история, скорее всего ужасная, надо быстро освободиться от нее, хватаешься за любую бумажку, ручку, пишешь сразу — и рассказ готов.

Хотя иногда я даже плакала в конце, потому что было безумно жалко своих героев. Чаще всего я и писала от жалости. То есть это была не совсем автоматическая запись. Но тогда я подумала, что наработанное ремесло мне мешает, все повторяется, все одно и то же, удар, воспоминание, слезы, ручка, бумага, быстрое письмо, и надо от этого уходить, потому что есть опасность самоповторения.

Позже я узнала, что китайские и японские мастера акварели, достигнув определенной степени мастерства, уходили от самих себя, меняли имя, способ рисования, даже руку — правую на левую, только чтобы избавиться от наработанной манеры, от скуки умения.

И я перестала записывать. Когда оно приходило, я думала: а, ладно, хватит. Не буду.

Может быть, я так поступала еще и потому, что мои рассказы не печатали и надежды на это не было. Ну еще одной штукой больше, что это изменит.

Мало того, этот стиль, этот синтаксис, построение фраз, длинные пассажи — все это было довольно легко повторить, поймать эту манеру. Все стильное легко пародируется и тиражируется. И я однажды прочла у одного писателя буквально свой абзац. И остолбенела от горя, как жена Лота, оглянувшаяся на свой сожженный город. Меня не печатали, но мои рассказы

ходили по редакциям в рукописях.

И я сменила руку — начала писать пьесы. Потом пошли сказки, потом стихи, потом я вернулась к рассказам, но они стали немного иными, уже с диалогами.

Потом я сменила руку опять, началось время верлибров. Да они давно у меня были, только я не догадывалась. Один рассказ я сначала написала прозой, а потом увидела, что это стихи (глава из Карамзина «Мамонька мамка»).

Это мне очень интересно — борьба человека со своим вдохновением, уход от диктовки.

Никогда не чувствовать себя умелым мастером.

В сторону Манна

1. Как я уходила с работы

Уйдя с телевидения по собственному желанию осенью 1973 года (а это целая история, о ней пойдет речь), я была объявлена в своем бывшем отделе сумасшедшей. О чем я и узнала довольно скоро. Осиротелые товарищи по труду широко объявляли о моем заболевании (а отдел у нас был вот уж действительно совершенно безумный по замыслу, так называемый «Отдел перспективного планирования»: мы должны были планировать в 1973 году программы телевидения на 2000 год! т. е. предусмотреть падение социализма и СССР, далее перестройку, перестрелку, Горби и дефолт, интернет, глобализацию, а затем и проблемы миллениума! Футуристы бы мы были, если бы что-то делали, да и посадили бы нас за такие лихие предвидения всех, но отдел не производил абсолютно ничего. Никаких предсказаний тем более).

Судя по всему, сослуживиц оскорбил мой внезапный уход с работы. Когда я подала заявление, они долго на меня кричали: начальница Стеллочка и сотрудница Кариночка. Что я подвожу коллектив. Что все подумают, что у нас нечего делать.

Напрасно я говорила: «Карина, ты же теперь займешь мою ставку, это 160 рублей!» Нет, сидели вокруг моего стола и ругали горестно, злобно, искренне. А потом понесли по буфетам сообщение, что ЭТА свихнулась и потому подала заявление об уходе.

Данную новость мне сообщила сердобольная Лизавета, зав. сценарным отделом мульт-студии, которой я позвонила насчет какой-нибудь работы.

Она сказала, что Стеллочка и ее подруги везде говорят о том, что я сошла с ума и потому ни на что уже не способна. Даже прийти вовремя.

Я просто подавилась от волнения, узнав такую новость, и даже спросила, а как же вы, не побоитесь со мной иметь дело?

Она меня успокоила. И довольно скоро заказала мне сценарий мультфильма — но сделать надо было быстро, за день. Горел план.

Я тут же написала сказку «От тебя одни слезы».

От этого фильма именно такой результат и был, но не о том речь.

Я получила гонорар!

А то мы с девятилетним сыном Кирюшей жили так: он после школы бежал покупал за 37 копеек антрекот у тети Маши в кулинарии, я варила суп из этого антрекота с картофелинами, на первое был суп, на второе обозначенный антрекот с картошкой из

супа, на третье чай с подсушенным хлебом. На ужин макароны, поджаренные на постном масле (пальчики оближешь) или картошка от обеда, также поджаренная. Я и черный хлеб с чесночком поджаривала. И лук пассировала на маленьком огне. Иногда мы позволяли себе селедку. Ни в одном ресторане потом я так вкусно не ела.

Есть огонь, есть вода, есть хлеб, картошка, макароны. Мясо!

Со стороны отдела перспективного планирования такое заявление о состоянии моего разума было знаком внутреннего смятения. Я как бы стала перебежчиком, переметнулась чуть ли не за границу, покинув все самое для них дорогое и тем самым выставив на посмешище отчизну — что это за родина, с которой бегут! Да хотя бы взять и СССР, как это государство охраняло свои границы изнутри! Прямо как какая-нибудь зона.

В этом случае даже необходимо было ответить на оскорбление. Ушла! Да она боль-на-я!

Однако даже самая безосновательная выдумка не может возникнуть просто так, и я нашла причину, побудившую моих коллег Стеллочку и Карину, а также человека по имени Коля произвести такую операцию с моим до того не запятнанным анамнезом.

Последние месяцы перед уходом со службы я вела на работе довольно богемное существование: опаздывала, не принимала участия во всеобщих мероприятиях (походы в буфет, в столовую и шараханье, как у них это называлось, кроссвордов). Печатала на машинке все время, так как делать было совершенно нечего.

Иногда, правда, я попадала в ногу, т. е. приезжала даже раньше всех, первая брала ключ и расписывалась в журнале. Это происходило после особенно больших взбучек со стороны Стеллочки, когда она меня вызывала к нашему начальнику, безобидному человеку, который не делал вообще ничего, только ездил по заграницам (видимо, наш отдел был крышей для него, он состоял в чекистах и якобы выяснял перспективные планы на 2000 год в иностранных державах, мало ли).

Начальник не хотел меня ругать, вел себя как сибарит, т. е. говорил со мной вежливо, чем раздражал мою Стеллочку, жаждавшую справедливости и приведшую меня на конюшню высечь (как же так, все могут вовремя ходить на работу, одна она не может!). Стеллочка была красотка в очках фасона «Летучая мышь» и ходила обычно в кружевном жабо и с засученными рукавами, что символизировало и женственность, и мужество одновременно. Начальник и к Стеллочке относился как к родной. Единственной слабостью Начальника был нервный тик, он временами вскакивал, отходил немного в сторону, склонял

голову в судорожном порыве и быстро-быстро двумя ладонями трепал себя по плечам. Гонял чертей? Или это было насчет перхоти? Он каждый раз проделывал свои странные упражнения, когда Стеллочка приводила меня на заклание, и мы, объединенные как бы общим делом, то есть экзекутор Стеллочка и я, осужденная, сочувственно и терпеливо ждали.

Стеллочка добивалась одного, чтобы я стала дисциплинированной и как все, она меня хотела переделать, а я не поддавалась, приходила последняя и вообще старалась сразу занять отдельскую машинку. Я писала тогда «Уроки музыки». Кроме того, я не участвовала в их почти религиозных ритуалах: прийти вовремя и затем сразу, снявши пальто, пилить в уборную, это называлось «мальчики налево, девочки направо». Так они восклицали, идя по коридору толпой. Затем всем скопом они отправлялись в buffet, «бафет» (ударение на первом слоге), «ударить по салатам». После чего выходили наружу на прогулку (тайно, как бы через черный ход) — маршруты назывались «в сиренарий» и «к Уллубию Буйнакскому» (сиренарий — это был Останкинский парк с кустами сирени, а «Уллубий Буйнакский» — захудалый книжный магазин, в витрине которого лежала брошюра, посвященная этому герою Дагестана). Возвратившись, они шарахали кроссворд, причем все старались прийти с нерешенным и торжественно его выкладывали. Присуждалась ежедневная премия «Серебряный глаз» за особо удачный ответ. Глаз рисовался на газете. Потом шли обедать. После обеда запирали двери, снимали с телефонов трубки и спали щеками на столах. В пять плелись пить кофе с булочками. Затем день быстро склонялся к дымному закату, и наступало черное время отъезда: троллейбус, метро, автобус, а кому и электричка.

Шахматисты иногда запирались в комнате отчалившего Коли и играли до утра.

Или все вместе ехали к кому-нибудь на день рождения, что обычно заканчивалось только под утро, когда открывалось метро. Нечасто, но кого-нибудь пьяного выкидывали на лестницу, предварительно побивши, чаще всего слабенького Эрика Крылова, ленинградского блокадника с детства и сироту. Суровостью отличался крепкий муж нашей Кариночки, человек с внешностью боксера, даже кулаки у него были больше чем у обычного человека и напоминали боксерские перчатки.

Ну что же, так жили многие советские служащие! Сплетничали, обсуждали историю России, бегали в кино, влюблялись, сходились, праздновали, пировали, пили, меряли одежду, доставали пропитание, дрались, решали кроссворды, ездили «на картошку» (т. е. в подшефные колхозы ее убирать),

таскались на овощебазу рыться в гнилье, кое-как работали.

Это было у них убеждение, крепко дружить всем коллективом, соблюдая все правила. У них были и культурные пристрастия. Иногда мою пишущую машинку занимали под печатание японских хокку и танка. Эти тексты, наряду с брошюрой «Сионизм на марше», составляли литературный багаж отдела. Да, еще наш невозмутимый еврейский человек Вова, которому предназначалась эта брошюра (ее упорный борец с жидомасонством Коля купил во множестве экземпляров и каждый день свеженькую с утра подкладывал на Бовин стол) — этот Вова держал на столе книжку «Собака Баскервилей» на адаптированном английском языке, всегда открытую на первой странице, где были подчеркнуты карандашом и мелко тут же переведены многие слова, в том числе и над словечком «dog» было написано сокращенно «соб-ка». Очень скоро после моего ухода Вова пошел ни много ни мало как работать учителем в английскую спецшколу.

Вова оставался невозмутимым даже тогда, когда отдел изымал из его авоськи банку томатов очищенных или маринованных огурчиков (производство Венгрии). У Вовы родня занимала посты в ресторанах Останкина, и довольно часто ему перепадал так называемый «заказ», и он простодушно приносил и располагал на столе вполне прозрачную сетку, т. е. плетеную сумку, с дефицитными продуктами. А сам смывался. Тут начинался справедливый пир.

Двое людей в нашем отделе были драматургами по образованию. У одного, моего друга Эрика Крылова, пьеса даже была поставлена в театре Всероссийского театрального общества, но спектакль был запрещен, и наутро режиссер умер от инфаркта. Это была настоящая трагедия. Эрик и сам умер молодым… Другой наш драматург не писал ничего принципиально, так как считал, что написать пьесу можно только овладевши всей суммой знаний человечества, такой был им выбран путь. А пока что он жил впроголодь, платил алименты, ходил по библиотекам, носил старенький, засаленный и тесный черный костюм (видимо, бывший свадебный) и очень не любил женщин, несправедливо подозревая в них желание родить от него ребенка и тоже, как бывшая жена, на шармака получать алименты. Он играл в шахматы только с безобидным Эриком в виде исключения. Голова у него была лысая, бровь выпуклая и низкая, умненькие светлые глаза блестели пониманием ситуации, а редкие фразы, которые он ронял, были как из будущей речи обвиняемого, т. е. обличительные.

А в дальнейшем было вот что: наш шутник и борец с

сионизмом Коля, когда его назначили временно и.о. замзавотдела (Стеллочка ушла писать диплом), как-то развернулся, наладил дисциплину, и когда Стеллочка через два месяца возвратилась, он устроил огромную разборку, кричал, сравнивал перед руководством ее и свои методы и т. д. на тему о том, что он и сам прекрасно справится. Меня уже в тот момент не было с ними, а то я бы непременно воспела такую драму. Кончилось дело тем, что Коля должен был уйти по собственному желанию. Стеллочка с двумя высшими образованиями перевесила, тем более что она была красавицей.

Итак, в чем причина того, что Стеллочка объявила всему миру о моем сумасшествии?

Дело в том, что мой учитель, актер и режиссер из МХАТа, Михаил Анатольевич Горюнов, как-то весной сообщил мне, что со своим театром он принимает участие в телеспектакле про врачей. И съемки будут у нас в Останкино, во второй студии. А перерыв ожидается в два часа дня. И он хотел бы, чтобы я его навестила.

В назначенное время я спустилась во вторую студию. Съемки еще не закончились, и Ангелина Степанова, народная артистка, в белом халате и медицинской шапочке вела группу пьющих мхатовцев-врачей куда-то в сияющие пределы вон из декорации, после чего начался большой бенц: Ангелина Осиповна обнаружила, что у нее уперли сумку, и громко скрежетала по этому поводу. Все бегали, а Михаил Анатольевич вышел ко мне в своем зеленоватом халате и сказал:

— Смотрите нас через месяц. Моя спина седьмая слева. Ну-с, где вы работаете?

Я повела его на девятый этаж.

Кариночка была на месте и, как всегда после обеда, ковыряла спичкой в своих невероятно больших зубах. Полспички уходило у нее в дупло!

Карина отличалась бытовым антисемитизмом и про каждого посетителя с уверенностью говорила «еврей» (или «еврейка»). Это ее как-то, видимо, успокаивало и возвышало в собственных глазах.

Она была немногословна, и когда ей удивленно говорили: «Карина, как ты хорошо выглядишь!» — она отвечала двояко: «Да я голову помыла!» или «Надо пить сперму!» Иногда она вспоминала, видимо, прошлое и весело произносила: «Да… Не одна я во поле кувыркалася».

И вот М.А. в своем зеленом врачебном халате, не выходя из образа медика, серьезный и достойный, возник вслед за мной на пороге нашей комнаты, обвел трезвым взором пьяницы все помещение, наши четыре стола, тут же спросил меня: «А где ваш

стол» и «Могу ли я воспользоваться телефоном», сел и торжественно произвел телефонный звонок. Он всегда, завидя телефонный аппарат, звонил в одно и то же место, а именно своей жене, и говорил одну и ту же фразу: «Ируля? Я скоро буду». После чего Михал Анатолич сообщил, что у него работы еще часа на два.

Затем, все еще в образе солидного доктора, он покинул отдел, сопровождаемый мною.

Когда я вернулась, Кариночка веско сказала (видимо, не в первый раз):

— Еврей.

— Ага, — ответила я. — Сын народного артиста Анатолия Горюнова и народной артистки, ученицы Станиславского Веры Бендиной, а также племянник народных артистов Москвина и Тарханова.

Отдел помолчал.

— А тогда какой он врач? — помолчав, спросила наша Карина (видимо, ни одна фамилия ей ничего не говорила).

— Какой, психиатр, конечно, — ответила я. — Кто еще к вам придет-то.

Вот этот эпизод, видимо, и послужил основой для того диагноза, который был мне поставлен отделом перспективного планирования в лице Кариночки и Стеллочки по кличке Жабо.

Итак, я отчаянно ушла с работы.

Как в окошко кинулась.

Основание было, и довольно веское — я бездельничаю на работе, а мой сынок девяти лет в полном одиночестве, с ключом на шее, после драк на всех переменах, голодный, пыльный и взъерошенный бредет из школы, и дома ничего не ест, ждет мамашу, которая приезжает уже в восьмом часу вечера.

И я подала заявление об уходе. Я осталась дома, сидела с ребенком, встречала его из школы. Он был сытый, чистенький и радостный. Но есть стало нечего.

Но потом Нина Виноградова, жена Игоря Виноградова, литературоведа и нашего преподавателя по эстетике, пристроила меня на работу в один интересный полувоенный журнал, назовем его «Щит Родины».

2. История с кавалеристом

Я очень быстро была оформлена и начала трудиться в журнале «Щит Родины» редактором отдела прозы в конце 1973 года, причем работала по договоренности ровно целый месяц. Моя деятельность, однако, представляла собой редакционную тайну. Даже сотрудники отдела прозы ни разу меня в глаза не видели (якобы мои подчиненные).

Дело, наверно, было в том, что к декабрю все деньги журнала, предназначенные для рецензирования самотека (т. е. рукописей, принесенных со стороны или пришедших по почте), куда-то делись. То есть платить за рецензирование им было нечем.

Отсюда и возник этот замысел использовать свободную ставку редактора отдела.

Так мне объяснила Нина эту неожиданно открывшуюся вакансию.

До того, до конца года, они жили беззаботно. В этот журнал, видимо, редко кто, будучи в здравом уме, присылал свои рукописи, это был орган суровый, военно-чекистский. И, понимая обстоятельства, руководство, видимо, свободно потратило средства, мало ли, для приема гостей или еще на какие-то нужды.

Однако за истекающий год некоторые беспардонные авторы все же заслали свои произведения в «Щит Родины», и надо было что-то делать с этим наглым самотеком. Руководство нуждалось, стало быть, в человеке, который за сто сорок пять рублей отрецензирует двенадцать романов (в журнале была свободной ставка как раз редактора отдела прозы, 160 р. минус вычеты). Романы были немаленькие, и идиота не нашлось, за двенадцать рублей читать семьсот страниц и писать солидную и аргументированную отрицательную рецензию, и так двенадцать раз подряд. Почему отрицательную? В журнале «Щит Родины» не признавали левых, со стороны, с улицы пришедших авторов. Писатель у них был свой, хорошо проверенный.

Но я была на тот момент вообще, как сейчас выражаются, «на выхлопе», то есть в прямом смысле слова мы с ребенком недоедали. Еще была и мама, которой тоже нечего было есть. И надо было платить за две квартиры — мамину кооперативную и нашу. Это не шутки! А в наличии имелась только Кирюшина пенсия за потерю кормильца, 35 рублей 70 копеек. Именно в этих обстоятельствах я и ушла с телевидения. Действительно, какой-то ненормальный поступок.

Я искала работу. И Нина Виноградова меня подсунула журналу «Щит Родины» в момент их цейтнота, когда до конца

отчетного года оставалось две недели. Они даже обрадовались мне, не подозревая о последствиях. Я пришла, взяла десять килограммов папок, подписала какую-то бумажку и трудоустроилась редактором отдела прозы! То есть в первый раз стала завотделом, начальством.

Одиннадцать произведений я раздолбала с чистой душой, а вот на двенадцатом начала лить слезы счастья. Это был роман, написанный бывшим военным танкистом (или кавалеристом, не важно). Он мальчишкой воевал под Курском, вел дневники (что каралось расстрелом), сохранил их (десять лет лагерей ему светило за это) и теперь написал всю правду. И нашел куда послать, в «Щит»! Эти ящеры из редколлегии не знали, какую бомбу им подложили. Я читала с горящими ушами. Передо мной был новый Гарсиа Маркес! Закончив толстенную рукопись, я немедленно позвонила по указанному телефону, сам автор лежал в тяжелом гриппе, и мои слезы и восторги достались его жене. Затем я написала рецензию, понимая, куда и что пишу. То есть хвалила не крамольное содержание, а как раз стиль, литературные достоинства, энергию и краткость изложения.

То был, напоминаю, девятый годок правления Брежнева, которого мы называли Ленькой и про которого надеялись, что скоро его сунут в Мавзолей, добавив к выбитой в граните фамилии «Ленин» две точки. Но мавзолей так и не стал «Лёнин» даже и десять лет спустя.

Я все отнесла в «Щит Родины», даже копии рецензий себе не оставила, экономя бумагу. Ежели и есть в доме было нечего, так уж что говорить о драгоценной бумаге!

Результатом было то, что рецензию на гениальный роман то ли перенаписали, то ли вообще ограничились легким скандалом с автором, который явился, обнадеженный своей женой, в «Щит Родины» после тяжелого гриппа и неизвестно, получил ли обратно и свою рукопись-то.

Народ в «Щите», если что, легко расправлялся с ситуацией, особенно одна редакторша, назовем ее Марфа Людвиговна. Моя крестная Ася, знаменитая Анна Самойловна Берзер из «Нового мира», хохоча, рассказывала мне, как Марфута из ее статьи о Пушкине выкинула последнюю строфу «Памятника» («И долго буду тем любезен я народу … что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал»), мотивируя это тем, что места мало. На самом деле они там просто боялись пушкинских намеков. Так называемого неконтролируемого подтекста.

Отдельным образом я была знакома с Людвиговной, мы сидели с ней за одним столом в 1971 году в Доме творчества в Переделкино. Я попала туда случайно, по протекции «Нового

мира», откуда мне написали бумажку в Литфонд (та же Ася Берзер подписала), чтобы мне предоставили там возможность работать над новыми произведениями. С этой бумагой я пришла в отдел путевок, и литфондовская красавица Абрамовна, зеленоглазая львица с золотой гривой и парой нефритовых серег под цвет глаз, меня спросила:

— Как у вас с деньгами?

Я ответила:

— Как у всех.

Абрамовна дико захохотала и сказала, что за эти слова она мне даст путевку!

(Она знала толк в приносных деньгах, как мне потом объяснили, и потому хохотала от души.)

И я оказалась за одним столом с Марфой Людвиговной. Такая живая старуха, бюст как у ростральной колонны, и так хочет со мной подружиться, даже напечатать в своем журнале! Хотя смотрит на меня с явным ужасом. Она мне много о себе рассказывала, и что муж у нее писатель:

— Волк, волк, настоящий волк! Вот вы его еще увидите и поймете, какой он волк! Поймете!

Они с мужем должны были меняться, и когда Марфутка отбывала на работу в свои присутственные дни, Волк, чтобы не терялось питание, приезжал из Москвы и ел.

В промежутках она мне признавалась, что он Дон Жуан и приводит все время домой новых жен (тут она на меня пронзительно глядела). И что, однако, он скуп как кремень, никому ничего не дает (опять пророческий взгляд).

У нас за столом сидел и Александр Антонович М., буйный, цветущий старик, переводчик и профессор, чье имя было в энциклопедии «Британника» (он сам так отрекомендовался). Они с Марфутой все время вели взаимную словесную канонаду, а приватно она мне рассказывала, что в ленинградскую блокаду жена М. сварила ему семь свежих кошек, она их обменяла на семь отрезов шерсти, которые он вывез в 1940 году из города Черновцы, этот город отошел к СССР как часть Западной Украины, а он туда въехал как журналист. А М. мне про ее мужа такое рассказывал (и про их союз), что и написать нельзя.

В Доме творчества отдыхала тогда супружеская пара инвалидов, они всюду ходили слитно, с палочками, иногда они хромали головами друг к другу, иногда кланялись врозь, в зависимости от того, кто с какой стороны шел. А.А. сказал:

— Тяжело говорить, конечно, но эти люди — олицетворение советской литературы.

В центре столовой стоял так называемый «овощной стол» с

вареной свеклой, капустным салатом и т. д., и к нему важно подходили с тарелочками в руках через весь зал прямые и стройные писатели.

— Это они так ведут себя здесь, потому что дома ходят на четвереньках, — говорил опытный А.А.

Когда появился Волк, это оказался сизоносый дед в белом пуху, он у него торчал из-под тюбетейки за ушами и выглядывал из рубашки на груди, и говорил этот дедушка только о деньгах, называя их «тугрики». Марфутка боялась как раз, что я увлекусь этим ее мужем.

Когда меня взяли на работу в «Щит Родины», она со мной не поздоровалась, а наоборот, спряталась. Дело в том, что еще в Переделкино я ей дала почитать три моих рассказа, и на этом наше знакомство прикрылось.

Короче, после всего произошедшего меня уволили из «Щита Родины» мигом.

Завершение этой истории было неожиданным. Бывший военный кавалерист занимал какую-то должность на телевидении и стал мне звонить с благотворительными предложениями — типа напишите мне заявку на трехсерийный фильм, мы вам заплатим шестьдесят процентов! Причем про что угодно! Про завод, про трактористов. Хоть про ткачих. Т. е. он хотел меня отблагодарить по-мужски. Он сказал, что он многим так помогает. Он добавлял все время: «Зная ваше материальное положение».

Это была так называемая система «перекрестного опыления». Работая на одном цветке, пчелки носили пыльцу на соседний цветок, где, допустим, давали командировки в ГДР или машины «Волга». А на первом цветочке распределялись дачи или, как в нашем случае, авансы за ненаписанные сценарий или книгу.

Я отвечала хитромудрому танкисту, что про ткачих и про завод я писать не буду, не смогу.

А несколько лет спустя он прислал мне по почте свою книгу, уже под другим названием и вдвое обкромсанную.

Тут я выступила буквально как карающая десница литературы.

— Вы че наделали? — спросила я. — Где ваш роман? Кто это читать будет?

— Осподи, — вздохнул автор. — Да я и это-то еле пропихнул, с редактором «Молодой гвардии» заключил договор на два фильма и еще кормил его в ЦДЛ весь период… Полгода буквально. А он все требовал: «Убери то, убери се». Не хотел из-за меня места лишаться. А сколько мне жить осталось! (Горестная

пауза.) Мы же профессионалы, рукопись должна быть опубликована и желательно при жизни!

Тут он, конечно, учитывал всю предыдущую историю литературы и категорически не хотел входить в мартиролог, т. е. список жертв, позиция понятная.

Но на этом наша история не кончилась.

В 1991 году мне присудили немецкую Пушкинскую премию. И по этому поводу мне привелось посетить бывший кабинет секретаря правления Союза писателей Ю.Верченко.

Странно, но этот могучий толстяк Верченко (говорили, что он полковник КГБ), которого многие поминают в сатирическом ключе, отдельным образом меня почему-то любил как писателя. Когда, к примеру, я пришла к нему в первый раз, просить квартиру, мотивируя это тем, что у меня трое детей и двухкомнатная квартира площадью 31,4 м, он сказал, что квартиру мне дать не может, а триста рублей на лето может. И спросил, возьму ли я. Я пожала плечами и согласилась. И мне дали материальную помощь.

(Было несколько форм спасения писателей от голода — бюллетени, мат. помощь и семинары в домах творчества, где кормили и можно было тайно привезти и пропитать ребенка, а то и двух. О, голодные времена!) Какой-то остряк даже сказал про бюллетени, что если бы писатели не болели, они бы умерли с голоду.

В пору моего вторичного визита (в 1987 году) к Верченко я написала письмо Горбачеву, что мне через год исполняется пятьдесят лет, я член Союза писателей, а у меня не вышло ни одной книги. И что, ежели у меня эту книгу опубликуют, я отдам гонорар в помощь нуждающимся, в обновленный (старому я почему-то не доверяла) Красный Крест. И через месяц мне позвонил некто Эдик, референт секции драматургии, со словами:

— Люся, я получил ваше письмо.

— Эдик, я не вам писала.

— Но пришло ко мне. Я могу вас включить в очередь. Но предупреждаю, у нас в первую голову идет очередь мертвецов. Никак их-то не напечатаем.

— И сколько лет ждать?

— Ну, лет десять.

— Эдик, немедленно верните мое письмо тем, кто вам его дал. Или лучше всего Верченко.

После этого Верченко меня вызвал. Я пришла, секретарша тепло со мной поздоровалась и тут же доложила. И он меня сразу же пригласил в кабинет. Кто-то там у него сидел, он с этими

людьми быстро закончил.

Начал он свою беседу тоже очень ласково:

— Вот вы тут пишете… что отдадите деньги. У вас же, насколько я знаю, через край не переливается? А где у вас книжка лежит?

— В «Московском рабочем» у редактора Нины Буденной, она моя однокурсница. Она хочет напечатать, но нет возможности.

Он мне сказал, что, со своей стороны, тоже обещать не может ничего, однако через месяц позвонил и сказал, чтобы я шла в издательство «Московский рабочий», там случайно выделили на этот год дополнительные единицы.

Книжка вышла, я не хотела с ней идти благодарить Верченко, пока он сам мне не напомнил. Я, к сожалению, плохо к нему относилась. И я подарила ему свою книжку «Бессмертная любовь» с многозначительной надписью «Крестному отцу этой книги». И секретарше я тоже подарила экземпляр.

И я действительно отдала свой самый первый и самый крупный зарубежный гонорар в фонд «Антиспид» журнала «Огонек», это были деньги за книгу «Бессмертная любовь» в итальянском издательстве «Мондадори», но с этим фондом ничего хорошего не получилось. То ли эти деньги пошли на что-то другое, не знаю. Во всяком случае, насчет борьбы со СПИДом сведений у меня нет.

Бедного Верченко смыло волной перестройки, и в его кабинет вселился как раз мой знакомый кавалерист-телевизионщик, а узнала я об этом случайно.

В тот год (1991) в стране царила голодуха. Союз писателей разделился на три или четыре организации, каждая присвоила какое-то помещение. В магазинах было шаром покати. И писателям стали давать недорогие талоны на обеды. Уже в начале 1992 года и я пошла со своими приятелями в ЦДЛ. Мы получили талоны и с интересом людей, приобщающихся к военному коммунизму и к коллективизму, сели за столик, где уже обедал секретариат одного из вновь образовавшихся союзов писателей, поэтесса-активистка и романистка. За соседним столом сидел человек по фамилии Калинин, референт немецкого отдела иностранной комиссии. Калинин подошел и сказал мне:

— Вы хоть знаете, что немцы, Фонд Топфера, вам присудили Пушкинскую премию? Наши получили письмо в августе и спрятали его.

Я это знала. Мне под большим секретом сообщили болельщики из недр инокомиссии.

— А вы знаете, что союз писателей отказывается предоставить им помещение для вручения вам премии? Опять

пришел от немцев запрос и опять им отказали. А по условиям премии она должна вручаться именно в Союзе писателей!

— Опять отказали?

Услышав такое, конкурирующий Союз писателей в числе двух активисток заявил:

— Вот они все такие! А пойдемте, Люся, в их секретариат!

Ну мы и пошли. Это была знакомая приемная Верченко, и та же самая секретарша меня радостно приветствовала. Она тут же пошла доложить и вернулась скучная, пожала плечами:

— У него народ, он принять вас не может.

Активистки стали шуметь и специально выкрикивать обидные для конкурирующего союза вещи. Таким образом осуществлялась наглядная борьба между двумя Союзами писателей. У маленького союза, где заседали мои новые знакомые девушки, была крохотная комнатушка под крышей, а тут имелся целый этаж и такие хоромы (бушевали они). А премию почему ей не вручают?

И тут из кабинета Верченко вышел мой телевизионный танкист, причем со страдальческим выражением лица, как будто у него отнимали завоеванное по праву.

— У вас что, нет комнаты вручить ей премию? — спросила одна грубая активистка, поэтесса. — Такие палаты у вас, прямо залы! Этаж целый! И нет комнаты?

— Да, — твердо ответил мой танкист, — нет!

— А в будущем месяце?

— План сверстан, тоже нет.

Мне вся эта история надоела.

— А ну и пошли вы все тогда в жопу, — громко сказала я и, уходя, добавила угрожающе: — И я отказываюсь получать вообще тут премию.

И мне действительно не вручили премию в Союзе писателей. Наоборот, вскоре на меня было заведено уголовное дело по факту оскорбления президента СССР М.Горбачева. Может быть, танкист по каким-то своим каналам это предвидел…

Итак, на чем мы остановились? На том, что боевой кавалерист-писатель не хотел попадать под горячую руку Большой литературы, пополнять собой список страдальцев, наш мрачный мартиролог. Вместо этого он пополнил собой список секретарей. Я представляю, чего это стоило телевидению…

То было начало бешеных девяностых.

3. Командировка в сторону Манна

А теперь надо вернуться в 1973 год.

Мы как-то в условиях безработицы прожили зиму, а летом моего сына Кирилла наша районная медсестра Валечка устроила в санаторий для астматиков. Она ходила к нам, делала уколы и ставила банки моему сыну, мы с ней дружили. Она была в курсе нашей жизни. И однажды специально пришла, опытным взглядом окинула нашу квартиру, а затем сказала: «Есть путевка для Кирилла в санаторий на июль. Собирай его».

Так я оказалась временно свободной от проблемы как пропитать ребенка и пришла просить командировку в журнал «Сельская молодежь». В период командировки на каждый день полагались суточные 2 рубля 60 копеек. Это были деньги!

Дружественный человек, завотделом прозы журнала, хороший прозаик Боря Ряховский, которому так и не удалось напечатать мои рассказы (в результате проделанной им работы каждое упоминание моего имени вызывало на редколлегии громкий смех главного редактора Олега Попцова и сотрудников) — этот Боря даже обсудил со мной, куда я хочу поехать. Он вообще опекал вдов писателей, нищих поэтов и непечатаемых авторов (среди которых были такие киты как Ю.Домбровский).

Я-то собиралась уже давно, такая была мечта, в литовский город Ниду, где стоял дом моего тогдашнего кумира Томаса Манна. Но в Прибалтику мне командировку дать не могли. Все равно что за границу!

Получивши отказ, я посмотрела на карту и нашла город Верхнедвинск, как раз на границе Белоруссии, Латвии и Литвы. Оттуда я намеревалась автостопом поехать через Литву в город Ниду. Когда-то я использовала этот вид транспорта в казахской степи, он был там единственный.

Боря Ряховский выписал мне командировку.

И я оказалась в Верхнедвинске, грязном городке, где не было никакой еды в магазинах. Пройдясь утром после поезда по мокрой главной улице, я нашла гостиницу и для начала сутки проспала (1 р. за 24 часа), а потом пришлось встать, купить что-то для пропитания (к счастью, в столовой нашелся пирожок с картофелем) и стронуться с места.

Пешком я добралась до окраины, спрашивая дорогу, затем пошли поля.

Тяжело было даже и думать о том, где придется ночевать, как передвигаться и т. д. В казахских степях водители были даже

рады любому попутчику. А что будет тут?

И я впервые подняла руку, когда через час, издали громыхая, качаясь как корабль при сильном шторме, показался грузовик. Он остановился!

Я начала свое путешествие автостопом.

И так, в кузове трехтонки, держась за борт, подпрыгивая вместе с пассажирками-доярками по жутким ухабам, налитым глинистой жижей, по типичной советской дороге я и дотряслась до государственной границы Белоруссии. Затем пришлось слезть и идти пешком к Латвии. Карта показывала, что это рядом, буквально в одном миллиметре.

Пройдя километра два, я ее увидела. Латвию.

Не надо было никаких пограничных столбов и указателей, чтобы это понять. Безо всякого перехода сразу от колдобин и глубоких рвов, от шишковатых, поросших сорняками полей начиналось гладкое как сталь шоссе, оно лентой изгибалось к горизонту, по сторонам стояли строгие строевые леса, ели и сосны как на подбор. На обочинах аккуратных кюветов густо краснели земляничные россыпи.

Честно говоря, я не видала такого никогда.

Тут же я стала собирать землянику. Даже как-то неловко было ее есть (обычно собираешь для кого-то или про запас). Я жалела, что нету никакой баночки. Страшно жалела, что со мной нет сына Кирюши.

Начинались волшебные края, заграница!

Я пошла быстрым шагом по абсолютно пустому шоссе, дальше должен был быть какой-то перекресток и хоть какое-нибудь автомобильное движение.

Звон в ушах от тишины, запах теплой смолы, хвои, огромные земляничины, темные, блестящие как драгоценные камни, в сочной, грубой, яркой зелени самой сердцевины лета… Никогда со мной ничего подобного не происходило. Это был рай.

(Теперь-то я могу сказать, что в Прибалтику шло все, чего были лишены остальные довольно нищие республики — например, это были средства и материалы для содержания дорог, т. е. щебенка, битум, асфальт самой высокой марки. А также автомобили, кирпич на строительство, лес на мебель, текстиль, трикотаж, обувь и т. д. Не говоря о металлоизделиях, бензине и химии. Западные республики не доили так же нещадно, как другие. Например, в Чебоксарах был случай, когда озверевшие от бескормицы бабы (именно бабы, нечем было кормить детей) легли на рельсы поперек очередного состава, груженного изделиями местного мясокомбината. Видимо, их дальнейшие следы надо было искать в милиции, куда сажали за хулиганство

на 15 суток. Бесперебойно шли вагоны-холодильники с дефицитом, т. е. колбаса и сервелаты, сосиски и ветчина, шли в Москву, сыры и сметана ехали туда же, а бедным голодным чувашам не перепадало ничего… Им оставалось только садиться в автобус или в общий вагон поезда и ехать в столицу стоять в очередях. Это был редкий случай движения сопротивления.

Да, Прибалтику партия и правительство содержали как собственный курорт. Они туда частенько ездили отдыхать. Правительственных дач и санаториев было множество, все побережье. Начальственным лицам нравился безопасный местный климат, старая архитектура, красивые города, но больше всего им подходила европейская аккуратность аборигенов. Тот же номер (европейская аккуратность) абсолютно не прошел в Калининграде, где местных полностью выселили. Приезжие руководители разворовали все фонды, работяги и колхозники привезли с собой нравы и обычаи русских окраин. Понаставили развалюх-сараев, цветов не выращивали, дома не ремонтировали, разводили страшную помойку везде и пили беспробудно.)

Как-то я, ошалев от всего этого великолепия, все-таки поймала попутку и добралась до города Краславы, это была пока что Латвия, маленький город, целиком сохранившийся с прошлого века, — даже вывески были написаны на стекле буквами стиля модерн, как будто вдоль улицы стояли декорации фильма про дореволюционные времена… Городок весь был на холмах. Улочки ныряли и вылезали из-под крутых горок. На одном перевале, поднявшись наверх по мостовой, я увидала, что внизу стоит над обрывом в полной нетронутой красоте католический храм с огромной статуей Мадонны, тоже диво дивное.

Это была чистая заграница.

Затем я оказалась уже в Литве (срезала уголок Латвии через совершенно неинтересный промышленный Даугавпилс), и в городке Зарасай на автобусной станции зашла в буфет, поскольку оголодала. В Верхнедвинске, в Белоруссии, мне с утра удалось купить только недешевый пирожок с картошкой в буфете гостиницы. Столовую я в городе не нашла, а в ресторан соваться не решилась.

В пристанционный зарасайский буфет я ступила довольно неуверенно. Бог его знает, какие у них тут, за границей, цены.

Тут же у меня вылезли глаза на лоб: в витрине стояли невиданные блюда — сырники со сметаной, какие-то огромные картофельные котлеты, шницеля, сосиски с капустой, а в меню я заглянула — слова иностранные и непонятные, а цены просто копеечные, боже ты мой! Какие у них тут деньги?

Буфетчица не понимала по-русски принципиально.

Все-таки удалось добыть путем тыка и мыка сырники со сметаной и стакан чая, а мелочь тетенька выбрала у меня с ладони.

Зарасай стоит на огромном озере, из воды поднимаются стены древнего рыцарского замка, так я запомнила.

Я была настолько потрясена всеми этими видами, что ходила как во сне.

Тем не менее дело шло к вечеру. Погодка была облачная, сырая. Дул ветер. Продирало до костей после всех этих прогулок. Надо было устраиваться на ночлег.

На глаза после блужданий и вопросов попалось что-то вроде гостиницы. Дрожа от холода, я вошла и сунулась в окошечко администратора. Та ответила по-русски. И у них была койка свободная! Вещь совершенно небывалая, в те времена в гостиницу попасть было невозможно! (Номер в Верхнедвинске я заказала себе из редакции.)

Я заплатила семьдесят копеек и свалилась как сноп, предварительно выстирав в общем душе белье и свои единственные белые брючки.

Пробуждение мое было резким: кто-то ритмично стучал по полу.

Это оказалась новая соседка. В прозрачном газовом платочке, повязанном вокруг бигуди (такие железные трубочки, на которые в то время женщины еженощно накручивали волосы, чтобы добиться кудрей. Спать на «бигудях» было жутко неудобно, но что оставалось делать!), то есть она была с огромной как неровная тыква головой, и в трениках, халате и тапочках она колотилась на животе по полу, ухватив себя за щиколотки задранных ног! Это была у нее утренняя гимнастика. Упражнение «лодочка».

Баба была немолодая, за сорок, румяная, сбитая крепко как та самая лодочка, с лицом крестьянки, т. е. иссушенная ветрами и дождями. Пока мы пили чаек, она рассказала мне свою жизнь. Она в юности была «уполминзаг», то есть уполномоченная министерства заготовок. Она выколачивала из соотечественников, литовских крестьян, налоги, а также шерсть, кожу, овощи, зерно, мясо, яйца и молочные продукты. Она, случалось, даже проходила десятки километров пешком, транспорта не было, и бывало, что уйдя в соседнюю деревню и вернувшись в сельсовет, она заставала одни трупы. Море крови. Литовское движение сопротивления, «лесные братья», тоже работали по заготовкам, тоже собирали свою дань… То есть хлеб, мясо, яйца и все остальное. И убивали тех, кто снабжал русских. После одного из таких случаев она, уже устроившись на ночлег, услышала голоса,

сообразила, что «братья» возвращаются за ней, еле успела вышмыгнуть глубокой ночью, выбралась на дорогу и услышала стук копыт, и буквально пробиралась всю ночь кустами, чтобы ее не увидели лесные. Недавно она тяжело болела, перенесла операцию, ходила еле-еле, «по стене». Что за операция, она не уточнила. И начала погибать. Слабость, чернота в глазах. И тогда она стала опять делать гимнастику! Через силу, через боль. И выправилась. «И тогда я каждое утро тепер занимаю гимнастика тшас!»

Она угостила меня черствыми домашними пышками.

Дальше мой путь лежал вокруг Игналины (это страна озер, там же располагалась атомная электростанция) через город Укмерге. Какая-то залетная хмельная литовская свадьба на своем автобусе подхватила меня с шоссе и чуть не увезла в сторону гулять. Но я твердо ехала в Вильнюс. Они высадили меня на пустом шоссе.

Вот рассказ о том, что затем произошло со мной на этой дороге.

* * *

Я встретила свою родную душу рано-рано утром, приехав в Вильнюс на попутке, — это была немолодая женщина на пустой туманной улочке близ храма. Она шла явно оттуда. Гудели колокола. Сыпал мелкий дождик. Пахло дымом (люди топили камины), блестели черепичные крыши, старые стены источали сырость, я шла по Вильнюсу! По городу! Я была в безопасности, слава тебе, Господи. Я чуть не плакала.

Надо сказать, что накануне над моей жизнью нависла нешуточная угроза. Я ближе к вечеру голосовала на шоссе, и меня взял на борт русский дальнобойщик. «Мне до Вильнюса». — «Да, мы до Вильнюса». Парень был тихий, симпатичный, к таким сразу чувствуешь доверие. Но он был не один — за ним шел еще грузовик. Потом, ближе к ночи, вдруг обе машины свернули после моста на боковую дорогу и въехали на какой-то плешивый плац на берегу.

— Отдохнем, — объяснил мой водитель.

До шоссе было достаточно далеко, километров пять. И уже солнце садилось, то есть было где-то часов десять вечера. Мост вдали стоял совсем пустой.

Из второго грузовика спрыгнул здоровенный бугай с небольшими глазами. Поздоровался.

Запалили какой-то свой огромный, со струей огня, примус,

поставили котелок. Достали две бутылки водки. Так. На сырую, топтаную траву постелили брезент. Поставили приготовленные три мутных стакана, нарезали хлеб, колбасу, огурцы своими черными руками. Два ножа у них было, у каждого по складному ножику.

Какое-то странное чувство окончания жизни заползало постепенно, вместе с холодом, в мою душу (как у овцы, которую куда-то привезли и выгрузили около костра), но у овцы нет речи, а то бы, может быть, она взмолилась и заплакала. Я болтала, делала вид, что все нормально, и разговаривала преимущественно с Алешей, моим водителем. Делала вид, что он мне нравится. Спрашивала его о родителях, об армии, и откуда он родом, рассказала о своем сыне, который сейчас живет в детском санатории. И бываете ли вы в Москве, вот мой телефон (дала номер бюро проверки). Бугай тоже вставил пару слов о жене и детях. Что-то я разливалась соловьем о том, что я журналистка и изучаю жизнь на дороге, буду писать книгу. Протянула им свой блокнот, чтобы они там оставили свои имена и телефоны. Они, сомневаясь (бугай похохатывал над Алексеем), написали телефон автобазы. Хорошо, что они у меня не спросили удостоверение — оно отсутствовало. Я нигде не работала. И в путешествие автостопом я отправилась именно потому, что на билеты денег не было.

Поели. Они выпили всю водку. Я сказала, что в завязке. Поверили?

Потом бугай (Алексей ушел в кусты) спросил меня, с кем я буду спать.

Я ответила:

— С Алексеем, вы что.

Он не стал спорить. Это было законное право друга. Я и ехала с тем и должна была выбрать того.

Совершенно спокойно он ушел в свою кабину вдалеке и угомонился там на верхнем сиденье, хотя время от времени всплескивался как запятая — так ведет себя червь, если поднять над ним камень и взбудоражить его покой.

Алексей вернулся, что-то спросил меня. Я поняла и ответила: «Нет, не могу, извините». Он не стал возражать. Тихий, нормальный, очень усталый (плюс бутылка водки) человек.

Я залезла на верхнюю полку над сиденьем, прикрылась своим свитером. Алексей заснул внизу.

Я еще видела, как в той, другой кабине, ворочается и поднимает маленькую головенку бугай, смотрит. Закат все не уходил, было светло и страшно.

Уже в пять утра Алексей поднялся, спрыгнул на луг, пошел к

реке. Я перебралась на свое место внизу.

Я боялась выйти, справедливо подозревая, что меня могут здесь кинуть.

Он вернулся, не говоря ни слова, и мы поехали.

Он высадил меня где-то уже в городе, я поблагодарила и сошла под дождь, и очутилась в Вильнюсе, в мирном городе в семь утра.

Повторяю, пахло дымом, небо было низкое, стоял легкий туман, в храме звонили. Я шла счастливая, вся дрожа после теплой кабины.

И тут мне и встретилась эта женщина лет пятидесяти, скромно и аккуратно одетая, в платочке.

Я знала, что тут надеяться на гостиницу нечего, и спросила ее, где здесь гостиница. Так голодный нищий спрашивает, а где здесь можно достать хлеба.

Она все сразу сообразила, небогатая женщина в платочке, и на плохом русском языке очень любезно ответила, что в гостиницах сейчас мест нет, а если я хочу, то она отведет меня к себе.

Вот так да! Это небывалый случай даже в гостеприимной России, как где-нибудь в Туле, где можно зимним вечером спросить у двух девочек, кто бы мог мне сдать койку на ночь, и тут же девочки ведут тебя к себе домой и стелют раскладной диван, на котором ты будешь спать рядом с одной из девочек — после тихого ужина, когда за столом соберется вся семья, отец, бабушка, двое деток. А мама их только что умерла, тут, под этой неяркой, экономной лампочкой, среди бедной мебели, и щемит сердце от того, как просто и доверчиво девочки мне отдали половину дивана…

И тут то же самое, ранним-ранним утром эта литовская женщина в платке приводит тебя в свою квартирку — это половина верхнего этажа, практически чердачное помещение двухэтажного домика.

Небогато, чисто, вопиюще небогато, только самое необходимое. Никаких уютных мелочей, ненужного семейного скарба типа статуэток, кувшинчиков, салфеток, подушек, флакончиков, фотографий в рамках, цветов в горшках. Пусто. Какие все-таки аскеты эти литовцы!

Тебя поят чаем с сухариками, подсовывают масленку и сахарницу, тебе дают ключ и сообщают данный адрес, затем ты идешь в город, ходишь под дождем среди чужих прекрасных домов старого города, в оживленной, нарядной, хорошо одетой толпе, дамы в шляпках, о!

Заворачиваешь в редакцию литературного журнала, где

главный редактор Альгис Балтакис беседует с тобой о своем выдающемся и самом архаичном в мире литовском языке, который родня санскриту, есть еще какие-то селения в Индии, в горах, там говорят на почти литовском, о чудеса!

Но это все присказки, он знает, что ты тут недаром, и ты преподносишь главному редактору свои совершенно ему не нужные тексты на русском, он берет не сомневаясь, спрашивает, оставлен ли обратный адрес, о боги. Он не знает, что ты есть запрещенный автор у себя дома, это идет 1973 год. Два рассказа в журнале «Аврора» за 1972 год, «Рассказчица» и «История Клариссы», все. Первой книге суждено появиться только через пятнадцать лет.

Он ничего не знает и берет эти рассказы! Но не гарантирует ничего, заранее извиняясь, — и через три месяца тебе в Москву приходит перевод опять-таки с извинением, что рассказы напечатаны в литовском журнале для женщин! Тридцать два рубля! Господи!

Да, я сидела в кабинете главного редактора после недели пути пешком, в грузовиках, в жигулях, на мотоциклах и в свадебном автобусе (где все были веселы и безумно радушны, пели мне битый час литовские песни, и я им пела что-то цыганское, они умилялись до назойливости), после ночевок в гостиницах за рубль — и вот ты и в цивилизации, с тобой разговаривает человек твоей профессии (поэт!), редакция, пишущая машинка, счастье!

Потом ты бродишь опять под дождем, заходишь в кафе, боясь цен, там сидят дамы в тех же шляпках (дама никогда не снимет шляпки в общественном месте. Не снимает шляпки и светлых перчаток!).

Дамы пьют кофе из чашечек, очень маленьких и белых, некоторые едят крохотные пирожные маленькими вилками и очень ловко, как-то без участия губ, то есть не делая изо рта дудку и потом не помогая себе высунутым языком, браво.

Денег у меня только на кофе. Четкая смета, в день рубль на еду, рубль на ночевку в гостинице. Сомнения с меню в руках, сидя под стоящей официанткой. Смятение с меню в руках. Не терять лицо! Я русский писатель!

Из чистого, уютного кафе я ступаю опять под дождь в своих мокрых туфлях. Зябну после тепла.

Наступает сиреневый вечер, огни дрожат в лужах, горят витрины с немыслимыми товарами, мокрая мостовая дымит легким туманом, потому что на самом деле лето, и тут путника, затерянного в чужом городе, охватывает мгновенный ужас — как найти ту окраину, тот дом, адрес где адрес на каком трамвае в

какую сторону у кого спросить о о о?

Но как-то — и это тоже счастье — все обошлось, и впотьмах, взобравшись по крутому шоссе, среди очень редких огней и ровно подстриженных кустов, я иду по дорожке, вижу тот самый дом, вхожу в сени, поднимаюсь по темной, пахнущей старинной пылью лестнице.

Оказывается, меня ждут с ужином. Я смущена. Я потратила свой рубль на кофе и пирожок (надо было не потерять лицо перед официанткой), и у меня ровно еще рубль на ночь (воображаемый номер в гостинице).

И я могу заплатить Ядвиге только за ночлег! А за ужин не в силах!

Путано отказываюсь, язык не поворачивается говорить о деньгах. Она (Ядвига) не принимает моих слов всерьез, она же готовила и ждала меня!

Она кладет на тарелочку мои сырники, ставит баночку сметаны, наливает чай. О счастье! Горячий чай! Я шла домой два часа.

Она спрашивает.

Я отвечаю.

Да, я проехала много литовских городов, сел, деревень. Где была? Была ли в Паневежисе (ударение она делает на «и»)?

Да! Там ведь театр! И я да, ходила вокруг этого театра, хотела оставить им свою пьесу, но там было закрыто на лето. Знаменитый театр с прекрасными актерами! Банионис, да!!!

Да, Банионис, Будрайтис, Мильтинис, отвечает Ядвига. Я из Паневежиса.

Да?! О, как здорово! Красивый город весь в цветах, какой парк! Скверы! Пеларгонии на всех балконах!

— Я из Паневежиса, — повторяет она, передвигая туда и сюда сахарницу, масленку, баночку сметаны. — Я переехала в Вильнюс, купила тут квартиру себе.

— О, здорово!

— Да, я не могла больше жить в Паневежисе.

Опять у нее ходы в этой шахматной партии на скатерти. Чайник чуть левее. Сметану рядом. Сахарницу на ее место.

— Вильнюс — красивый город, большой, — подтверждаю я, что-то предчувствуя.

— Я не могла жить там больше, мой дом сгорел.

Пауза. Язык не поворачивается отвечать.

— Я утром ушла на рынок, — бесцветно продолжает моя Ядвига. — Вернулась — все горит. Они сгорели, пока я ходила. Дочь, внук, муж, зять. Они спали все. Я их оставила во сне. С тех пор не могу плакать.

Молчание.

Свет, тусклый свет, экономная слабенькая лампочка из-под бедного абажура низко над столом. Как там, в Туле, в бедной сиротской, замершей за столом семье.

После этих слов что говорить. Наступает молчание.

Ядвига даже не пытается меня ни о чем спрашивать. По ее лицу видно, что она недовольна собой, слишком рано она выдала свою тайну. Надо было посидеть, побеседовать по-человечески, послушать ДО объявления. Надо было молчать.

Но как молчать? Она и так все молчит, здешним соседям не рассказывает ничего.

Новые знакомые не примут такого горя, будут шарахаться как от заразной больной. Как шарахались от нее в Паневежисе.

Каждый день в шесть утра она выходит из своего теперешнего дома в час, когда вышла из того дома в тот, последний раз, покинула мирных спящих, навеки уснувших детей. Куда она идет в шесть утра? Туда, где мы встретились. Она идет к храму.

Ядвига на следующее утро, однако, не уходит так рано, я еще с ней, тут. Она приготовила кофе, свежая булочка (все-таки сбегала в магазин) на столе, мед, масло. Запах кофе и дыма, бедная квартирка.

Я уезжаю дальше, к морю, у меня там дело, я должна видеть дом Томаса Манна, моего любимого писателя, я должна поклониться этому дому и там закончить свою пьесу, которую пишу по дороге.

Мне ехать и ехать, и надо спешить, автостоп не такое быстрое средство передвижения, а в конце августа нужно вернуться в Москву и забрать из санатория ребенка.

Кирилл астматик у меня, восьмилетний мальчик. А муж умер в прошлом октябре, умер, ушел, покинул нас. Ему было тридцать два года. Шесть последних лет он был парализован.

Ядвига неловко протягивает мне руку на прощанье, я ей тоже все рассказала. Я говорю хозяйке, что мой муж был такой худой, что выглядел как Иисус Христос на кресте.

Она тянется поцеловать мне руку. Она плачет вместе со мной.

Моя мама тоже всегда норовит чмокнуть нас с Кирюшей в руки.

Я еду на трамвае вон из города, опять становлюсь на пустынном шоссе. На поезд нет денег. Свобода, оглушительная свобода после шести лет больниц и упорной борьбы. Свобода еще на десять дней, а потом ежедневная жизнь, можно держать ребенка за руку, мое спасение, мое сокровище. Ядвига там одна, сухая ветка сожженного дерева.

4. В сторону Манна

Так что (возвращаясь из прозы в очерк) по Калининградской области мне пришлось ехать на поезде, там я уже побоялась выходить на трассу с поднятой рукой.

Но ничего, один день не поесть — и вот уже сэкономлены деньги на транспорт.

В Калининграде я поселилась в центре, в красно-кирпичной гостинице, вокруг которой ночами кипели нешуточные страсти (этот отель в г. Кенигсберге был, как мне сказали, во время войны офицерским борделем). Крики, топот, мат. Женский визг и хохот. Переговоры. Оплеухи с последующим истерическим дамским плачем. Музыка из кабака, когда кто-то открывал двери.

Рыболовные и военные суда, судя по всему, стояли на местном рейде. Калининград — это портовый город!

Дальше приходилось искать пути, чтобы проникнуть на Куршскую косу. Там, в городе Ниде (русские называли его в шутку город Гнида, хотя это было очаровательное, сказочное место по тем временам, пряничные дома, иностранный курорт) — так вот, в г. Ниде стояла бывшая дача моего божества, Томаса Манна. В ней, по слухам, располагалась теперь библиотека и музей. Там я рассчитывала закончить пьесу «Сырая нога», которую писала каждый день по пути.

Но в Ниду требовался пропуск, это уже была пограничная зона.

Что делает журналист, оказавшийся в чужом городе? Он идет в местную газету выяснять пути.

В газете пропуск мне не дали, вместо этого сказали, что один местный завод манометров жалуется в письменном виде за подписью рабочих, что у них горсовет отобрал спортивный зал, просто взломали здание их спортивной базы и теперь строят там какую-то статую к тридцатилетию освобождения Калининграда от фашистских захватчиков (т. е. это было освобождение города Кенигсберга от немецких оккупантов, что само по себе звучит интересно).

И вот, сказали мне, указывая на письмо, как раз у завода манометров есть на Куршской косе база отдыха, они и дадут туда пропуск, если им помочь.

На заводе меня направили в профком. Председатель, озабоченный мужик, тут же написал мне адрес взломанного спортзала. Я туда пошла.

Действительно, двухэтажный кирпичный дом, бывший то ли

детсад, то ли газовая подстанция, зиял огромной прорехой в боку, от окна до окна. Дыра была временно забита досками.

Я нашла дверь.

Внутри располагался спортзал высотой в два этажа с балконом в торце.

Рабочие завода, как сказали мне в профкоме, перестроили здание методом народной стройки, сами в свободное время. Что и было, понятное дело, основанием для всеобщей злости работяг — как же так, мы строили, а они взломали и ворвались!

А испокон веку власти если чего боятся — так это взрывов справедливого гнева рабочего класса. Крестьян не боялись с тридцатых годов, с раскулачивания. Ими управляли свирепо. А вот пролетариат, тогда еще окончательно не спившийся, представлял собой непроверенную силу.

А ворвались городские власти в спортзал потому, что нашли к тридцатилетию образования города Калининграда дешевую статую и дешевую бригаду скульпторов, однако у этой бригады был свободен, видимо, только один месяц. Авральное обстоятельство. Ждать было некогда.

Все это мне объяснили потом рабочие завода.

Горисполком поискал и нашел подходящий объект. Спортзал летом кому нужен? Физкультурники и на воздухе могут побегать. И спрашивать не надо. Ночью к объекту пришел стенобойный механизм с железным ядром и взломал стену, и все. Дальше поработал экскаватор.

Тут же московская бригада халтурщиков приехала, им завезли глину, доски для лесов и т. д.

Я поднялась по лестнице и оказалась на балконе над залом. Статуя уже была готова до затылка. Вокруг нее стояли леса. Скульпторы заканчивали темечко, сидя как обезьяны на верхушке пальмы.

Один рабочий сказал, намекая на скульптора:

— Это он свою жену изобразил. Вон он. Егунов его фамилия.

Рабочие невесело засмеялись.

Скульптор, маленький, полненький, степенно ходил у подножия своего произведения. Над ним матерински возвышалась пятиметровая глиняная фигура толстой женщины с огромной талией и длинным подолом, под мышкой у нее находилось что-то вроде ушата дном наружу.

— Это у него была статуя для фонтана, для выставки достижений в Москве, — сказал мой гид. — У нее был рог изобилия, и из него должна была литься вода! Но его фигуру там не приняли. А наш (работяга показал пальцем вниз, на высокого мужчину в серо-голубом блестящем костюме) задешево купил!

Имелся в виду председатель горисполкома.

— Только рог изобилия попросили заменить на бочку с селедкой. Какое у нас может быть изобилие! — вмешался второй рабочий.

— Да, но селедки у вас нету, — поддержала я разговор. — Я как раз хотела купить, не нашла. Думала, город рыбаков.

(В городе не было совершенно никакой еды в магазинах. На полках стояли только маринованные кабачки и консервы «Завтрак туриста», в которых содержалась перловая каша с нехорошим запахом, имитирующим аромат мяса.)

Работяги засмеялись:

— Бочку тоже решили не делать, у нее под мышкой будет одно днище с надписью.

Я спустилась вниз и подошла к статуе.

— Здравствуйте, я журналист из Москвы! — приветливо сказала я.

Скульптор как бы недовольно поморщился:

— О! Уже пронюхали. От журналисты! Ну мы же еще не закончили… Рано поднимать волну. Забегали, понимаешь.

Он был приятно взволнован.

— А можно задать вам вопрос. Вот сколько стоит такая скульптура? И во сколько обойдется ремонт взломанного спортзала?

Оба мои собеседника одновременно повернулись и быстро пошли вон.

— Постойте, куда же вы?

Они буквально улепетывали, я выскочила за ними, но они сели в «волгу» и уехали.

Рабочие хохотали наверху.

Я поднялась к ним:

— А что на заводе вашем делают?

— Брак, — ответил один.

— Манометры и промышленные термометры, — ответил другой.

— Заводской брак семьдесят процентов, остальные тридцать процентов доходят по дороге, — засмеялся первый.

— А как же вы… Живете?

— Не хуже других. Дом скоро будем строить. Тоже сами, как этот спортзал, методом народной стройки.

— Только участка нам не выделяют.

Потом я узнала, что предприятиям давали разрушенные еще в годы войны дома, их еще можно было восстановить, немцы строили на века.

Вооруженная материалом для фельетона, я вернулась в

профком и сказала, что статью напишу. Мне тут же выписали бумажку, бесплатную путевку на базу отдыха. Сказали, что питание ваше, а посуду, плиту, комнату, койку и белье дадут.

Для солидности я попросила председателя профкома найти мне телефон обкома партии. Он порылся в справочнике и дал мне благоговейно и телефон, и имя секретаря обкома. Он, кажется, поверил в серьезность моих намерений.

Я тут же позвонила, чтобы подтвердить свой статус, но там, видимо, все уже ушли.

Сразу же я, выйдя в город, купила два кило картошки и черного хлеба. На вокзале я приобрела билет на электричку, предъявив кассирше пропуск в погранзону, все честь по чести, и вечером уже заселилась в свою комнату на базе отдыха, в двухэтажном деревянном бараке с общим коридором. Сортир был во дворе. На первом этаже располагалась кухня с газовыми плитами и посудой.

Базу завод манометров имел на берегу прекрасного озера. Море было на расстоянии десяти минут хода. На территории находились: озеро, старый барак для рабочих, сортир над озером, умывальня с кранами и новенький двухэтажный дом со всеми удобствами для руководства.

Воздух был чудный, морской. Кстати сказать, вокруг базы отдыха высились старинные двухэтажные немецкие дома под черепицей, но в большинстве своем это были руины. Черепицу Россия не производила. Рабочие на турбазе мне рассказали, что после войны приехавшие по оргнабору жили в этих домах, ничего не ремонтируя, пока черепица не обрушивалась. Потом перебирались в следующий и т. д.

Утром я на всякий случай позвонила в обком партии. Спросили, откуда я. Из Москвы. А откуда. Ну, из журнала «Крокодил». Так. Я попросила связать меня с первым секретарем. Объяснила, что речь идет о грубом захвате и разрушении спортзала, построенного методом народной стройки рабочими завода. Я увлеклась и даже как-то укоряла секретаршу.

Меня не соединили с секретарем обкома, его не было на месте. Я пошла на берег озера и легла на травку загорать. Все. Профком не может быть в претензии. Я выполнила свой долг. Что еще нужно человеку? Солнышко, тишина. Бегают ребятишки. Звенят посудой отдыхающие жены на кухне. Я пошла на кухню, сварила картошки. Под столом валялась сиротка луковица. Я отрезала себе половинку. Что может быть лучше картофельного супа с луком? Да с черным хлебушком.

Пошла в соседний лесок. Набрала земляники. Купила на станции триста граммов сахару и сварила варенье. Соседушки

дали мне поллитровую банку с крышкой. Повезу домой Кирюше.

Поплавала в озере.

За что мне такая удача?

Статью я думала закончить сегодня же, но куда было спешить — путевку мне дали на пять дней.

Меня позвали к телефону.

Звонила секретарша секретаря обкома: он меня сегодня, оказывается, примет через час. Я легкомысленно ответила, что не приеду. Зачем? Во-первых, далеко. Во-вторых, все и так понятно. Большую часть статьи я уже написала. Секретарша после паузы сказала, что перезвонит, подождите. Через несколько минут она перезвонила: «За вами заедут, ждите». Все. Адрес, разумеется, был им известен.

На всякий случай я говорила кратко. Да. Да. Хорошо, от-лично. Дежурная смотрела в пол, навострив уши.

Тут же позвонил встревоженный председатель профкома. Он довольно настойчиво, в категорической форме потребовал от меня ничего не писать. «А нам в горисполкоме выделяют участок под застройку, — объяснил он. — Мне эта статья вообще не нужна». «Конечно, что вы, — отвечала я. — Разумеется, само собой».

Я быстренько все поняла.

Я тут же пошла погладила еще не высохшие белые брючки, на это у меня ушло десять минут, сушить их окончательно было некогда, оделась, подхватила сумку и не спеша выбралась вон.

— Уезжаете? — спросила дежурная, которой я отдала ключ.

— Нет, что вы, куда. Я на пять дней тут. А где магазин? Хочу купить постного масла.

— Масла? Да где же…

— А хлеба?

— Идите на станцию.

Она не глядела на меня. Я уже стояла у дверей. Пока она бы встала да пошла меня задерживать, я была бы далеко.

Отойдя на небольшое расстояние, я свернула за первый попавшийся угол и бросилась на шоссе. Сильно билось сердце.

Там я подняла руку.

А сама пошла в направлении, обратном городу Калининграду.

Сколько я слышала историй о пропавших журналистах, которых или не находили никогда, или находили несколько месяцев спустя в психбольницах, потерявших память, исколотых, в ужасном виде.

Не говоря о том, что никто бы никогда не опубликовал мою статью. Калининград был сомнительным и больным местом в

СССР.

Никакая машина не останавливалась.

Видимо, всем своим видом я демонстрировала нечто, посылала какой-то сигнал об опасности. Может быть, я старалась быть незаметной и в таких условиях ловила транспорт… Боялась «волг»? Не помню.

Сыну и матери без меня пришлось бы с голоду помирать. Я не могла исчезнуть.

Наконец, спустя много времени какие-то безопасные по виду красные «жигули» остановились. Дружелюбный молодой человек ехал в Ниду.

Границу с Литвой охраняли пограничники, проверявшие документы. Я и так весь этот путь просидела молча, а тут как окаменела. А вдруг им уже звонили?

Это же Советский Союз!

Но нашу машину они пропустили просто так.

Мы въехали в Литву, где никакая калининградская власть уже не действовала.

Я радостно простилась с водителем, нашла туристическую базу, там мне дали место в палатке. Уже было почти темно.

Я легла в сырую постель довольная и умиротворенная. Спаслась еще раз. Слава тебе Господи.

В лесу дико орала какая-то девушка.

Тем не менее, я заснула. Я убедила себя, что она орет по той же причине, по какой это бывает с мартовскими кошками. Да, крики были скорее победоносными. А то бы пришлось бежать звонить в милицию.

Дальше, осмотревши Ниду и закончив пьесу «Сырая нога» на застекленной веранде дома Томаса Манна (это на тот момент уже была гор. библиотека), я поехала в Клайпеду, где на прощание пообедала в ресторанчике на старом паруснике за огромные рубль двадцать, и ела самое вкусное в своей жизни, какие-то рулетики, заколотые деревянными шпильками (прощай, заграница!).

Но время моей поездки уже истекало. Прошла неделя. Надо было возвращаться.

Где я потом ни бывала, в каких красивых местах мира, — это гладкое шоссе, огромный чистый лес вокруг и россыпи земляники по опушкам, а потом Мадонна у храма над рекой всегда останутся у меня перед глазами как незаслуженное, даже обманом присвоенное счастье.

Русский турецкий словарь

этнографические записки

1. Слово «дурак»

Я сказала таксисту твердо:

— Дурак.

Он довольно кивнул и преданно остался стоять около меня, маленький, пузатенький, усатый, вылитый телеведущий Якубович, в половину первого ночи, при этом дело происходило мало того что в Турции, но еще и на забытом всеми островке в Эгейском море, в гостинице около стойки ночного портье.

«Дурак» было единственное на тот момент известное мне турецкое слово.

Каким образом я узнала это и еще несколько интересных слов и выражений, сейчас расскажу.

Я оказалась в Турции так же, как оказывалась во многих далеких местах, то есть меня туда пригласил театр. Вообще-то в городе, где есть такое заведение со сценой и кулисами, у драматурга всегда будет койка и кусок хлеба, тем более если в этом театре играется ваша пьеса.

Притом актеры сразу становятся поводырями, няньками, собеседниками на философские темы и учителями (язык, обычаи, география, немного математики, т. е. сколько миллионов турецких лир содержится в одном долларе, затем этнография — костюм, базар, туалет, религия, свадьбы, похороны, затем что люди едят на завтрак, положение женщины, образование, архитектура и многое другое, причем на все эти науки отводится четыре, допустим, дня).

Мои актрисы (главную звали Нихал) спросили у меня, хочу ли я посещать международный театральный фестиваль или есть другие планы. Фестиваль я сразу отвергла, я их видела-перевидела, при этом смотреть немецкий модернистский спектакль некоего Геббельса на турецком языке? Спасибо, девочки. На фестивалях обычно показывают что: минимум текста, желательно в режиме крика с пляжа в море, то и дело тьма, какие-то феерические вспышки, взрывы и дым, обязательная квази-этническая музыка, каждые пять минут проскок шеренги граждан во всем одинаковом с невозмутимо искаженными лицами, в руках палки, камни или ведра, потом те же участники заведут коллективные песнопения с непонятными словами и повзводно, пересекаясь, потекут по сценическому пространству, или же потащат, допустим, нечто похожее на автомобильный чехол и потом все в нем зароются, долгая будет история с дырами, возникновениями в них то одних, то других частей тела, а то все вместе высунут босые ноги (на фестивалях любят босое и

голое). Знаем мы все это. Причем немногие зрители, пережившие данный спектакль, будут благожелательно хлопать, давая этим понять, что они тоже причастны. И это — маленькое счастье фестивалей. Ибо в домашних условиях на данное искусство зрителей не собрать, а критика сейчас такая, что им невыгодно хвалить. Как объяснили мне, хорошая рецензия интересна только родне и друзьям театра, а плохая интересна всем остальным. Поэтому у себя дома мастера стремятся к изолированности своего театра, идеал — зальчик на сто мест (вечная борьба за билеты, сцены у входа, знаменитые смирно стоят, недружественных критиков в шею), либо вообще не пускать никого и ничего не играть. Репетиции любовь моя, как воскликнул Эфрос. На репетиции ибо критика и зрители не допускаются.

Та же история в других видах искусства — непонятное не подлежит суду! Герметичность, закрытость обеспечивает защиту, и пока эти рыла разбираются в том, что навалял автор, идем быстро в другое место. Эти игры начинал еще Пикассо, неплохой художник и отец концепта, т. е. некоторой идеи, и научил, как быстро ее менять. Кстати, одна из примет такого искусства — его легко повторить. Немерено фалыдаков Кандинского и, допустим, Зверева.

Вот музыка — сочинить ее трудно, надо хотя бы нотную азбуку знать, но появился компьютер с его программами, и теперь я буду композитор-минималист, самое главное — это название опуса, к примеру, «Признаки делимости луны» (копирайт мой), и три минуты подряд я скажу первой скрипке пилить ноту фа (виолончель дает в это время соль-бемоль на полный смычок легато), в зале кашель, вывели астматика, — и наконец я разрешу пустить до тутти, и все разрешилось, люди вздохнули, астматик вернулся — да просто дайте мне оркестр, и все!

Далее, живопись. Что тут можно изобрести? Уже и какали после цветных клизм со стремянки на полотно 45 м. И сами художники голые лежали под стеклом, себя выставив. А нарисовать кувшинчик, чтобы не падал, — на это вообще вся жизнь уйдет… Мало того, скажут, вчерашний день и вообще, кувшинчик не похож. Но давайте построим в выставочном зале одной из стран ЕЭС русские места общего пользования (кухню уже показывали) в масштабе 1:1 — дайте мне какой-нибудь кунстхалле! До обморока у зрителей дойдет, если еще и тараканов отпустить на волю и не уклониться от демонстрации отложений мочевого камня на стенах сортира — голубое масло до отметки 1,5 м, дальше черта синим (масло), затем побелка с протечками (ржа аль фреско, мел), ремонт 17 лет как — да еще и при реальном запахе (если в анамнезе унитаза три поколения

семьи алкоголиков). Да что там! А выставить в какой-нибудь арт-галерее туалет с Казанского вокзала! Или городской клозет Переславль-Залесского! Куда было не ступить ногой… А автовокзал в городе С, где вообще нет туалета! Дайте, дайте свершить инсталляцию и хеппенинг (ошалелые пассажиры автобуса Ярославль-Москва ищут в окрестностях кустик). И дайте посвятить эту инсталляцию Чехову! Чехов же все мечтал, что будет в России через сто лет!

Но не дадут…

Главное для мастера — это придумать. Минимум усилий при максимуме результата и быстро со своим ноу-хау свалить в другом направлении. А то ведь мгновенно переймут! И выставят, допустим, комнату Коли-донора с 4-го Вишняковского проезда (в топчане — функционирующие клопы). Коля — слесарь-расточник на пенсии, алкоголик и гомосексуалист, комната 14 метров, в ней шесть телевизоров один на другом, верхний работает. И друзей Колиных привезти как они есть… Очередь будет! По золоту, по евро ходим!

Мои же актрисы, придя с фестивального показа, сказали, что вот такие спектакли сляпать весьма просто, делай только все так, чтобы ни в коем случае не проскочило ни одного связного эпизода.

Действительно, как только хоть что-то будет понятно, зритель насторожится и будет ждать, чем дело кончится. А это уже сюжет, дело чревато осложнениями, то есть зритель сможет судить да рядить.

А вот еще можно поехать записать подлинный монолог какого-нибудь растлителя малолетних из колонии строгого режима. Тоже неподсудно! Подлинник — и, главное, как всемогуче! Чтение даже без выражения уже потрясет.

И критике не подлежит!

То есть современное искусство подлежит критике, но тоже современной. Суду экспертов. Который вынесет вердикт, не фальшак ли это. Нет, скажут, это подлинный Женихайло, чувствуется его рука.

То есть либо ты верь творцу, либо ты СТОЙ (в переводе на турецкий, см. продолжение словаря).

2. Продолжение словаря. Слово «и-хи-хи» и др

Итак, вместо фестиваля я попросила корабль и Босфор, и назавтра же мы стояли на палубе теплохода и плыли по зеленым волнам между Европой и Азией. На берегу шеренгами стояли рыбаки (семьями). Ветер веял нежным ароматом селедки атлантической, море! Впереди было Черное, позади Мраморное. Мы качались в колыбели нашей цивилизации и всей мировой торговли.

По берегам стояли ножками в воде дворцы. Дальние холмы были покрыты грубой овчиной лесов. Актрисы везли меня на пикник в самое красивое дачное место.

Причалили в какой-то местной Венеции. Пошли мимо старых особняков, оплетенных розами, стремясь подальше от цивилизации. В результате оказались на распутье. Можно было устроить пикник высоко на горе за кладбищем (перед нами по этой дороге уже ушли целые караваны мусульманских семей с детьми и корзинами), а можно было пойти в лесок. И мы тронулись по лесной тропе, а она плавно перешла в помойку. Параллельно тек вонючий ручей, в котором топтались гуси, желая плыть по этому лону вод, но было, видимо, мелко.

— А как по-вашему говорят гуси?

— Ква-ква, — последовал неожиданный ответ.

— А лягушки тогда?

— Лягушки — враг-враг. Ничего себе!

— Так… А как корова мычит?

— Ме-е.

(Это мне потом пригодилось, на острове, где ни один человек не говорил по-английски, а мне надо было купить молока в лавочке. И я исполнила партию коровы. Сказав «ме-е», и меня поняли.) Вот стишки того периода:

Чайки, закатываясь смехом театрально-рыдающим,
Типичным для этих крылатых Сар Бернар,
Всего-навсего ругаются насчет ночного пристанища,
А также кто у кого сегодня хамсу украл.

Освоение языка не обходится
Без некоторых смешных штук.
Я, пытаясь в лавке объяснить что хочу купить меда,
Изобразила жужжание.
Мне принесли баллончик от мух.
Я становлюсь популярна среди местного народа.

Солнце садится. Небо и море сравнялись в цвете.
На мой вкус, слишком гудит кукушка ихняя.
Я считаю, что первые музыканты подражали ей на флейте.

Музыка была имитацией. А чем поэзия?
А все смеялись, когда она попадала в рифму.

* * *

— Людмила, а как по-русски лошадь говорит?

— И-гого, а по-турецки?

— И-хи-хи! А как осел у вас?

— Иа, иа.

— А у нас аи, аи!

— А как, — спросила я, — у вас мужчина кричит, когда хочет женщину?

Нихал засмеялась:

— Йерем сене, бебек! Так бы и съел тебя, бэби.

— А тогда как женщина отвечает?

— Йэ бенэ.

— А это что значит?

— Ешь меня.

И она опять произнесла распространенное русское ругательство.

— Красиво. А если женщина не желает с ним связываться, что она тогда говорит?

— Она тогда говорит «сик мек».

— Что это?

— Ну… Это гоу виз ёр пенис.

— Сик — это… А, понятно. Ну да. Сикать.

И тут я как раз вспомнила, что прочла на стенке в автобусе. Там была табличка со словом, которое я прочла как «дурачак».

— Скажи, Нихал, а что такое по-турецки «дурачак»?

— Остановка.

И тут меня осенило:

— А дурак — есть такое слово?

— Это «стой».

В поганом ручье гусь явственно произнес «ква-ква». Мы пошли вверх к кладбищу и сели на лужочке под мраморным фонтаном, бьющим из стены. Девочки развернули наши бутерброды. Светило чудное нежаркое солнышко. Рядом паслась лошадь, с интересом («и-хи-хи») посматривая на хлеб. По моей ноге к бутерброду устремилось двое крупных муравьев.

А дальше — дальше я представила себе эпоху татаро-монгольского ига, которое было на самом деле оккупацией.

Первое, что кричат завоеватели бегущему в кусты местному: «Стой!» То есть первое слово на тюркском наречии, с которым наши предки познакомились, как раз и было «дурак», и так русские и начали называть оккупантов (как впоследствии, после 1812 года, французское «шер ами», дорогой друг, превратилось в обидное слово «шаромыжник»).

В дальнейшем наши древние партизаны так и говорили:

— Ой, где мои стрелы, гля, дурак поскакал.

Старинное слово «сикать» теперь уже понятно от чего проистекло, а вот с «йэ бенэ» дело обстояло, видимо, так: в разоренных поселениях, где перебиты мужики, хлеб сожжен, а дети еще живы и плачут от голода, что остается делать бабам? Они выходят на дорогу и предлагают себя:

— Ешь меня. Йе бенэ.

Клиенты их уже научили этому слову. И соединили его со словом «женщина», которое для чужеземца проще всего звучит как «мать». (Что кричали немцы, входя в русские дома? «Матка,

яйко, млеко». Перед тем ведь их войска шли по Польше. «Матка» по-польски как раз «мать», «женщина», и все остальное тоже оттуда.)

Так что слова «йе бенэ» и «мать» и образовали знаменитое бранное выражение.

Что же касается слова «шиш», которое мне несколько раз встретилось в меню, то это узкий нож. И в Турции «шиш тебе в горло» — распространенный, как и у нас, ответ — память о воинственных предках.

Обратно мы плыли ближе к вечеру, когда над Босфором повисла огромная желтая луна, и на остановке Нихал сбегала на берег и принесла мне стаканчик «югурта», лучшего в Турции. То есть ничего общего с тем, что продается по всему миру как йогурт, а зато очень напоминает русский варенец, простоквашу с твердой корочкой, которую всегда продавали у нас на базарах в майонезных банках (базар — это рынок на турецком языке).

3. Сорок тысяч по-турецки

Ну, а потом был ночной Стамбул: кофейни, старые отели с портьерами, люстрами и бархатными креслами времен русской эмиграции, эпохи Тэффи и Аверченко — эти писатели ходили здесь, по улице Пера, после бегства с Белой армией из Крыма, и писали свои знаменитые невеселые фельетоны именно тут, изгнанники, лишенные всего. За их спинами в России остались разграбленные дома, сгоревшие библиотеки, арестованные и казненные родственники и друзья… Тэффи, умница и красавица, одаренная фантастическим чувством юмора, жила потом в Париже и не могла выйти из дома, чтобы не пересчитать все окна на противоположной стороне, такой был сдвиг. (Ахматова тоже, говорят, не способна была перейти улицу.) Что сделали с нами, с нашей литературой… Обогатили, одним словом.

Мы бродим вечером по крутым приморским улочкам. Все дома старые, как в Риме, никакого новодела, стеклянных крыш и башенок, а только древние стены, из которых выступают традиционные занавешенные изнутри «шахниширы», т. е. эркеры по-европейски. В кофейне музыка: одна из виолончельных сюит Баха. Привет тебе, мой сынок Кирюша, с твоей виолончелью в рамках «замукальной школы»… Таскался, бедный, со своим абсолютным слухом два раза в неделю на троллейбусе в давке со здоровенной казенной бандурой… Замечталось о прошлом, о маленьких детях в доме, о ежедневном кукольном театре Феди, о двухлетней Наташе, которая ходила в длинной вязаной юбке и с пучочком на затылке и называла себя Утятя.

В самое первое мое утро в Стамбуле (после побудки муэдзина, о чем дальше) я, бродя вокруг Перы, нашла лавчонку старья (любимые мои места по всем миру). К ее дверям были прислонены два зеркала, одно даже с крыльями поверху. Вошла, никого. Товар: три транзисторных приемника 50-х годов, от одного только шкала. Пианино, на нем куча корявых сумок, немного битая скромная тарелочка, группа крохотных бутылок из-под вина, бумажная православная икона в рамке, катушки ниток в банке, грязные флаконы из-под перца — 8 шт., гармонь с одним рычагом на все аккорды, шесть ламп «летучая мышь» без стекол, пылесос эпохи первых спутников в форме ракеты, пишущая машинка «Гермес», магазинная касса, керосиновая лампа без стекла, череп маленький коричневый, фотоувеличители (толпа таких черных аистов), огромная (3х2 м) абстрактная картина удивительной бездарности, и вдруг — марионетка висит вдали над какой-то аркой. Вместо головы

серый мешочек, как набитая ватой пятка от чулка.

Минут через десять после начала моей экскурсии вошел хозяин, мужчина в состоянии той же куклы и, как мне померещилось в темноте, ровно с таким же набитым ватой чулком вместо головы. Правда, в солидных очках и небритый (не по моде, а явно пятый день употребляет). Глаза как у лежащей на берегу рыбки.

Я спросила, сколько стоит кукла. Он отвечал, собравшись с силами:

— Не продается. Подарок друзей.

Возможно, все в этой лавочке было такого же сорта, типа подарки друзей и не продается. Не может продаться никогда!

— Жалко, — сказала я. — Кукла хиппи?

Действительно, у нее такой был вид, отсутствие лица, экзотический костюм и четыре руки.

— Йес.

Он соглашался со всем, что я говорила:

— Оф корс.

Видимо, чтобы не связываться.

Затем у него в башке, набитой ватой, что-то стукнуло, видимо, и он вдруг невнятно пробормотал:

— Хорошо, я продам ее, но только за сорок тысяч.

И здесь глазки его приоткрылись и оттуда выглянула маленькая надежда, как из-за дверной цепочки, и тут же скрылась.

Я стала думать, сорок тысяч ЧЕГО?

Долларов — это, разумеется, удивительно, но и лир столько быть не может. Один миллион лир это семьдесят центов USD. Стало быть, сорок тысяч лир — это меньше трех центов.

Сошлись на десяти долларах.

Затем я попросила его попозировать мне на улице. Он выдвинул свою непослушную тушку на порог и стал терпеливо держаться на ногах. Тут же ко мне сзади прилип ушастый малый лет восьми. Мой турецкий продавец нетвердым голосом ему что-то неодобрительное сказал. Малый не отставал. Покосившись на него, я поперхнулась. На лице его было написано райское блаженство и одновременно мука. Возможно, искусство рисования все еще не слишком распространено тут. То есть оно здесь категорически запрещено! Я еще раз оглянулась. Мальчик со страстной, томной мольбой на носатом лице торчал за моим плечом. У него покраснели уши. М.б., это будущий мусульманский Церетели стоял и смотрел, как я царапаю авторучкой в блокноте.

4. Голубцы и арбузы в сарае

А тем временем мой турецкий словарь пополнялся.

Я ехала на такси в гостиницу ранним вечером. Таксист повез меня, как я понимаю, не прямым путем, а как бы решив показать мне весь город. Проезжая мимо лачуги, нависшей над улицей, он как-то явно застыдился и пожал плечами. Зато около некоторых сильно украшенных ворот (с такими каменными кудрями) водитель приободрился и провозгласил:

— Долма!

(Ну я знаю долму, такие голубцы из виноградных листьев. Может, тут изображены фрагменты развязавшихся голубцов?)

И тут же он значительно прибавил, веско так:

— Бахча!

А, арбузы тут ростят, видимо. Голубцы и арбузы, так.

Но тут же шофер воскликнул:

— Сарай, а? Сарай! (Он даже причмокнул, типа «сарай-то, а?»)

Матушки. И сарай я знаю что такое. Все слова знакомые, а смысл? Арбузы и голубцы в сарае?

Вечером я купила гид по Стамбулу. Долма Бахче Сарай — это музей. Вот что.

5. Слово «баян»

Из бесед с Нихал. Она рассказывает, что турчанки сейчас рвутся на работу, хотят делать карьеру — журналистки, врачи, бизнесвумен, актрисы. Мужья, разумеется, этого не одобряют, хотя их денег часто не хватает. Муж актрисы Нихал теперь живет отдельно. Они дружат.

— А сколько жен разрешено иметь в Турции?

— Одну, — говорит Нихал.

Но, оказывается, в деревнях все равно берут жен побольше (там живут только от поля и огорода, и десять рабочих рук на с/х работах во всяком случае лучше, чем две, а сельским хозяйством занимаются здесь только женщины. Турецкий муж, по словам Нихал, сидит в кофейне, играет в нарды, беседует, смотрит телевизор. А деньги все хранит у себя. Но денег не хватает, и мужик подается в Стамбул на стройку, и берет он с собой одну жену, правда, потом все остальные, делать нечего, подтягиваются с детьми. Ежегодный приток населения в Стамбул — 500 тысяч человек… И ни одного иностранного лимитчика! Ни молдаван, ни людей с Мозамбика, ни украинцев, ни вьетнамцев.

Правда, девушки иностранные встречаются. Одну из них, беленькую, я спросила по-турецки, пробираясь к главной цели своего путешествия:

— Айя-София??? Ммм???

Она моргнула и ответила мне:

— А какая?

— Их что, две? — удивилась я, не заметив, что мы говорим по-русски.

Белокурых турчанок и турок в Стамбуле и по стране много. Рыжих, сероглазых, светленьких. У девушек никакой косметики. Одеты просто — джинсы-майка. Волосы пучком или хвостиком. Свежие, красивые лица.

Вообще турки все необыкновенно добродушны и приветливы. За десять дней путешествия по Анатолии (восточная Турция) я ни разу не слышала ругани, никто не скандалил. Дорогу узнать — немедленно проводят прямо до порога. Однажды я оказалась на огромном автовокзале в городе Измире — мне надо было добраться до древнего города Эфеса. Произнеся слово «Эфес» с восклицательным знаком, я обросла провожатыми, которые буквально ткнули меня в нужный автобус. Но вещи-то были в камере хранения! Я прочла на квиточке слово, обозначающее «камера хранения», и воскликнула его по-турецки в воздух, без адреса. Тут же образовался молодой человек, который поволок

меня в обратном направлении, да еще на другой этаж, взял мои вещи… А я уже, сообразив, сколько придется ехать через четверть страны, произнесла слово «туалет!». Мой носильщик немедленно привел меня в нужное место, где написано было «Баян», но показал на часы: мол, быстрее. Это все происходило как в кинокомедии эпохи Чаплина, на быстром беге. Выскочив из «Баяна», я понеслась следом за своим эфенди, но посреди пути вдруг опомнилась, что забыла шляпу на прилавке, рядом с кассиром «Баяна». Со стоном я показала на голову и на далекий уже «Баян». Эфенди поскакал туда галопом, тут же вернулся со шляпой, и мы погнали на второй этаж. Перед тем как подняться в автобус, я было собралась дать ему денег, но он отмахнулся, сел на место водителя, хлопнул дверкой, и мы помчались! Это был шофер…

Я, кстати, рядом со словом «bayan» увидела и слово «bay» и подумала: похоже на «купить» по-английски, однако, порывшись в памяти, поняла: бай-то, это наша Средняя Азия против них боролась, антибайская типа революция там была. Бай — господин, а баян, видимо, госпожа. (Так и было на вывеске в том чистеньком турецком туалете, где в каждой кабинке имелся дополнительный кран, а под ним кувшинчик для гигиены.)

Итак, я могу обращаться к мужчине просто: «Бай!»

Но я ошиблась.

В очередном ресторане мне обещали принести уже показанную рыбу через четыре минуты (в СВЧ, что, ли они ее испекут?) Прошло семь раз по одной порции времени для приготовления рыбы в СВЧ, а мой дядя все не появлялся. Вдруг он пронесся вдалеке. Я громко позвала его:

— Бай!

Он исчез. Это было не то слово. Возможно, слово «бай», подумала я, обозначает «самец»? Крикни я такое в нашем ресторане, тоже меня бы не поняли… Так и сказали бы: «Нне понялл!»

Потом мне объяснила Нихал, что «бай» — это старинное слово. Какое? Разумеется, «боярин». От того же корня. Буй тур яр Всеволод… Я напрасно ждала, что официант встрепенется при слове «боярин». Надо было звать «эфенди», объяснили мне. Но для обозначения мужчин существуют и другие слова. В следующем ресторане пожилая дама, окруженная могучей семьей, все время подзывала официанта «э, э, паш'а». Имя? Нет, другого она тоже так же окликнула. Ну, слово «паша» мы знаем. У нас в стране все Павлы исключительно Пашки. А произошло оно от тюркского «паша», что значит «командир». Дама и говорила: командир, то и се! Командир, еще и это нам! Э, э, командир,

пятое и десятое нам подай! Совсем загоняла двух пашей.

Что касается меня, то я регулярно обедала в обществе по меньшей мере четырех персон: черного паши с белыми усами, одной рыжей красотки и двух с серыми лицами в полосочку. Один серый полосатый все время выл и гнал остальных из-под стола, но они только прижимали ушки и сидели, ожидая очередного куска сверху, от меня.

сижу в ресторане
берег вечер залив
ходят просящие
плачут не стесняясь
все либо беременные
либо кормящие

а тут фонари
скатерти
живой ветерок
огни бегут по воде
зеленое небо заката

попрошайки кричат
мяу-миау!

погодите
мне еще не принесли

хотя рыбу нашу
уже мне показали

какой-то местный карась
по виду тоже с икрой
красный пузатый

о бабы
вечно ищем
чтобы нас пожалели

глядишь
на крючке сидишь

как эта
карась

Кошек на моем острове (и по всему Стамбулу) паслось огромнейшее количество. И все это были весьма неказистые, какие-то драные и будто облизанные создания, совершенно лишенные животов.

У нас почти все Мурки, Барсики и Васьки граждане дородные, незаурядной красоты, остановишься иногда и просто любуешься — глаза как крыжовник, усы столбом, сидит такое на заборе где-нибудь зимой, шубка пушистая, хвост как веник!

А потом я поняла: все островные и стамбульские зверюги — они, видимо, морские котики, т. е. иногда и в волну сунутся за рыбешкой. У них и лапы врастопыр, на каждой по вееру рыболовных крючков! А что, окатит их не раз соленой водой, вот и результат. Ведь их тутошние предки восходят к временам Трои!

Собак в Турции мало. Они тут считаются нечистыми животными. Кошка может зайти в мечеть, но не собака! (Кстати, это тоже тюркское слово-ругательство, русское «пес».)

6. Слово «моск» и все с ним связанное

Надо сказать, что поселил меня театр в дорогом отеле на центральной площади Таксим, в здании с турецким евроремонтом, причем окно выходило на залив, на тихую сторону, и ничего хорошего из этого не вышло. Ночью (а она наступает в Стамбуле в восемь вечера) было тихо, свежо и красиво, в темных небесах реяло огромное желто-красное полотнище футбольной команды «Галата-сарай», и дальние огни шевелились в черной воде, это был прекрасный финал моего первого дня в Турции — и я так и заснула с открытым окном… Чтобы немедленно вскочить от леденящего душу ясного и безнадежного, долгого человеческого крика. Звонить в полицию? Было пять утра, стояла та же тьма. Я тут же позвонила в рецепцию и по-английски сказала, что человек кричит на улице. Надо полицию! «Йес, мэм», — невозмутимо ответил сонный голос.

Потом-то, по прошествии двух минут, слушая все тот же воющий вопль, я догадалась. Ага. Это пел муэдзин с минарета. Из окна была видна маленькая мечеть внизу. В окошечке минарета горела лампочка.

(Кстати, мечеть на всех европейских языках — и на турецком тоже — называется «моск». И если знать, что некоторые турецкие города имеют окончание «ова», то мы и получим в результате город мечетей, т. е. церквей, «Москова». Иностранцы, что ли, увидев наши маковки и луковки на высоком холме над двумя реками, назвали так Москву?)

На второй день я отправилась в Айя-Софию, в церковь Святой Софии. Самый знаменитый православный храм мира, превращенный в мечеть.

Вошли, посмотрели по сторонам. Какое-то совершенно огромное, полутемное пространство (некоторые окна грубо заложены посторонним кирпичом, ничем не закрашенным). Вообще многое переделано, заслонено огромными щитами с золотой арабской вязью — но как-то не слишком усердно, аляповато, как-то временно, хотя и 550 лет назад. Прошлое выходит из тьмы веков и располагается по-своему, разрешает догадаться, как тут раньше было, пронизывает все собою.

Дорога наверх, на галереи, была для императрицы и ее двора, а также для синода, по ней могла бы пройти лошадь с повозкой (а несли паланкины), это древний путь, не знавший грязи и дождей, отполированный подошвами как ладонями, камни блестят, кривые, разнообразные, огромные, составляющие на каждом

шагу, как в калейдоскопе, новую картину. Думаешь — кто тут полз, кто шел, кого несли, кого убивали, волокли, сколько молитв, песен, криков слышали эти стены — вся скорбная и величественная история этих мест…

В укромном месте мне вдруг померещились нацарапанные на мраморе русские буквы. Долго рассматривала. Удалось прочесть: ГОСПО ПОМИЛУ РАБО СВО С МО НАСТАВЛЯЕШЬ ГОСПОД…

Может ли так быть, что это выцарапали (чем?) в мраморе, приходя постоянно, какие-то русские эмигранты? Или еще раньше — православная женщина из гарема султана?

И еще знаки, вырезанные во мраморе — полустертые, глубокие… изображение собаки? Чтобы осквернить мечеть?

И наконец, наверху — венец Святой Софии: мозаики. Иисус, Богородица и Иоанн Креститель на Страшном суде. Скорбный лик Богородицы. Деисус. Золотая, мелкая, как грань драгоценного камня, плитка. Многое уничтожено, у Девы Марии видна только голова и часть плеча. Однако я, если честно сказать, ничего более сильного в храмах не видела. XIV век.

Нихал говорит:

— Это она просит Иисуса смилостивиться над грешниками.

— Скажи, Нихал, а у вас, у мусульман, есть понятие Страшного суда?

— Да. Последний день.

— А когда? — вдруг спросила я.

Я имела в виду, что у нас, к примеру, это будет после конца света.

Нихал засмеялась:

— Он решит.

Перед тем я узнала, что у Аллаха нет лица, нет вида, но у него сто имен, из которых известны 99, а сотое знают только посвященные. Накануне мы посетили лавку древностей на Гранд Пазаре, большом базаре, в лавочке, устланной и увешанной коврами как пещера сокровищ, было множество персидских миниатюр, образцов потрясающей каллиграфии. Там-то у нас с продавцом и с Гюзе (еще одна моя актриса, которая получила философское образование в Нью-Йорке) состоялся длинный, за чашечкой чая, на сей раз по-французски, разговор о Достоевском, о претензии его героев к Богу: за что деточек? За что невинных убивать? Продавец отметил, что к Аллаху таких вопросов нет, он везде (я Аллах, вы Аллах), и он не вмешивается в мирскую жизнь. Сами типа решайте. Гюзе помянула Ивана Карамазова, продавец сказал, что Достоевский для него все, а Толстого он не любит за его какие-то грехи. Я почувствовала себя польщенной. Надо же! В сердце Стамбула разговор о русской литературе! Затем продавец

стал показывать нам персидские миниатюры христианского содержания: Ной с непременным жирафом и с овцами, глядящими как бы в иллюминаторы ковчега, затем Иона, выползающий из уст кита, как прямая речь изо рта у героя комикса, и наконец, старец Авраам с ножом и отроком Иаковом, над которыми летящий восточный мужчина в шапке и с усами держит в руках барана, как бы предлагая его безвозмездно зарезать вместо ребенка. При этом отрок Иаков Авраамович, сам Авраам и усатый ангел, а также усатые Иона и Ной имели на головах как бы костры, горящие ярким пламенем. Возможно, так у мусульманских художников трансформировались христианские нимбы?

Продавец — рыжеватый, голубоглазый, худой и высокий, типичный персонаж Достоевского, я уже тут встречала таких турок. Но вдруг оказалось, что он бельгиец, зовут его Алексис, что через год он собирается в Индию, потом поживет в Египте. А затем собирается то ли в Москву, то ли в Петербург. Я посоветовала ему Петербург, разумеется, и дала свой номер телефона.

Позже моя знакомая на острове (она немка, муж ее местный турок, раньше они жили у нее в Германии, а теперь решили пожить тут, оба работают на экскурсионном кораблике, который ходит на соседний остров Лесбос в Грецию: час двадцать пути) мне сказала, что этот порядок с трансляцией молитвы в пять утра введен только в последние десять лет (Турция секуляристское государство, т. е. оно отделено от религии) и только для крупных мечетей. А какая мечеть не крупная?

У нас такое, я помню, было в годы радиофикации, когда во всех селах и городах на центральной площади со столба гремела музыка и читались передовицы, перемежаемые народными песнями и игрой Ойстраха на скрипке, начиная от шести утра и до двенадцати ночи.

Кстати, турчанки с платками, надвинутыми до бровей, тоже встречаются, хотя и довольно редко (кто-то в шутку сказал, что их мало, потому что они все сидят по домам).

Когда я уже уезжала из Стамбула и в аэропорту на летном поле села в автобус, туда же поднялась парочка — он такой бравый небольшой подтянутый смуглый мусульманин, она блондинка, пшенично-белая, курносая, с пухлым ртом, с огромными голубовато-серыми глазами и (внимание) это точно, что на ее ресницах можно уложить по спичке, т. е. как у какой-нибудь голливудской кинозвезды бывает наклеено. Она, самое главное, была в белом шелковом мусульманском платке (правда, сезанновская челка виднелась) с кружавчиками на лбу в виде

оторочки. Когда они, опоздав, вошли в автобус, там уже сидела парочка русских красавиц «с Новосибирска», из тех, кто ездит за товаром в Стамбул (обувь, детская одежда или все мужское — у каждой дома лавочка или рыночный контейнер). Русские красавицы были богато одеты, затянуты — одна в брючный костюм, вторая в кожаную юбку мини-мини. Обе в босоножках без пятки с острыми, как шило, носами и на тонких каблуках, последний писк чьей-то моды.

Когда мусульманско-славянская парочка угнездилась (она как беременная села, он встал на страже рядышком), то две мои красавицы погасли, заскучали, стали смотреть строго перед собой. А она в этой шелковой с кружевами белой шали на волосах, в простых сланцах на босу ногу (а нога большая, с педикюром, розовая, пальцы слегка одутловатые наружу) — она сразу, севши, засияла: кожа засветилась, засверкала огромная улыбка до ушей, заблестели здоровенные буркалы с огромными ресницами, и начала ворковать, трогать Его рубашечку на животе, Его ближайшую руку, Его брюки, и даже стала как-то пытаться его усаживать рядом и чуть ли не себе на колени — в общем, буйная любовь. А он в ответ прижимался к ней боком и изредка строго целовал в макушку. На этих моментах бабы плакали кровавыми, невидимыми миру слезами.

Ее пустяковые разговоры:

— Ой! Я так соскучилась все-таки по дому, не по Москве, а по дому, все же там я хозяйка, а?

(Ответ, широкая ее улыбка.)

— Ой! Я приеду, уберусь сразу!

(Ответ сверху.)

— Ой! В Москве тоже можно заработать, если рано вставать…

(Кивок, довольно суровый.)

— Ой! Тебе не надоел мой платок?

(В ответ он надвинул ей кружева по самые брови. Она прижалась к его руке.)

Ехали, видно, от родни. Молодая была вся в золоте — цепочки на шее, часы, браслет.

— Ой! Ноги опухли, смотри! (Скинула босоножку, выставила свою большую бело-розовую ступню, сверкающую перламутровыми ногтями. Ее нога явно размером с его ногу.)

Сияя, сверкая, смотрела на него снизу.

На паспортном контроле стояли рядом в очереди граждан России. У него был российский паспорт.

7. «Дурак» в переводе

А напоследок — почему я сказала водителю такси «дурак» — и почему это происходило ночью, в отеле на маленьком острове в Эгейском море (там плавал Одиссей после Трои, до Трои 170 км).

Просто мои московские знакомые мне много напели про этот остров, про его необыкновенную красоту, тишину, про то, что не в сезон там очень мило и дешево, комната в отеле 10–15 долларов, и там нет шумных иностранцев, только свои, только турки. Это их излюбленный курорт.

И я туда ехала издалека, из Эфеса, и оказалась после автобуса на шоссе ночью, вооруженная только одним турецким словом «дурак».

Правда, вместе со мной сошла еще кругленькая, как кучка тыкв, мамаша с дочерьми и какой-то полусогнутый человек. Все они удалились и сели в некий пустой микроавтобус. Делать было нечего. Я тоже села, спросив:

— Отель?

Мне никто не ответил, только девочки (12 и 9 лет) захихикали. Согнутый куда-то махнул рукой.

Боже ты мой, куда я попала?

Наконец пришел шофер, и я ему сказала то же слово: «Джунджа-отель».

Он как-то мотнул головой, и мы помчались. Сначала, хихикая и поглядывая на меня, вышли девочки со строгой матерью, затем испарился полусогнутый, а меня водитель где-то высадил. Ночь, пустота, огоньки вдали, исчез… Но все-таки автобус-то его, он же вернется!

Вернулся с турецким Якубовичем (см. начало). Пришли еще четверо и стали что-то громко обсуждать. Затем меня привели к такси, и мы с Якубовичем поехали.

Он привез меня в отель. Встрепанный портье с огромными печальными глазами обманщика ничего не мог сказать по-английски, но зато достал прейскурант и указал мне сумму, которую я должна уплатить за ночлег. Я кивнула.

(У всех здесь — у таксистов в особенности — заготовлены эти листочки с запредельными цифрами, солидно отпечатанные как таблицы. Ничего общего с реальностью, одни мечты.)

— Дурак, — сказала я шоферу.

То есть стой, не уезжай. Мало ли тут отелей!

После этих моих слов портье долго и горячо в чем-то убеждал почему-то Якубовича, но тот невинно глядел на него поверх усов своими голубыми глазками и вел себя как-то уклончиво. Он вроде

бы и соглашался, но в то же время явно готов был меня везти куда-то еще. Я опять повторила свое «дуррак», и тут портье как бы мысленно плюнул и написал мне на бумажке цифру, вдвое меньшую, т. е. уже ближе к реальности.

Я вошла в свой номер, открыла дверь на лоджию. Лоджия была шесть квадратных метров. В лунном свете сиял белый столик с креслицами.

Тихо плескалась волна прямо тут же. Пальма шелестела, стригла своими ножницами перила. Над заливом висела восточная красавица с лунным ликом, закутанная по брови в ночь… Правда, у нее был небольшой флюс и отсюда свернутая на сторону физиономия.

— Какая луна! Я хочу здесь остаться навеки, — подумала я и осталась на четыре дня.

Накануне отъезда я оставила портье по имени Мустафа записку с просьбой разбудить меня завтра в шесть утра. Он не знал ни одного языка, кроме турецкого, поэтому у меня получился такой рисунок.

В большом двухэтажном отеле с рестораном, баром, пятью официантами, сторожевой собакой, аллеей роз, собственным пляжем, причалом, командой морских кошек и маленьким рыболовецким сейнером, на котором экипаж официантов моего отеля забросил как-то утром невод, крича «дурак, дурак», — в этом огромном доме я жила одна, рисовала розы, писала стишки…

Йе б'енэ — съешь меня

Я оказалась, о Господи, на самом краю земли.
Сижу на перевернутой лодке на прибрежной помойке.
Ржавые банки бутылки рвань. Мимо идут корабли.
Я с тобою, пейзаж, сообразно желанию вытянуть ноги.
Вроде бы море — смеется, как бессмертно через тире ляпнул Горький.
Вроде бы солнце тире сияет, перебирая в волнах монетки.
Вроде бы я тире отдыхаю, но почему на помойке?
Через тире я объясняю —
Такова функция моря на нашей планетке.
Этот повар, помывши, все возвращает на землю,
Что не съедят его рыбки и что не тяжелее пены.
Море, как могло, приготовило. Я это дело приемлю.
«Фрутти дель маре, — говорит море. — Ешьте меня, йе бенэ».

Вермут итальяно, называется «Чинзано»

материалы для адвоката

1. Первое путешествие с «Чинзано»

Я, как каждый советский человек, эстонцев очень уважала и ценила. Особенно их театр. Совсем запрещенная и безо всякой надежды, к тому же пребывая в образе кенгуру (с сыном во внутреннем кармане), я, однако, поехала именно к знаменитому эстонскому театральному режиссеру Каарелу Ирду в Тарту, повезла ему пьесу «Чинзано».

Тут надо остановиться и представить себе, что из голодной Москвы я попала туда, где свободно можно было пойти в столовую и получить из раздаточного окошка большой ромштекс в полтарелки, с жареной картошкой и зеленым горошком! И недорого, что самое главное. Денег было в обрез, на одну еду в день.

Эти большие котлеты мне даже ночью снились. Поскольку, съев такую роскошь, я вынуждена бывала с нею расстаться очень быстро. Токсикоз, дамы уже поняли, токсикоз.

А почему я отправилась в таком плачевном состоянии в это путешествие — просто потому, что незадолго до того мне напророчил один умный врач, что родами я могу умереть. Тромбофлебит. Стронется такой сгусток, и все. И под предполагаемый, так сказать, занавес, так сказать, земного пути я поехала по театрам со своими пьесами. У меня оставался-то в Москве ребенок Кирюша одиннадцати лет, да и этот, новый, мог родиться уже сиротой.

Перед Эстонией я побывала в Питере, где жила в ленинградской квартире жены Афанасия Тришкина, первого исполнителя моих пьес «Любовь» и «Лестничная клетка» в режиссуре Игоря Васильева. Также я посетила Ленинградский молодежный театр (неожиданно для администрации), и какой-то новенький режиссер, захваченный мною врасплох, принял меня в своем огромном кабинете. Был поначалу вежлив. Человек приперся из Москвы! Однако затем он ни за что не хотел согласиться с тем, чтобы я прочла ему вслух свою пьесу-сказку «Два окошка». Стоял как стена. Отнекивался мрачно и решительно. Вообще — это было видно — он проклял тот день и час, когда согласился меня принять. Еще новости — слушать пьесу в исполнении какой-то зеленого цвета иногородней жительницы! Чтобы меня нейтрализовать, он мирно мне предлагал оставить ему текст. А у меня он был один, этот экземпляр. Кроме того, я надеялась его как-то своим чтением и песенками убедить. Не получилось.

После чего я пошла по Невскому проспекту, размышляя, как я

вообще могла подумать, что мои пьесы кому-то будут нужны! (Я везла еще «Анданте», «Чинзано», «Любовь» и «Лестничную клетку».) На дворе стоял 1975 годок. Кто бы знал, сколько лет мне предстояло ждать…

Дело шло к вечеру. Стоял поздний октябрь, еще не зажглись фонари. Закат цвета малинового киселя, окрашенного кое-где синими чернилами, горел над городом. Меня тошнило от всего этого.

Неожиданно мне преградил дорогу какой-то немолодой, прекрасно одетый человек со словами:

— Люся! Вы че тут делаете!?

— Гуляю, — ответила я.

Это был наш любимый Арбузов, Арбузик. Руководитель нашей студии драматургов. В светлом расстегнутом плаще, в светлом костюме. Пахло от него коньячком и хорошим одеколоном.

Можно было понять, что Арбузик доволен! Только что из ресторана. Побывал в парикмахерской.

— Так! — сказал он. — У меня сегодня премьера «Старомодной комедии». Я вас жду.

Понурившись, я кивнула.

Все дело заключалось в том, что накануне в Москве я находилась у него в гостях, где сидела на диване в обществе рукописи этой пьесы. Арбуз был вышедши, как выражалась раньше прислуга. И я по привычке и от нечего делать взяла в руки экземпляр и начала его читать. И мне жутко этот текст не понравился. Мне даже стыдно стало за нашего учителя. Сплошное вранье, решила я, будучи экстремисткой. И когда раздался его голос уже почти в дверях, я быстро вернула пьесу на место и помню, что почему-то покраснела.

А тут такое приглашение! Мучиться целый вечер! Я искренне не любила и не люблю театр. Всегда ухожу при первой же возможности, т. е. в антракте.

А теперь как уйдешь. И слова говорить какие-то придется. Ужас, ужас.

Я купила за семьдесят копеек букет полудохлых астр цвета ленинградского заката, попозже это были уже фиолетовые чернила с малиной. То была безумная трата! Можно было прожить целый день с обедом! Но что делать.

Со своим неказистым подарком в руке я вошла в театр, и сразу же Арбуз взял меня под свое крыло и приступил в делу: повел знакомиться с главным режиссером театра Игорем Владимировым.

Седой красавец сидел за роскошным письменным столом и

смотрел на меня как полководец на неожиданно въехавший в штаб вражеский танк.

— Вот, познакомьтесь, — сказал Арбуз благодушно. — Это будет первый драматург, когда меня не будет.

— Живите вечно, Алексей Николаевич, — пробормотала я.

(Я назавтра принесла им «Анданте» и позже узнала, что они ищут по посольствам и переводчикам, на каком же языке говорят персонажи и что значат «пулы» и «метвицы».)

Однако, возвращаясь к арбузовскому спектаклю, я должна честно сказать, что уже через пятнадцать минут после начала спектакля я ревела. Мне очень понравились актеры. Роскошная пьеса, опять-таки надо честно сказать. Люфт для артистов, простор и воздух. Никакого насилия и диктата со стороны автора. Большие возможности играть для талантливых людей.

Полная противоположность тому, чего я добивалась от актеров (добивалась бы, если бы они у меня были) — точного следования тексту. Четкого знания того, откуда язык персонажей — вплоть до региона. Проникновения в описанный характер. Никакого люфта, свободы, импровизации, раз уж ты выучил текст. В роль как в лабиринт, где один выход, и его надо угадать.

После спектакля наши пути разошлись, Арбуз вернулся домой, а я села в поезд и поехала в Эстонию. Там мои знакомые поселили меня у одной милой, совершенно затравленной дамы-переводчицы, семнадцатилетний сын которой принципиально не мыл рук! (Насчет остального не знаю.) В тот вечер, когда я у них ночевала, он пришел с работы (из гаража) и сел ужинать, и на его чашке немедленно появились ясные дактилоскопические отпечатки. Мама страдала, но молчала. Потом она не выдержала, рассказала мне всю свою жизнь. Одни трагедии! Муж бросил, сын озлобился. Не печатают (она оказалась еще и поэтом). Мы с ней сидели до часу ночи. Назавтра мне предстоял путь в Тарту, в театр Каарела Ирда.

Короче, в каком виде я дотащилась до Тарту, можно себе представить (у многих, кстати, все всегда одинаково, и лицо, и одежда, и мысли). Стоял поздний октябрь, несладкое время в Прибалтике. Дым носился по улицам, дым из труб вместе с сильным ветром. Спала я в гостинице, больше похожей на общежитие, там разместились юные спортсмены, которые ночью с гоготом носились по тесным коридорам (действительно буйные эстонские парни). В номере у меня были стены, крашенные темно-зеленой масляной краской. Толстой писал об арзамасском ужасе, вот именно такое я и испытывала в ту ночь. За окном капало. Хотелось уйти из жизни.

Я добрела до театра Каарела Ирда уже следующим днем, по просохшим от холода тротуарам. Здание было роскошное. Огромное фойе. Каарела Ирда нет. А где он. Он на репетиции. Можно подождать? Кивнули не сразу.

Он вышел как какой-то король со свитой. Ученики за плечами с каждой стороны. Немолодой красавец. Все режиссеры красавцы по определению.

— Кто таккая, — сказал он, выйдя через КПП в фойе. — Нэтт. Таких не снаю. Арбузовская студия — не снаю. Нэтт. Наташа Крымова? Ну снаю. И что? Каккую пьесу? Нет, нам никк-каких пьес не натто.

Разумеется, на хрен им сдались русские пьесы! Пьесы оккупантов!

Тут я повернулась и пошла по этому длинному вестибюлю. Ну нэтт так нэтт. Да мало ли мне отказывали!

И уже когда я была почти у дверей, Каарел Ирд, выдержав длинную (до выхода) паузу, картинно рявкнул:

— Стойте!

Стой, раз-два. Я обернулась.

— Хороссо, — сказал его далекий голос. — Осставьтэ пьесу.

Я потащилась обратно. Как раз в этот момент я уже было в виде утешения начала мечтать об очередном бифштексе с картошкой и горошком. Пошла слюна как у собаки Павлова, отгоняя жуткие воспоминания о вчерашних послеобеденных результатах.

Зверски голодная, я протянула Каарелу Ирду пьесу «Чинзано».

Он показал рукой за свое правое плечо:

— Мои ассистенты прссьтутт! И оттветят вам в тессение мессяса!

Архангел справа взял у меня рукопись.

Это был явный отказ. Даже в свирепой Москве никто никогда не говорил со мной в таком тоне. Прессрение так и сквоссило. Эстонские городские партизаны, движение сопротивления.

Разумеется, мне никто никогда не ответил из театра Каарела Ирда.

Но спустя два года началось что-то странное. Мне дозвонились из Таллина, из молодежного театра «Ноорсоотеатер». Они хотели ставить «Чинзано» и спрашивали, есть ли у меня разрешение цензуры. Нету. А правда, что вы написали второй акт к «Чинзано». Правда. Пришлите.

Ни во что я не верила и никому. Существовал спектакль «Чинзано» Игоря Васильева 1976 года, вполне подпольный. На

другое надежды не было. И текст я им не стала отправлять.

2. Как была написана пьеса «Чинзано»

Теперь расскажу, как было написано «Чинзано». Шел 1973 год, ноябрь-декабрь. К тому времени я уже посмотрела спектакль Володи Салюка «Утиная охота» по Вампилову. Я смотрела его два раза с хвостиком — на третий раз в зале вырубили свет и всех попросили вон. Я была потрясена пьесой и игрой актеров. Буквально дрожала, как кошка, увидевшая птичку. Меня на спектакль привел мой учитель Михаил Анатольевич Горюнов, помощник Олега Ефремова. Сам Горюнов в «Утиной» великолепно играл Саяпина. После спектакля он меня познакомил с исполнителем роли Зилова актером МХАТа Игорем Васильевым, который к тому моменту уже прочел мою первую пьесу «Музыка для Коли» (она позже стала называться «Уроки музыки»). И Игорь, и чудесные актрисы МХАТа Наташа Назарова и Галя Киндинова из «Утиной» вскоре стали играть в моем подпольном спектакле «Лестничная клетка». Но это все было потом. А после первого спектакля «Утиной» я шла со своей подругой Мариной Сперанской по проезду Художественного театра и твердила: «Почему не я написала эту пьесу» и «я так много знаю об этих людях». Подруга осторожно молчала. Она привыкла к моим отчаянным монологам. Как-то за полгода до того, в троллейбусе № 9, на котором мы ехали с работы из Останкина, стиснутые у передней двери, я стала пересказывать ей содержание пьесы «Уроки музыки» (которую я не знала как закончить), и, когда мы дотрюхали до метро, конец уже был рассказан, поневоле сочинившись на месте. Маринке вообще по определению не нравилось то что я пишу, но она терпела. Конец пьесы оказался, неожиданно для меня, фантастическим, с видениями, во как.

Наступил декабрь 1973 года. За прошедшие с лета месяцы (с момента, когда нас выгнали с «Утиной охоты») мы подружились с Игорем Васильевым. Он таскал меня на свои спектакли по Ионеско и Беккету. Я присутствовала на его спектакле в комнате, где резали живую рыбу в окружении свечей (рыба определенно издала звук, когда по ней полоснули ножом, вроде бы в том месте, на колоде палача, колыхнулся воздух) — а текст был основан на дневниках царя Алексея Михайловича, текстах патриарха Никона и протопопа Аввакума. Актеры читали их как в церкви. Соседи, услышав впервые за стеной певучие молитвенные интонации, вызвали милицию, считая, что в квартире угнездилась секта. Спектакли шли в полутьме, свечи нагоняли жар и священный трепет, а тут еще смерть рыбы, живого существа… Зрители стояли вдоль стен небольшой комнаты. Раза два

случались обмороки. Видимо, сейчас этот спектакль собирал бы народ — тогда он сильно опережал время.

Красавец Игорь Васильев (позднее я поняла, что он вылитый Николсон) был восходящей звездой МХАТа, он по определению мог бы играть героев-любовников (не знаю, были ли таковые роли в тогдашнем ефремовском репертуаре, где преобладали пьесы о раб. классе). Но сам Игорь был одержим другим театром. Он хотел создать нечто совершенно новое. Мы с ним вели долгие беседы, шляясь по улицам и заходя погреться в фойе консерватории (в кафе было не по средствам). Он рассказывал мне о театре Арто, о Беккете, Ионеско. У первой попавшейся телефонной будки Игорь останавливался, за две копейки звонил и взволнованно, понизив голос, спрашивал кого-то: «Ну как вы себя чувствуете?..» Видимо, у него начиналось что-то серьезное.

Это ни в чем совершенно не напоминало встречи Станиславского с Немировичем-Данченко (тоже режиссера с драматургом). Во-первых, Станиславский был богат и мог пригласить драматурга в ресторан «Славянский базар». Игорю это и в голову не влетало. Но, тем не менее, мы — ни много ни мало — хотели создать совершенно новый театр. У меня были написаны только «Уроки музыки», Игорь поставил тексты протопопа Аввакума и «Стулья».

В те поры Игорь уже знал, что мне очень хочется попасть в арбузовскую студию, где собираются драматурги и режиссеры, где читают пьесы. Он по-деловому отнесся к моим мечтам о гнезде молодых драматургов. Он стал наводить мосты. Разведка донесла, что следующее занятие у них должно состояться восьмого декабря. Мы уже готовились пойти, но вдруг Игорь позвонил, что какие-то люди против того чтобы мы приходили — к примеру, молодой режиссер Райхельгауз, участвовавший в жизни студии. И второй молодой режиссер тоже не очень это приветствовал — Анатолий Васильев. Зачем им был нужен еще один молодой новый режиссер? Все правильно.

А я-то уже приготовилась идти и слушать новую пьесу (они там именно это и делали каждый раз, слушали новую пьесу и обсуждали). Я вся горела в прямом смысле (у меня началась ангина). И тут этот охлаждающий звонок.

Но мало, что ли, меня запрещали и не пускали. Ну, заведут пружину еще круче. Но ведь будильник когда-нибудь прозвонит! Сразу после этого разговора с Игорем я, дико расстроившись, вдруг подумала в таком духе, что ведь там будет новая пьеса — ну и у меня, вдали от этого гнезда, светлого и теплого места, где сидят талантливые люди, по другую сторону от принципа удовольствия и источника разума и вообще Барбизона

драматургов, у меня тут в изгнании в честь этого пусть будет тоже своя пьеса. Они меня не пускают — а у меня тоже будет свой семинар. А какую пьесу написать — а ту, про которую я подумала, идя с «Утиной охоты». История о том, как сын не похоронил мать… Он все истратил на «Чинзано».

Вообще потом, когда я читала письма Ван Гога, которому никак не удавалось проникнуть в сообщество любимых им художников или хотя бы привлечь кого-нибудь к себе в гости, я понимала, для кого он пел свои дикие песни, для кого он, северный человек, выходил под палящее солнце специально без шляпы, чтобы свет жег глаза, и писал в день по полотну!

Я написала «Чинзано» в ту же ночь.

3. Игорь Васильев и его «Чинзано»

Сколько-то времени спустя я ее принесла Игорю Васильеву и прочла. Присутствовал и его актер Афанасий Тришкин. Они не поняли ни-че-го. Только Афоня внезапно рассказал, что они как-то с друзьями пили, к утру ничего не осталось, стали ждать открытия винного, т. е. одиннадцати часов утра. Дождались, скинулись по копеечке, все вытрясли, собрали на бутылку. Послали Афоню. Афоня вышел из норы на божий свет, увидел солнышко, хороших людей и магазин «Культтовары». И, дрожа, решил начать новую жизнь, и взял и купил на все деньги шахматы. На два восемьдесят. Принес семь копеек сдачи и шахматы в вертеп зла и был мигом спущен с лестницы.

Ну, они меня и проводили с честью тоже до лестницы, Игорь и Афоня.

Мы тогда, непечатающиеся, все друг другу помогали, и вот некоторый литературно пробивной малый, услышав, что я знакома с режиссерами, принес мне свою пьесу для передачи им. И тут как раз позвонил Игорь с предложением принести пьесу, а я ему и скажи, дескать, что да, принесу. (Прошло больше месяца со дня читки.)

Вошла к нему, достаю чужую рукопись. Игорь берет ее в обе руки и в каком-то священном порыве мне низко кланяется. Потом смотрит на первую страницу, и лицо его меняется в нехорошую сторону.

— Эт-то что вы мне принесли? — спрашивает он довольно остро.

— Пьесу молодого автора, — отвечаю я.

— А где «Чинзано»?! — с претензией спрашивает он опять.

— Дома. Вам же не понравилось.

— Я вас прошу! Немедленно! — говорит он и опять делает поползновение кланяться.

Ну что же, братья Гонкур писали, что ни одно литературное произведение не может быть признано шедевром сразу, нужно время (Гонкуры имели в виду себя, разумеется. Ну и каждый автор хотел бы подписаться под этим высказыванием).

«Чинзано» поехало по своей долгой дорожке. И многое было на этом пути и смешного, и довольно опасного.

Сначала Игорь всюду ходил с текстом «Чинзано», хотел его поставить. Скоро разные актеры начали репетировать с ним «Чинзано» — сначала Олег Даль и Валентин Никулин в «Современнике», потом, когда директор их застукал, Игорь начал работать с актерами Эмилем Левиным и Борей Дьяченко.

Спектакль он поставил, но все это дело для конспирации называлось просто «Вечер встречи с молодыми актерами МХАТа». Такой псевдоним «Чинзано». Играли подпольно, по клубам и НИИ. Как-то поехали в Ленинград и выступали в Доме актера (Дворец искусств) на Невском. В первом отделении я читала пьесы, второе было «Чинзано». После прочтения моей «Сцены отравления Моцарта» полряда народу с грохотом поднялось и демонстративно ушло. Это был зрительский актив Дома актера, персональные пенсионеры-актеры. Из коридора на освободившиеся кресла мгновенно хлынули люди без места. После спектакля нас повезли ужинать, и впервые я услышала тост в исполнении одного из моих актеров. Я жалею, что не было возможности записать его. Вроде так: «И я хочу сейчас вот тут перед вами, если вы позволите — не подумайте ничего такого, я вполне и на полном это… серьезе отдаю себе отчет, но! Это важно, поймите. Если вспомнить и представить себе то, что ни один из реально мыслящих, не побоюсь этого слова, и никогда! И даже не сомневайтесь! Никогда не должны забывать о том, что до какой степени мы все, тут собравшиеся, теперь в этот буквально момент обязаны осознать, какие не поддающиеся никакому учету это… слова, что мы все должны будем всегда, и, не побоюсь этого слова, навсегда! То есть будем до глубин нашей души повторять и повторять, но! Это не просто что-то такое… прошу простить… Ну я понимаю, что мы спешим, да! Так, погодите, что я… Да. (С прежним подъемом.) И это постоянная, не требующая никакого отлагательства и просто даже самого обыкновенного, никем не замеченного, но всеми признанного смысла этого слова… Пардон! Десять минут до поезда, да знаю я, сто раз успеем, но сейчас я хочу сказать, стойте! Тридцать раз успеем! Я произнес уже и не побоюсь повторить, что мы все, буквально все вот здесь вот, за этим замечательным столом, нашим дорогим хозяевам что? Что незабываемые в таких обстоятельствах, и я вас прошу поднять ваши бокалы» и т. д.

За семь минут до отхода поезда мы наконец сели в медлительную, древнюю и побитую машину «Победа» и приехали на перрон без двух минут, но один из актеров вдруг опомнился и сказал, что хочет кое-что купить и нас догонит. Когда мы тронулись, где-то вдали дернули стоп-кран, поезд затормозил, и мы надеялись, что это он, но это был, видимо, другой человек. Я уже залегла на верхнюю полку, а чинзанщики все недвижно сидели и ждали, изредка перешептываясь. Из разговора я поняла, что человек этот был послан за бутылкой, а теперь ни его ни бутылки. Наконец, мои обманутые в надеждах друзья стали горестно раздеваться. Как вдруг один из двоих наших актеров,

НН., вскочил, возник передо мною во всем исподнем и как был, в трусах, майке и носках, дернул дверь купе и с грохотом исчез. Я свесила вниз голову. Второй актер, ММ., развел руками. Минут через десять дверь опять с треском отъехала, и к нам упал НН., которого держала за локти толпа проводниц почему-то в шинелях, НН. в бессильной ярости кричал им «пиписьки», а они привычно уже откликались «за пиписек ответишь» и сулились составить акт на разбитое стекло двери вагона. Новое дело! ММ. наконец уговорил проводниц, сунув им деньги. Всю ночь НН. и ММ., видимо, бедные, бдели, потому что ММ. не мог успокоить НН. Я пока что задремала. А ранним утром, когда поезд причалил к уже видному в лучах зимнего рассвета перрону Ленинградского вокзала и я продрала глаза, оба они уже в полном облачении готовы были на выход, строгие и трезвые, хотя очень бледные, и извинились передо мной, что не смогут проводить до дому. Они рванули в какое-то круглосуточно открытое заведение.

А третий наш человек оказался в Москве уже двое суток спустя, и его потом вынуждены были судить товарищеским судом в театре за какие-то бесчинства в отделении вокзальной милиции. А что уж он сделал перед тем, мы так и не узнали. А Олегу Ефремову пришло письмо от актива ленинградского Дома актера с жалобой на меня, что я подняла руку на великого поэта Пушкина («Сцена отравления Моцарта»). Он им письменно ответил и прочел мне этот ответ. Там упоминались имена великих предыдущих драматургов МХАТа. А в конце стояло: «А будете в Москве, заходите к нам в театр!»

Я сказала:

— Они это письмо должны повесить в рамке у себя в Красном уголке.

Моих друзей-актеров можно было понять — на спектакле они час с лишним надувались подкрашенной водой… Исстрадались. На каждого выходило ее больше литра. Без единого градуса!

А потом мне рассказали, что один автор Райкина, Миша Жванецкий, ходит всюду в Питере и с большим юмором рассказывает о нашем вечере. Пародирует меня.

Все это происходило много позже, а я хочу вернуться к тому моменту, когда Игорь сразу после написания «Чинзано» повел меня все-таки в арбузовскую студию. Он решил никого не спрашивать, а просто прийти туда и все.

Мы вошли и в наступившей тишине сели. Мои товарищи по студии потом со смехом мне говорили, что я на вопрос «вы кто» буквально провозгласила свою фамилию. Они как бы изображали мою торжественность. Некий пафос. Но это, господи, было от

страха… Арбузов потом прочел мои «Уроки музыки» и встречался со мной, и сказал безо всякой помпы, что ему нечему меня учить. И я возразила ему, что мне надо не учиться, а быть среди своих, среди единомышленников.

Арбузов был великий человек. Великий во всех своих проявлениях. Он никогда не выгонял никого, не снижался до этого, он ждал, что это сделают за него студийцы. Так обычно и происходило. По некоторым причинам Арбузик предпочитал уклоняться от окончательных действий. Но я-то этого не знала!

И пока что присутствовала. Это была читка пьесы. Автор на голоса декламировал свою комедию из сельскохозяйственной жизни. Сам, не сдержавшись, иногда хохотал, крутя головой.

После такой читки я была жутко разочарована. Что они слушают? Что это за пьеса? Главное, потом дружно несут какую-то ахинею, поздравляют автора и огульно хвалят. Просто как малые дети. Как же можно так врать друг другу?

Подождав еще неделю, я возмутилась окончательно. Тот же автор выступал вторично. Опять сам себе смеялся. И сюда я рвалась? Когда Арбуз, подумавши, дал мне слово, я сказала все что думаю.

Странным образом вдруг меня поддержали остальные. Разразился скандал. Автор, не ожидавший такого массированного налета, стал отбрехиваться, принял позу типа «да кто вы такие». Пьеска была у него просто и примитивно на продажу. Но у ребят явно накипело. Малый этот потом исчез и занялся тем, что выпекал по заказу Министерства культуры РСФСР одноактовки для сельских клубов — про колхозы (растущий зам, отсталый пред и в коммунизм идущий дед, слова Твардовского).

Позднее некоторые из студии не выдерживали, писали о молодежных стройках, о молодости Ленина. Особенно когда попер вверх Б. — бытовал тезис «если этот может на производственную тему, неужели я талантливый не смогу заработать». Не получалось. Все-таки человек больших способностей не умеет хорошо приспосабливаться, это закон.

Иногда, правда, уровень таланта снижается — и повышается степень уживчивости, начинаются премии, звания…

А затем у меня была на студии читка.

Дело в том, что какое-то время спустя нам перепало помещение для собственного театра, подвал. Откуда пришли деньги, не знаю, но получился не зал, а дивная шкатулка. Стены были обиты черным бархатом! Мы там вымыли полы и окна. И в этом прекрасном месте я должна была читать маленькие пьесы — «Любовь» и «Лестничную клетку». «Чинзано» Арбуз не разрешил. Тем не менее ребята где-то нашли бутылку из-под «Чинзано» и

заговорщически поставили ее, наливши туда воды с сиропом, мне на столик. Как некоторый намек. Вот я заканчиваю читать «Клетку». Пауза. Все выжидательно молчат, глядя на бутылку. Хороший ход! Арбуз любил импортные вина.

— Ну валяйте ваше «Чинзано».

Общий смех и аплодисменты. Все сияют, как будто вместе победили.

В тот момент к нам за раму полуподвального окна провалился со двора большой желтый кот и начал отчаянно кричать. Со двора же через форточку стала его выуживать хозяйка. Картинка была как на экране — руки и голова сверху и голова и лапки снизу. Мы дружно открыли раму и, хохоча, освободили кота. Его, оказывается, звали Плучек. Новый взрыв смеха.

Арбуз был страшно доволен. Плучек был его закоренелый друг, главный режиссер Театра сатиры…

Режиссеры и драматурги редко бывают друзьями. Но я однажды видела зимой в деревне собачку и кота, который прижимался к ней и даже иногда лизал ее в нос. Собачка терпела.

Наш Арбуз со всеми был в церемонной дружбе и не унижался до вражды. Единственный его враг был поэт Галич, бывший ученик. Вот как раз его Арбуз выгнал из своей студии самолично. Больше он не повторял таких экспериментов, памятуя об ужасных результатах.

А наш театр скоро погорел в прямом смысле слова. Хорошо, что ночью верхние жильцы, почувствовав запах дыма, вызвали пожарных. Могла произойти трагедия — прямо над сценой этажом выше спал ребенок.

Ни единого спектакля мы так и не сыграли. Говорили, что кто-то оборвал проводку. История странная, таинственная, которая еще ждет своего часа. Потом нам сказали, что было какое-то письмо творческой молодежи, где нас обвиняли в крамоле и антисоветских пьесах и требовали прикрыть гнездо диссидентства. После чего все и произошло. Растаявший в тумане архив МК комсомола хранит тайны.

Мы, погорельцы, опять вернулись в родную седьмую комнату над рестораном ЦДЛ, где всегда происходили наши читки (иногда в восьмой, в помещении побольше). Выходя на галерею в перерыве, мы иногда с голодухи весело наблюдали, как внизу, за банкетными столами, секретари Союза писателей едят икру большими ложками, занося их далеко, при этом минуя соленые огурцы и колбасу и избирательно черпая прямо из общих хрустальных мисок в центре натюрморта.

— Где мой «Калашников», — стонали наши ребята.

Но нам однажды все-таки дали сцену, Большой зал Центрального дома литераторов.

Это был первый отчетный вечер арбузовской студии образца семидесятых годов. Декабрь 1976 года.

Режиссер и ведущий — великий Анатолий Эфрос (его жена, любимая Наташа Крымова, была второй, вместе с Арбузовым, наш руководитель). Каждый студиец представлен отрывком или целой пьесой. Играют актеры.

Последним в программе стояло «Чинзано».

Уже пошел первый час ночи, когда на сцену вышли трое в пальто — Игорь Васильев, Эмиль Левин и Боря Дьяченко.

А народ уже стронулся и стоял в рядах, продвигаясь к выходу. Метро закроется!

Пошли первые слова. Эти трое мужчин совершенно не замечали зала. Они были озабочены своим. Говорили не слишком громко и не очень выразительно. И выглядели так, как будто пришли с улицы по своим делам. Выгружали бутылки «Чинзано». Народ стал оглядываться, смеяться и садиться.

Господи, что это была за игра! Никакой театральности, когда «актеры заговорили ненатуральными голосами, спектакль начался».

Игорь Васильев в тот момент спектаклем «Чинзано» начал новый театр.

И Арбузов этот не разрешенный цензурой и не близкий ему по всем параметрам спектакль защищал всем своим авторитетом.

А затем (я уже об этом писала) Ефремов мне как бы заказал второй акт к «Чинзано», и я написала (смеясь про себя) «День рождения Смирновой». Ефремов даже прочел его избранным товарищам, но на том дело и кончилось. Он его не поставил.

19 февраля 1979 года был назначен мой творческий вечер в Доме актера. Собственно говоря, под этим псевдонимом скрывался тот самый подпольный спектакль «Чинзано» Игоря Васильева. Времена были кошмарные — шло дело «Метрополя», литературного альманаха. Это была безобидная провокация, в результате которой члены редколлегии обрели международную известность как творцы, мученики и преследуемые, но органы и Союз писателей тоже погуляли — одним махом расправились со многими пишущими людьми, так называемыми рядовыми участниками. Мое имя там тоже фигурировало, хотя я довольно быстро забрала свои вещи. Смешно, но мне приснилась Ахматова, которая, что называется, предупредила.

Вечер 19 февраля был решающим: у меня в журнале «Театр» готовилась первая публикация, пьеса «Любовь».

Она давно уже ходила по рукам. Над ней работали, а через

год ее начали репетировать в трех театрах: на Таганке в режиссуре С.Арцыбашева, в Ермоловском (постановщик Анна Каменская) и в Театре миниатюр. И у Сережи Арцыбашева, и у Анечки Каменской это были первые спектакли, дипломные работы.

Решалась не только судьба автора, но и судьба людей, молодых актеров и режиссеров, их театральное будущее.

И надо же такому горю случиться, что мои хорошие друзья Игорь Васильев с Афанасием Тришкиным собрались сделать мне на этом творческом вечере сюрприз, подготовили дополнительный спектакль, мою совершенно нелегальную пьесу «Казнь». В ней описывался сам процесс казни в советской тюрьме с точки зрения конвоиров. Одно точно могу сказать — я ни о чем не знала. Текст давно ходил по рукам.

Зал был набит битком, в проходах у дверей и по стенам стояли опоздавшие.

И вот когда закончилось первое отделение, я еле-еле прочла свои пьесы (у меня был жестокий бронхит с потерей голоса), слава тебе Господи, все уже проехало, — Игорь Васильев вдруг вышел с торжественным видом к рампе: «А теперь сюрприз автору! Пьеса (повысив голос) «КАЗЗЗНЬ»!

Автор же сразу понял ситуацию и, наоборот, вернувшись на авансцену, хрипло объявил:

— Антракт!

Возникло замешательство. В зале зашумели.

— Антракт, — повторила я.

Одинокий голос из рядов трубно и взволнованно провозгласил:

— Автор имеет право!

Это был Женя Харитонов, мой старый товарищ. Гениальный режиссер и провокатор, он оценил ситуацию.

Запрещенный автор запрещает свой спектакль!

Я что-то сказала Игорю, после чего они с Афанасием ушли со сцены. Не помню что.

После антракта было сыграно «Чинзано».

Сама по себе невообразимая в те времена пьеса о трех пьющих людях (они выпивали прямо на сцене), веселая комедия с довольно жутким финалом, прошла на удивление гладко. Все смеялись, хлопали. Но над сценой, как невидимое зарево, стояла моя несгоревшая в тот вечер судьба, несыгранная пьеса «Казнь».

Это точно была бы казнь. Многие в зале, опытные театральные волки, понимали о чем речь. Аплодисментами нас наградили сверх меры.

Все мои предки-конспираторы, говорившие тайным языком, стоявшие на допросах, не дали мне тогда сгинуть.

Пьеса «Любовь» была напечатана.

«Чинзано» поехало дальше.

(Фотографии, сделанные за сценой после того вечера, недавно были подарены мне Игорем Васильевым. Они в конце книги.)

4. «Чинзано» в «Ноорсоотеатре» (г. Таллин)

И тут начались и настойчиво продолжались звонки из Таллина. Пришлось послать им «Смирнову».

Спасибо тому архангелу за правым плечом Каарела Ирда… Спасибо, собственно, Каарелу Ирду, что он меня остановил, не дал пропасть. Пусть земля ему будет пухом.

Через положенное время последовало приглашение на премьеру в Таллин.

Меня встретили эти сдержанные, серьезные эстонские люди, поселили в гостинице. Режиссером была Мерле Карусоо, молчаливая молодая женщина.

Меня привели на спектакль с инструкцией — не говорить по-русски. Рядом будет шпион. А дело в том, что они меня выдали за жительницу Эстонии (видимо, польского происхождения) и под этим предлогом вообще не отправили Министерству культуры СССР русский оригинал, представили эстонский вариант, а узких специалистов со знанием данного языка в Минкульте не оказалось. Посему они послали своего человечка проследить, что будет за автор.

Автор сидела и молчала, даже в антракте рта не раскрыла. Тихие эстонские зрители молча глотали слезы… Вытирая их со щек запросто, тыльной стороной ладоней.

Потом был банкет, стол накрыли афишами, автору преподнесли бутылку «Чинзано» (главный режиссер Калью Комиссаров купил в Испании, ого! Они уже ездили туда). И автор встал и исполнил на чистом эстонском языке запрещенный гимн старой Эстонии «Муи самаа» (когда-то, когда я была в университетском хоре, мы исполняли его на празднике песни в Риге). Все медленно и чинно встали и выслушали до конца. Никакой дружбы не возникло, хотя я однажды и сказала: «Мы одной крови, вы и я. Нас угнетают еще почище чем вас».

В гости по домам меня не звали.

Через год я приехала по их приглашению на фестиваль молодых режиссеров. Играли и «Чинзано». Так случилось, что ко мне специально приехала моя американская переводчица, театровед и специалист по Мейерхольду, Альма Лоу. Она посмотрела «Чинзано» и вечерним поездом уехала в Питер.

Я ничего не хочу сказать, но внезапно меня пригласили на пати в квартиру Матти Унта, завлита театра и писателя. И со мной как-то стали вроде бы дружить…

Я ничего не хочу сказать. Я их любила и вспоминаю о них с нежностью.

Глава следующая.

5. «Уроки музыки» Виктюка

В 1980 году наш спектакль «Уроки музыки», прошедший в клубе МГУ на ул. Герцена шесть раз, был запрещен ректором Московского университета Логуновым. А затем началась эпопея под названием «Как Ефремов победил Логунова».

Мало кто знает эту волшебную историю.

Никто, если честно говорить.

Когда Виктюк поставил мои «Уроки музыки» в ДК МГУ на ул. Герцена (теперь там храм), в Москве началась обычная театральная паника. Все стремились в университетский клуб, а Виктюк, как нарочно, установил зрительские места на сцене. Туда надо было пробираться по какой-то лестничке, затем рассаживаться на хрупких конструкциях. Мест было мало. Внизу зиял пустой зал. Для задавленных советских зрителей это было непереносимое переживание. Свобода вот она, рядом, четыреста мест — а мы жмемся. Особо отчаянные устраивались на выступах стен. Помню эти фигуры, держащиеся за какие-то балки…

Разумеется, у входа возникали скандальные ситуации и прямой мордобой. Пожилому пожарнику журналистка Г. заехала по скуле. Все знали, такое долго не протянет, и лезли напролом. На седьмой раз в коридоре клуба появилось объявление: «Экспериментальный спектакль «Уроки музыки» закрыть в связи с окончанием эксперимента».

Затем нас с Виктюком вызвали к ректору МГУ Логунову (кто-то из друзей театра постарался). С нами пошли в бой Ефремов и Арбузов (с моей стороны) и главный редактор журнала «Искусство кино» Сурков (со стороны режиссера). Типа «дорогу женихову брату».

Что это была за феерия! Логунов смотрел и никак не мог насмотреться на Олега Ефремова. Сурков говорил опасные, почти антисоветские речи. Арбузов мудро молчал и производил могучее впечатление. Он не верил в победу. Меня вообще не спрашивали.

Университетский чиновник, шепелявый и лысый, пятнисто-розовый, какой-то шелудивый под ярким солнечным лучом из пыльного огромного окна, выступил довольно зверски:

— А вот вы, Олег Николаевич, почему бы вам не пофтавить «Уроки мувыки» у фебя в театре? Раф вы говорите, ффто это такое необыкновенное фобытие? А?

Он фыркал при разговоре. Фонтанчики слюны били из его рта и сверкали на солнце.

Ефремов ответил, что речь идет не о пьесе, а о режиссерском решении спектакля. Это главное. Спектакль как целостное

решение, где все компоненты и т. д., это уже готовое произведение. И нет смысла его делать на другой сцене и другими средствами.

Ни к селу ни к городу Логунов, который до тех пор молча любовался Ефремовым, вдруг выступил:

— А я приехал в Протвино, а вы как раз оттуда уехали… А то бы встретились!..

Все помолчали, ошарашенные такой репликой.

Сурков очнулся и сказал, что они здесь нарушают постановления ЦК о работе с молодежью! (Жуткая крамола по тем временам, обвинение из разряда серьезных.)

— Надо читать эти постановления вам, вам, которые именно что работают с молодежью, — заявил Сурков.

Шепелявый, прыская слюной в контражуре (он сидел на фоне окна, прямо напротив меня), опять-таки победил:

— Че мне их читать, я их лично фам пифу. Мои пофтановления!

Мы возвращались из университета подавленные. Всё.

Мой Арбузик зорко и печально глядел вперед. Ефремов был невозмутим. Мало, что ли, его унижали и ставили на место.

Я, вспоминая, как косноязычный дядя пускал слюну, все еще смеялась.

А потом было очень тяжело.

Человеку, которого лишили свободы, можно утешаться тем, как смешно говорят тюремщики. Как они нагло врут.

Но этого хватает ненадолго.

Однако через некоторое время, в ноябре, Ефремов вдруг мне позвонил:

— Тут была у нас отчетная московская партконференция, — сообщил он.

— Да, я читала.

Это был великий ежегодный московский съезд всех партийных чинов. Надо было стать делегатом конференции! За такую честь сражались. Олег Ефремов им, разумеется, безо всякого усилия был. И слегка гордился этим. «У НАС отчетная конференция».

— Так вот (продолжал Ефремов). Ко мне подошел Логунов с тем своим человеком.

— Да ну!!!

(Разумеется, Логунов увидел на партконференции великого Ефремова, обалдел и, взявши под ручку своего слюнявого помощника, чтобы быть посмелее, подкатил к нему с разговором.)

Короче, они ему сказали, что, конечно, ни о каком «фпектакле» в МГУ и речи быть не может. Секундант ректора

выразился в том смысле, что «универфитет» не может быть в конфронтации к «правительфтву».

(Ни больше ни меньше.)

Но что, дескать, эти ваши актеры и режиссер с автором и со своими «Уроками музыки» могут убираться на все четыре стороны и играть в другом каком-нибудь месте подальше.

— Это серьезно? — ахнула я.

Ефремов ответил:

— Я тоже этим интересовался. Но у них нет ни одной непродуманной фразы. Так, скорее всего, решили в верхах.

Я засмеялась от счастья и тут же позвонила своему дорогому режиссеру.

Очень скоро Виктюк нашел ДК «Москворечье», где директорша была согласна нас пустить.

И мы играли до лета 1980 года.

Рома Виктюк был моим очень хорошим другом. Я просыпалась часто от его звонка. Он бодро восклицал:

— Гениальная!!!

Я откликалась:

— Мейерхоллд?

После каждого спектакля «Уроков музыки» мы беседовали. Каждая моя — самая минимальная — просьба исполнялась.

Помню, я долго пыталась найти контакт с Валей Талызиной, исполнительницей роли Таисии. Валя была у нас единственная профессиональная актриса из настоящего московского Театра им. Моссовета. Остальные актеры были из университетского театра и исключительно для Феллини. Невероятные! Душераздирающая игра! А какие типажи! Галя Стаханова в роли Грани являла собой совершенно новый театр, новую манеру игры. Не-театр. Бабы-актрисы таскались на далекую Каширку смотреть именно на нее в первую очередь… Один из актеров, игравший Иванова (Н.Степанов), вызывал особенный смех у зрителей (у актеров-зрителей он вызывал истерику). Они спрашивали, у какого гастронома мы подобрали этого алкаша. Мы отвечали, что он известный физик и лауреат Госпремии… Так вот, Валя Талызина их всех в веселые минуты называла «этта самодеятельность».

А в спектакле была такая сцена, что Валя (в роли Таисии) в присутствии собственного мужа (артист Юрий Горин) учит молоденькую Нину, как вести себя с мужиком: «Будешь отпускать его… Ничего, не мыло, не измылится… Пивка попьет… Мужик, он место терять не любит» и т. д. При этом, просила я Валю, надо смотреть не на Нину, а выразительно именно на своего мужика! Валя бледно улыбалась в ответ на мои предложения. Дело не двигалось. Но потом, неожиданно, на одном из спектаклей

умница Валя это дело сыграла, да так, что Юра Горин реально покраснел от неожиданности и стал, поднявши бровь, крутить головой. Видимо, Рома все-таки убедил свою актрису.

Потом в Москве должна была быть олимпиада, высылали всех проституток и нежелательные элементы и вообще чистили Москву. Спектакль в рамках борьбы с отрицательными явлениями закрыли навсегда. Виктюк, правда, ставил его потом по стране, взяв в качестве помощника Юрия Петровича Горина, замечательного исполнителя роли Федора Ивановича в «Уроках» (он знал спектакль наизусть). Горин ставил, а «Мейерхоллд» затем наводил окончательный глянец — процесс, называемый в театре «он приехал и рукой мастера».

6. «Чинзано» Виктюка

Что же, Виктюк провел следующий удар — в ответ на запрещение «Уроков музыки» он поставил «Чинзано» и «День рождения Смирновой» в том же ДК «Москворечье».

Снова все повторилось. Снова зрители на сцене, снова мордобой и давка у входа, крики: «Мы всего на один день в Москве!!! Нас тридцать человек, семинар из Сибири!!!»

Те же «народные артисты» во главе с Галей Стахановой заняты были в спектакле. Добавился и прекрасный новый актер — Саша Берда.

Но затем райкому партии (отделу культуры) надоела вся эта свистопляска вокруг их ДК, и меня закрыли вообще как автора в «Москворечье», запретили именно мои тексты. Рома пытался спасти театр, даже поставил какие-то воспоминания Брежнева — но прежнего было не вернуть.

Его уволили.

Его начали пасти какие-то люди из КГБ, назвавшие себя, к примеру, Жуков и Попов, они вызывали Рому для переговоров, угрожали лагерем (встречи происходили у некоего кафе-стекляшки). Он ведь нигде не состоял в штате. Четыре месяца человек не работает, милости просим в зону за тунеядство.

Мой ученик, Саша Почукаев, работал в это время в одном Доме культуры в Кунцеве худруком. Мы с ним поговорили, и он взял Виктюка на какую-то мелкую работу в свой ДК.

Три года там держали его трудовую книжку и даже, чтобы соблюсти закон, что-то ему платили, но он, по слухам, так ни разу и не появился по месту работы хотя бы ради зарплаты.

У него уже начался новый период. Он был знаменитым. И Ефремов дал ему делать спектакль.

А когда меня пригласили в «Современник» (типа «что-нибудь ваше»), я назвала фамилию Виктюка как режиссера, Ахеджакову и Авангарда Леонтьева как главных исполнителей и дала четыре пьесы под общим названием «Квартира Коломбины».

Но наши отношения с Ромой почему-то сильно ухудшились.

То есть начиналось все великолепно. Я тогда дружила с Лией Ахеджаковой. Она ко мне ходила и читала мои тексты: искала репертуар для своих гастрольных концертов (в просторечии «чёс»). Мои дети уже к ней привыкли, мы поили ее чаем. Но дело не шло. Ничего для чёса найти ей не удалось. Читать со сцены мои рассказы? О самоубийцах, алкоголичках, абортах? Всю эту чернуху? (Правда, в других странах это называется экзистенциализм, ну да ладно.)

И вот когда меня пригласили в «Современник», я ей, собственно, и собралась отдать главные роли в четырех пьесах («Любовь», «Лестничная клетка», «Анданте» и «Квартира Коломбины»). Еще я наметила себе прелестного, смешного и скромного Авангарда Леонтьева, который меня поразил в каком-то телеспектакле по Диккенсу. Мне хотелось, чтобы эта парочка и играла во всех четырех пьесах. Как режиссера я назвала Рому Виктюка.

А вот в «Современнике», когда Рома начал репетировать «Квартиру Коломбины», он вдруг резко изменился. На репетиции не звал, бесед никаких не вел. Лия Ахеджакова тоже перестала звонить… Ну и ладно, у меня своих дел было по горло (дети болеют, рассказы не берут, запрещены «Три девушки», уже был написан непроходимый «Московский хор»).

И потом Виктюк (когда все-таки разрешили «Коломбину») явил миру совершенно новый продукт. Безобидные мои пьесы стали какими-то слегка неприличными. В «Анданте» героиня Ахеджаковой по имени Ау лазила в штаны персонажу по имени Май, а потом садилась с этим Маем в сундук, закрывалась крышкой, свет пригасал, раздавалась тягучая музыка, после чего Ау выныривала из сундука, вытирая рот.

Это уже начинался новый, преображенный Виктюк.

Надо сказать, что «Квартиру Коломбины» я написала по его просьбе. Он, как всегда, позвонил: «Гениальная!» — «Мейерхоллд?» — «Напишите пьесу для не очень молодой артистки. Простаивает Самойлова Танечка, Максакова Людочка…»

Я, как всегда, ответила, что по заказу не работаю, но потом, смеясь, написала — о бессмертной старой актрисе, которая всегда останется на сцене — при условии, что муж будет главный режиссер.

Да, и там по ходу сюжета переодевали мальчика в девочку — Авангард Леонтьев первым в виктюковском сериале о трансвеститах натянул розовое платье и парик… После чего Виктюк поставил своих знаменитых «Служанок» с мальчиками в женских юбках.

Именно на «Квартире Коломбины» мы с Виктюком расстались навсегда. Я даже во гневе написала тайное (от Министерства культуры) письмо в худсовет театра.

Тем не менее я все равно защищала «Коломбину» всюду. Ее запретили после первой же сдачи Управлению театров. Это был очень хороший спектакль, он затем продержался на сцене лет девять.

7. «Чинзано» Виктюка (окончание)

А спустя какое-то время меня пригласили в ЦДРИ.

Настали новейшие времена.

Виктюк после долгого перерыва показывал запрещенный спектакль «Чинзано» и «День рождения Смирновой».

Небольшой зал был забит под завязку.

В спектакле, однако, оказалась одна привнесенная только что и не известная мне маленькая деталь — все актеры работали полураздетыми. Девочки до комбинаций, мальчики без верхней одежды, только в нижней, в штанах. И то у актера Саши Берды поползла на джинсах, расстегнулась молния.

Она ползла, ползла… Я сидела, опустивши свою бедную голову. Зрители замерли. Уже никому не был важен текст. Свалятся ли джинсы?

В перерыве я подошла к Виктюку. Он выглядел смущенно-довольным, как при большом успехе.

На мой вопрос он дьявольски-весело поднял бровки:

— Люсянетчка! Ну сломалась эта штутчетчка… на молнии что-то…

Я поняла, что это его новый прием.

Что так теперь будет всегда.

Затем до меня дошли сведения, что новый руководитель Театра им. Ермоловой, Валерий Фокин, покупает «Чинзано» для показа в своем театре.

Я позвонила ему. Фокин был со мной нелюбезен. Изначально раздражен. Конечно, кому понравится, когда автор просит поправить какие-то несущественные детали в костюмах! Молнию в штанах, еще чего! Да еще в спектакле, за который деньги заплачены! Куплен-то спектакль!

— Знаете, — жестко сказал он. — Вы имеете право только на название, оно не изменилось? Нет. На собственное имя, так? Оно ваше? И на текст. Все остальное! Все остальное это собственность режиссера!

— Ну тогда я закрою спектакль, — ответила я.

Он положил трубку.

Видимо, я позвонила ему в неудачную минуту.

Потом я обращалась к разным людям. Никто толком мне ничего не мог посоветовать. Смешно даже, автор требует застегнуть штаны актера! На это нет его авторских прав!

Потом мне сказали обратиться к Иону Друцэ. Этот замечательный писатель перед тем запретил свой собственный спектакль во МХАТе. Мне сказали, что ему это удалось.

Он действительно отозвался и сказал, что для этого надо сделать. Послать телеграммы в театр, в Управление культуры и т. д., что я прошу снять свою фамилию с афиши.

— Но у вас ведь есть свое собственное оружие, — заметил он. — Вы же писатель. Напишите об этом статью.

Я тут же села и написала. Я предположила, что это идет «Ревизор». И что Хлестаков входит в свой нумер и видит, что Осип лежит в его кровати. Далее Хлестаков говорит (к примеру). Текст пока что мой, надо свериться с Гоголем.

Он говорит нараспев (а сам в это время стаскивает сапоги):

— Оиййй… Ну че ж это такой-я… Оиййй. Ну кто же тебе позволил валяться на барской кроватииа… Дурачо-ок какой…

Снимает носки.

— Ну оиййй… Праа-тивнай. Кто разрешил прям не знаю-уу…

Сбрасывает сюртук.

Осип солидно гудит из-под одеяла:

— Нешто я дурак, валяться… Мы не валялися… Ни на какой вашей, барин, кроватиии…

— Раб есть раб, — поет Хлестаков, снимая штаны, — обманывать, ну как не стыднааа… (В нос.) — Че лежишь-тааа… Подвиньси-и…

— Да не валялися мы… Ой, не валя…

Писк. Хлестаков ныряет под одеяло к Осипу.

Дальнейший разговор идет из-под одеяла.

Текст не меняется.

Итак: название соблюдено. Фамилия Гоголь есть. Слова Гоголя (мои так, в виде рыбы).

Известно, что Николай Васильевич Гоголь уже давно перевернулся в гробу.

Я послала телеграммы с просьбой снять мое имя с афиши. Театру Фокина я гордо написала в конце: «Нам с вами не по пути».

Так и закончилось «Чинзано» Виктюка. Говорят, они играли, но без особенного резонанса. Несколько раз.

8. «Чинзано» Козака

А потом, не помню сколько лет спустя, мне позвонил Игорь Васильев и сказал:

— Есть ребята, которые играют «Чинзано» так, как хотел его поставить я.

И он за мной приехал и повез меня на спектакль в театр-студию «Человек». Там Роман Козак поставил спектакль с актерами Игорем Золотовицким, Григорием Мануковым и Сергеем Земцовым.

Спектакль был превосходный. Актеры — молодые, красивые — пели и приплясывали. Это был настоящий праздник театра. Чего стоило одно нарезание колбасы на коленке — или фокус с питьем из двух стаканов, вставленных один в другой! Зрители смеялись почти до конца. Потом замолкали.

Тем не менее, ребята сделали в тексте одиннадцать ошибок.

Я указала на них. Достали текст. Выяснилось, что это были опечатки машинистки из ВТО.

Засмеялись:

— А мы-то пытались оправдать это дело!

Но менять они ничего не стали, мотивируя это тем, что привыкли.

В 1989 году нас впервые пригласили на фестиваль в Мюнхен.

Когда я, приехав в Мюнхен, пришла на первый спектакль, слегка опоздав, у входа стояла слитная, нерушимая толпа. Молча и мощно ожидала чего-то (что пустят в переполненный зал?). Пройти к дверям было нельзя. Не помог мой писк: «Битте» и «Их бин ауторин» (Я автор). Только когда одна немка, опоздавшая, стала потрясать билетом, перед ней разомкнулись. Я протырилась в ее кильватере. Когда мы вынырнули с той стороны, у дверей, на моей руке отсутствовали часики, которые мне дала моя переводчица Маша Титце, чтобы я не опаздывала.

Спектакль прошел хорошо, немцы в конце орали, скандировали и дружно, сидя, топали ногами.

Когда все разошлись, я из любопытства отправилась в фойе и нашла Машины часики, они лежали в центре зала на полу…

Германия! Честные люди.

Маша к тому же пребывала в депрессии по поводу того, что другие переводчики нашли ее перевод «Чинзано» несовершенным. Ну, это была обычная война толмачей, которые изыскивают блох и обвиняют друг друга с целью убить конкурента, с этими тайными дуэлями я потом сталкивалась частенько. Легче легкого найти неточность — да перевод не может и не имеет право быть

точным! Я не говорю о таких роскошных ошибках, как толкование русского слова «дантист» в английском тексте, кажется, Булгакова (герой там записался на прием к специалисту по Данте). Но перевод может быть живым и талантливым на своем языке и даст возможность чужестранному автору стать своим и любимым.

Я как могла утешала Машу Титце и сказала ей, что в случае хандры женщина должна идти покупать себе шляпку!

Мы завеялись в огромный магазин и начали там мерить фантастические на советский взгляд головные уборы. В результате Маша отказалась ото всего и с унылым видом пошла и купила мне дивную шляпку со страусиным пухом и бриллиантом, которую я потом носила много лет в честь нашего «Чинзано».

Разумеется, в Мюнхене мы не только показывали спектакль и бегали по дешевым лавочкам, покупая домой подарки.

Мы еще братались с нашими молоденькими переводчиками. Они нас жадно выспрашивали о жизни в России. Это были настоящие билингвы, русские эмигрантские дети, выросшие в Германии, они самоотверженно работали на фестивале как волонтеры, возились с нами как няньки и — вот счастье — заказали большую машину и тайно повезли нас в сокровищницу, в заповедное место, которое снилось каждому советскому интеллигенту: на склад издательства «ИМКА-пресс». За книги из этих мест наши люди шли на каторгу! (Т. е. от 2-х до 5-ти, невинное название книги Чуковского и столько же лет за хранение и распространение антисоветской литературы).

Нас привезли. Мы могли взять все, что хотелось.

Мероприятие для Али-Бабы в пещере сокровищ.

Дома реяли красные флаги, в магазинах не было ничего (в книжных имелись собрания сочинений секретарей Союза писателей СССР, в приемных пунктах макулатуры на пуд собранных старых газет можно было получить что-то из Дюма и Пикуля). Студенты и тоскующие читатели, не в силах расстаться с любимым текстом, воровали книги из библиотек, за это полагался нормальный уголовный срок, так ловили диссидентов во время обысков: штамп библиотеки на старой брошюре, где взято? А нашел. Тогда получите срок за укрывательство краденого.

Я, окоротив себя, взяла десять книг, среди них Бунина «Окаянные дни», Ницше, Фрейда, фотоальбомы Булгакова и Ахматовой.

В гостинице я хитроумно спрятала все это, как дикая птица свои яйца, в изгибах куртки, купленной для кого-то из детей. Куртку уложила среди штанов и маек в новую большую спортивную сумку, это тоже был подарок детям. Мы все

запасались чисто вещественными сувенирами. Дома было и одеть-то нечего. К сожалению, руководители фестиваля в Мюнхене (с немецкой стороны Йохан Хан) принесли нам всем подписать некоторый договор, что мы отказываемся от гонораров за свои спектакли. Нам выдали только суточные, и то из них что-то вычли в пользу государства. Поэтому я свирепо экономила и за завтраком тайно, воровски делала себе три бутерброда на день. Так что бесплатные книги были кстати.

(Боже мой, на что только не толкали нас наши власти! В Стокгольме, я помню, мы, советские авторы из делегации драматургов, повстречались с нищим питерским театриком, который в полном составе хитроумно выехал по частным приглашениям сердобольных театроведок в Швецию и играл пантомимы на улицах. Театрик-то был нищий, но они на свои деньги уже купили себе два микроавтобуса и собирались летом ехать в Авиньон на фестиваль! Они тут же стали нам привозить на велосипедах картонные ящики с платьями и куртками, а потом открыли карты — оказалось, они регулярно посещают благотворительную помойку. В результате по заявкам интеллигенции (кто-то взмолился) бродячие мимы отвезли драматургов на своем микроавтобусе куда-то в светлые дали. Мне из этого их богатейшего улова досталась в дар красная плетеная корзиночка, никому не нужная. Люди подобрали себе немного намоченные новые куртки и кожаные польты!)

Когда мы уезжали из Мюнхена, в аэропорту меня окружили «чинзанщики» и предупредили, что им велели все, что было взято на книжном складе, оставить в гостинице.

— И вы оставили?! (Пожатие плечами, растерянные лица.) А я везу!!! Не отдам!!!

Видимо, кто-то слышал наш разговор.

Вскоре меня навестило театральное начальство во главе с Шадриным (хороший мужик по прозвищу «человек с ружьем»).

— Людмилочка Стефановночка! (Это был у них как бы предупредительный выстрел в воздух, такое обращение.) А вы что, везете книги?

(Ясно какие.)

— Да, везу.

— Ой, ну вот этого не надо, не надо. Л.С., не-на-да! Оставьте лучше, по-доброму советуем. Ну мало ли. Будут у вас неприятности.

(Боятся, что *неприятности* будут у них.)

— Так, — сказала я угрожающе. — Такк! Это что, запрет на профессию?

(Совершенно несоветский термин, кстати. Они не знали, с

чем это едят.)

— Я же писатель! Я везу книги, необходимые для работы!

— А, Л.С, если не секрет, че вы такое это… Ну, скажем, взяли?

— Я взяла что? Да Бунина, Ахматову, Булгакова. Ницше взяла, Фройда, Джойса.

Они покивали.

— Вообще-то все равно не рекомендуется, знаете…

Я была совершенно честно возмущена. Наконец одну светлую голову посетила умная мысль:

— Л.С., вы знаете что? Вы в декларацию все это дело возьмите занесите, а то что это… Как-то не хочется, чтобы… как бы это выразиться… И все будет открыто. Так сказать, весь списочек с названиями.

Они отошли, сняв с себя всю ответственность за мое дикое поведение, оч довольные. Они рекомендовали мне самой на себя написать донос. Никто ведь не отменял срок, предугаданный Чуковским, за хранение и распространение…

Дальше события разворачивались совсем уже гомерически.

Та сумка, в которой ехала куртка и спрятанные в ней книги, в Шереметьеве пропала. Мои высоченные «чинзанщики» уже торчали в голове огромной очереди к таможенникам, а я все ходила вдоль транспортера и по окрестностям, с отчаянием понимая, что проблему решили без меня. Но там были все детские вещи! Феде, Наташе, Аньке и маленькой Маньке!

Как вдруг я, окидывая безнадежным взглядом полы и чужой багаж, увидела свою новенькую сумку среди десятка других, аккуратно разложенных у ног благостного старичка, который стоял, прислонившись к стене, и с улыбкой смотрел вдаль. Он стоял не хуже чем пастух среди стада овец, что-то жуя, уверенный в себе и довольный своим достатком. Глазки у него радужно сияли, как лужицы с керосином на асфальте. Новая челюсть выпирала изо рта. На его прекрасном шерстяном костюме торчали беконечные ряды орденских колодок и коллекция нерусских медальных украшений типа значков. И весь он как-то топорщился, удерживая равновесие. Может быть, ему трудно было находиться в вертикальном положении. Но он был стоек. Я набралась смелости:

— Вот это моя сумка, извините!

Он неожиданно ответил, восторженно на меня глядя:

— А я и не отрицаю!!!

Я взяла сумку, приоткрыла молнию — игрушки, куртки. Моя. И — о счастье — успела к своим рослым актерам, Грише по кличке Тибул, Игорьку Золотовицкому и Зяме (Земцову), которые

высились во главе очереди прямо перед таможенным контролем.

Я почти плакала.

— У меня украли сумку! — нарочно громко сказала я. — И я ее столько искала! Представляете?

Текст был предназначен насторожившейся очереди и таможенникам.

Таможне еще только этого не хватало. В данный момент они шерстили коробки какого-то хорошо одетого мужчины. Коробок было штук тридцать. Они были аккуратно завязаны веревками. Потный мужчина покорно распутывал узелки. Очередь хмуро нависала. Таможенник явно работал по наводке.

— А это что? — спрашивал он.

— Это? Да это что… наручники, — как малому ребенку, втолковывал ему мужчина.

— Зачем? — глупо спрашивал таможенник, пока другой вспарывал еще коробку.

— Это сувенир, понимаешь? В подарок, в подарок.

— Откуда везете?

— Из Африки, понял, из Анголы я еду, по работе там, из Анголы.

Наконец с ним покончили. Несчастный погрузил свои хлысты, кастеты и наручники на три тележки и повез их куда-то за кулисы.

И тут я увидела моего радужного старца. Он уже был по ту сторону барьера, видимо, прошедши таможенный контроль. Он держался скромно и сбоку, прихватив ручку багажной тележки. А саму тележку везла по направлению к таможенникам (повторяю, с той стороны) какая-то расстроенная пожилая женщина. В тележке было чемоданов и сумок чуть ли не выше ее головы.

— Гражданка! — рявкнул таможенник, еще не остывший после наручников. — Сюда нельзя! Вы переходите государственную границу!

— Товарищи! — как обокраденная, завопила бедная женщина. — Товарищи! Папа набрал чужих чемоданов! Это не его багаж вообще он вывез! Он генерал! Дамские какие-то сумки!

— Гражданка! — испуганно отвечал таможенник. — Сюда вам сказано нельзя! Государственную границу пересекли!

— Он был, — кричала генеральская дочь, не слушая, — на встрече ветеранов «Люфтваффе» в Мюнхене! Немцы эти ему черт-те чего надарили насовали! Вместе воевали, понимаете? Он не может вспомнить! Напоили!

Старичок, дополнительно, вероятно, накачанный в первом классе аэрофлотовским коньяком, осторожно держался за тележку и улыбался, делая жевательные движения. Или ему

мешал зубной протез.

Мне тут же вспомнилось, как ответила одна приемщица обуви в ремонтной мастерской одинокому пьяному посетителю, который ей игриво напомнил, что он, может быть, с ее отцом вместе воевал.

Она отвечала из своего окошка резко, как кукушка из часов:

— Вместе воевали, друг друга убивали.

(Я присутствовала при этом в одном сапоге, ожидая на газете, пока к другому прибьют подметку.)

Разумеется, при таких форс-мажорных обстоятельствах я со своими книжками перешла границу беспрепятственно.

Будут еще они возиться с какими-то Буниным и Булгаковым! Тут наручники и кража! Тем более что я перед этим громко заявила, что у меня украли сумку. И может быть, эта дочь-старушка как раз везет украденное, и вот-вот эти бабы начнут разборку вещей на государственной границе! Разложат тут все!

Книги эти с тех пор стоят у нас на полке, чудесные книги, вышедшие в те достопамятные времена, когда Горбачев охотно раздавал направо-налево права и свободы посторонним странам, где свергались правительства, уходили в небытие партии и чиновники, менялся государственный строй. Горби был любимцем тети Риты Тэтчер, дяденьки Коля и всего прогрессивного мира. И только дома он ничего не хотел отдавать, храня и компартию, и республики, и строй, и все порядки, лагеря и запреты, и главное — голод и голод, пустые магазины, повальное воровство и очереди, бесконечные очереди… В руинах лежала непомерная советская земля, как во время войны — во время войны руководства со своим народом.

Впоследствии «чинзанщики» объехали Европу, Америку, побывали и в Латинской Америке, и на Мартинике. Двадцать две страны (или двадцать пять?) их пригласили.

До сих пор «Чинзано» и «День рождения Смирновой» ставят то в Швейцарии, то в Польше, то в Турции, то в Чехии.

Нет уже на земле нашего дорогого Арбуза. Рано умер замечательный Эмиль Левин. Умерли Олег Даль с Валентином Никулиным.

А «Чинзано» немного в другом составе (Манукова, живущего во Франции, сменил сам режиссер, Роман Козак) все еще играется — раз в три месяца… Спектакль стал лучше. Не потеряв юмора, приобрел в трагичности. Играют его уже не юнцы, но зрелые

актеры. Декан актерского факультета школы-студии МХАТа Сергей Земцов, популярный театральный, теле- и киноактер Игорь Золотовицкий, главный режиссер Театра им. Пушкина Роман Козак.

Восьмого декабря 2003 года — тридцать лет со дня написания «Чинзано».

P.S. Однажды я приехала на премьеру своего итальянского спектакля «Чинзано» в Милан. В аэропорту меня встретила огромная, во всю стену, реклама вермута «Чинзано». Здорово рекламируют мою пьесу, пошутила я сама с собой.

Забавно, что фирма «Чинзано» как-то в Латинской Америке выражала протест против наших гастролей, а некоторое время спустя корреспондент «Коррьере делла сера» во время интервью спросил меня, что я думаю по поводу того, что фирма «Чинзано» хочет подать на меня в суд за использование их названия. Я ответила примерно так, что по меньшей мере они должны купить нашим «чинзанщикам» караван для гастролей — за долгую и верную пропаганду этого кошмарного пойла (если хлестать его стаканами). Но и в суд тоже пусть подают. Здорово! Пусть явятся актеры из других всех стран. Может, и часть зрителей. Пусть нас защищают…

Но они в суд подавать не стали. Подумали и отказались от этой идеи. Ну если актеры пьют «Чинзано» стаканами (безо льда, без лимона), закусывая вареной колбасой, — значит, может быть, это у русских такой национальный обычай. И потом, все-таки тридцать лет мы с этой фирмой вместе…

Это поколение-82

Наша дочь родилась в последний год правления Брежнева. Это были баснословные времена, другая эпоха.

Через двадцать дней после ее рождения у меня закрыли спектакль в Ленкоме, «Три девушки в голубом», и премьера состоялась только когда ребенку было уже три года с гаком.

Собственно говоря, Наташа к этому времени успела сменить троих руководителей партии и правительства — упомянутого Брежнева, больного водянкой Андропова, а также неходячего Черненко, и жила уже при правлении улыбчивого, молодого и здорового, хотя и подозрительно малограмотного Горбачева.

При кратком правлении Андропова начали сажать без разбору, лагеря были переполнены так называемыми «хозяйственниками», т. е. теми, кто зарабатывал больше секретарей райкомов КПСС (кто не знает, что такое КПСС, — Коммунистическая партия Советского Союза, а кто не знает, что такое Советский Союз, СССР — это Союз Советских Социалистических республик, их было 16 штук, включая почти европейскую Прибалтику, Украину с морями, фруктово-винную Молдавию, весь мирный Кавказ и тихую, спящую под дождем ядохимикатов среди хлопковых полей Среднюю Азию), а также лагеря были полны читателями запрещенной литературы.

Когда Наташе был год, как раз и наступил андроповский 37-й год, и у нас посадили друга, и мы стали тоже готовиться к обыску, пораздавали все книги и рукописи знакомым. И не было человека, который бы отказался взять опасный груз. За хранение и распространение давали до пяти лет лагерей…

Андропов помер, затем воцарился совсем уже хромой на голову Черненко, его за руки водили (на глазах включенной телекамеры) к урне голосовать, но он успел объявить «Год письма», вернее, за него объявили, и начали отвечать на письма трудящихся. Я написала письмо Черненко (с уведомлением о вручении), что у меня закрыли спектакль неизвестно почему, и «Три девушки в голубом» опять посмотрели (его смотрели регулярно раз в полгода, но решения не выносили никакого). Опять не разрешили, на том уже и Черненко помер.

Кстати говоря, про этот каскад похорон в народе ходил анекдот: «У вас есть пропуск в Колонный зал на похороны?» — (Гордо.) «У меня абонемент!»

Именами усопших тут же называли города. Хороший город Рыбинск стал г. Андропов. Возник город Устинов (в честь покойника маршала). Была жуткая байка, как телефонистка

междугородки кричит на весь зал: «Андропов, вас вызывает Устинов!» (Мертвец мертвеца.) Про ушедшего Черненко (его звали Константин Устинович) ходил следующий анекдот: «Стали думать, как в его честь назвать Одессу. Черненковск — мрачно, Устинов уже есть. Э, переименуем Одессу в Константинополь!»

Итак, Наташе исполнилось три годика, и явился Горбачев. Это был четвертый и последний Наташин партийный руководитель КПСС, и вдруг наш спектакль в Ленкоме разрешили, мы ликовали, на общественном просмотре в театре толпа зрителей прорвала ограждение, смела дружинников (одному сломали руку) и проникла на второй этаж в пальто.

Никто не верил, что послабление пришло надолго, старались успеть. Вообще все было как в последний раз, даже когда давали сыр или подушки, толпы ломились.

И действительно, через полгода спектакль опять закрыли, теперь уже лично член Политбюро КПСС по фамилии Лигачев. Спектакль разрешили только через полгода. Лигачев прославился одним — фразой в адрес Ельцина: «Борис ты не прав». Теперь и это забыли.

Ни Наташа, ни все эти деятели не подозревали о существовании друг друга, а вот в моих воспоминаниях руководители всего-навсего ее современники. Так странно устроены родительские глаза!

Когда Наташа еще ходила в садик, наш средний, Федя, написал после уроков на доске «Да здравствует тысячелетие крещения Руси!» Классная руководительница позвонила нам с возмущением и наткнулась на меня, а я молча передала телефон мужу. Все что я услышала (и классная) от нашего горячего папы, могло заставить верующего перекреститься, а неверующего вздрогнуть. Феде пришлось уйти из этой английской школы.

Когда Наташе исполнилось семь лет и в классе надо было вступать в октябрята, Наташа не пошла в этот день в школу. Прогуляла и дополнительный набор в октябрята, который устраивался позже для плохих и отстающих учеников. Учительница заподозрила что-то неладное, назначила индивидуальный прием. Беспартийная Наташа со слезами и в этот день просилась в школу, потому что уже дети из соседних классов ходили на нее смотреть как на ту девочку, которая не любит Ленина (формулировка учительской).

Но шли новые времена, и нас не вызывали к директору и ребенка не исключили, как когда-то попросили из школы Федю, придравшись к его математике (а класс-то был с литературным уклоном) и, еще раньше, моего старшего, пятиклассника Кирюшу, который на обратной стороне тетради, где была клятва пионеров,

во фразе «пионеры преданы идеалам коммунистической партии» переправил, разумеется, «преданы» на «предали», плюнув на неверный падеж «идеалам». Кроме того, само собой понятно, он исправил слова «пионеры хранят память» на «пионеры хоронят». Меня вызвали на родительское собрание. Что там было! Один папаша, отставной майор с красным затылком, обернулся и, от ненависти избегая на меня глядеть, произнес вескую формулировку: «Сахаровщину разводят». Да, рядом с клятвой пионеров Кирюша изобразил еще и виселицу! Не в том смысле, в каком ее изображал Пушкин с подписью «и я бы мог», а просто они играли в слова с дружком.

Эту страшную улику, тетрадку зеленого цвета за три копейки с виселицей, классная руководительница Нинель (обратно ее имя читалось как «Ьленин») положила на стол перед собой. Перед тем они обсуждали поведение мальчика Веселова, который в гардеробе чистил карманы, а на переменах выигрывал у малышей деньги («А спорим, я тебе в ухо дам?»).

Про этого мальчика классная сказала, что он растет в трудной семье и мы его не бросим, а про Кирилла сообщила, что эту тетрадь она сохранит в его личном деле и передаст куда надо.

Я спросила:

— Вы что, на ребенка дело шьете? Ему же двенадцать лет!

Они мне не ответили.

Затем я как ни в чем не бывало встала, пошла к столу Нинель и тихо и просто взяла эту тетрадь и спрятала в сумку. И вернулась на свое место — и правильно сделала. Кошки не должны бегать от собак!

Они не знали как поступить. Майор окаменел. Он понял, что я эту тетрадь отдам только с жизнью. Судя по его виду, солдат-то он срубал на раз, а вот драться в школе ему еще не приходилось.

Затем я, пробормотав «ребенка надо кормить» (дома меня ждал младенец Федя), быстро вышла вон из класса.

И только на выходе поняла, что забыла на сиденье парты свою шапочку, которую незадолго до того связала.

Вернулась. Пошла к своей парте. На ней ничего не было уже.

Для вида все как-то поозирались, но были явно довольны. Наказание последовало! Шапку они попятили.

С тех-то пор я боюсь школьных собраний.

Итак, Наташе семь лет, она учится в музыкальной школе, барабанит «Савка и Гришка сделали дуду», носит косички, смотрит «спокуху», а на ночь папа читает им с Федей Библию или я рассказываю очередную сказку. Кончилась война в Афганистане! Это было счастье.

Многие из поколения Кирилла были там. Некоторые остались в горах навеки, искромсанные, о горе.

Вскоре Наташа начала ходить в детский церковный хор.

В первую же минуту путча 1991 года Наташа свалилась с высокой температурой, мгновенно отощала — так ее напугали наши крики и слезы. И болела все три дня, пока папа с Федей не ворвались в дом с криком «Они бежали! Гекачеписты дунули!» И тут же она ожила и встала.

Тем не менее тень голода нависла над нами, в магазинах ничего не было. Но законы стали полиберальней — разрешалось теперь покупать дома в деревне. (Раньше ничего было нельзя, и, чтобы приобрести избу, приходилось обманывать закон, составлять какие-то липовые доверенности или выписываться из города и прописываться на селе, причем с устройством на работу скотником или учетчицей, иначе не прописывали! Тоже было вроде рабства. А деревенским, что еще хуже, нельзя было уезжать в города, им не давали паспортов.) Но, повторяю, вышло послабление в законах. На гонорар от невышедшей книги мы купили дом в Дубцах Меленковского р-на Владимирской области, и следующие три года подряд (пока не заболела моя мама) мы с Наташей (а иногда приезжали и папа, Федя, Кирюша и его дети Маша с Анютой) проводили там лето. Сажали, пололи, собирали, поливали. Кормились с огорода.

Наташа носила воду сначала в маленьких пятилитровых канистрах, а потом стала стесняться — все дети смотрят — и стала носить по два огромных десятилитровых ведра от колодца, как взрослая. Начала говорить как все местные, на «о». Она «собирала ягоды, грибы», водила за собой команду голопузой малышни, дико боялась пауков и смотрела на звездное небо. Говорила: «Я трепещу перед небом». Крестилась каждый раз, взглянув на икону. Как все, говорила «ихово» вместо «ихнее» и употребляла глагол «заетывать». В деревне у Наташи объявился малолетний жених, Ефимка. Один раз мы даже нашли на крыльце ветку смородины с ягодами (результат набега на чужой сад, видимо — в своем садочке аккуратные деревенские дети не озоруют, не рвут ягоды вместе с веткой). Наташа сказала «дурак». В деревне Наташа сочинила свой первый и единственный за все свое детство верлибр: «Трава лелеет мои ноги, и полный луг цветет».

Это были странные, чудесные времена. Вдруг открылась государственная граница.

Большую часть своей жизни мы сидели в своей стране как в

лагере, огороженные колючей проволокой. Стремление поехать за границу считалось попыткой побега. За такие дела сажали. Ходили слухи о смельчаке, который переплыл Черное море и вылез на берег в Турции! Если бы его выловили из воды наши, дали бы ему восемь лет лагеря.

За границу мы ездили в Литву и Эстонию.

И вдруг — мы не верили своим ушам! — ворота лагеря открылись.

Мой старший, Кирюша (год рождения 1964), мало где бывал (в крайнем случае в Коктебеле или автостопом в Прибалтике), он ходил в обычную дворовую школу (у нас с мужем были демократические взгляды, пусть живет как все), хлебнул много чего (в частности, учительница первого класса меня вызвала и тяжело произнесла: «Вы последите за ним. Чой-то он самый умный в классе»). А на шестом году его обучения опять-таки та самая «Ьленин» наоборот, классная руководительница, тоже вызвала меня и низким голосом сказала:

— А вы знаете, что он Достоевского читает?

Я ужаснулась такому разоблачению и стала отрицать, но напрасно.

— А «Бедных людей?» — победно сказала учительница.

Дело происходило в темном коридоре школы, у женского туалета.

— Да вы что! — воскликнула я. — Он только до смерти студента Покровского дочитал, заплакал и бросил.

На дворе стояла холодная весна 76-го года, Федя только родился, до Наташи было еще шесть лет.

Кирюша, рожденный в 1964 году, уже с 16 лет работал в больнице, четыре года пахал санитаром в реанимации, учился в университете, служил дворником в подземном переходе, и только когда КПСС отдала концы, стал работать переводчиком и журналистом.

Зато Федя с Наташей — другое поколение — ездили со мной в разные страны, куда меня приглашали, поскольку детей мне не с кем было оставить, а Россия, открывшаяся для мира, всех интересовала, и приглашающая сторона была согласна даже на младших родственников.

Дети учили языки, пели в опере музыкальной школы, Федя ставил рождественские вертепы и спектакли, Наташа в них играла с полутора лет, и когда приходили гости, Федя немедленно вешал занавес в коридоре, рисовал билеты на клочках, давал «три звонка», сажал гостей на расставленные стулья… Это были длинные импровизации, и мы щедро хлопали.

В двенадцать лет Федя стал выпускать свой журнал, в тринадцать начал работать на телевидении, в шестнадцать в отделе выпуска газеты «Коммерсант».

Наташа, поколение-82, требовала конфет, жвачки, мороженого и Барби как у Оли Самойловой.

В результате у нее появилась кукла Барби, одинокая, недорогая, из стран народной демократии, с суставами на заклепках, любимая. Для нее мы построили из ящика домик, делали с Наташей стулья и кровати, шили (весьма коряво) ей юбки и клеили шляпы. Кукла вскоре облысела после очередного мытья головы, но все равно осталась любимой, даже когда моя переводчица привезла Наташе шикарную, настоящую Барби. Боже, какие сериалы Наташа закатывала с подружкой Анечкой при участии трех их «Барбей»! Маленькие артистки сидят на полу, глаза туманные, щеки румяные, куклы меняют наряды и разговаривают фальшивыми голосами, какими вскоре запищали и задудели героини мыльных опер, поскольку все роли дублировала одна несчастная актриса за малые деньги и говорила то колоратурой, то дородным нутряным басом, во всех случаях неестественно.

Поколение-82 отличалось нелюбовью к каше и супу, обожало кока-колу, чипсы и телевизор, ненавидело уроки физкультуры, математики и обществоведения и тяжело, с боем, читало требуемые по программе книжки. Любило это поколение только Карлсона, Муми-троллей и Пеппи Длинный Чулок, а также мультики (любые). Запрещенного для нас Достоевского этим детям задавали читать, и они вяло водили глазами по его ужасающим строчкам и называли «Фома»! (От инициалов образовавши.) Музыкальную школу наша девочка закончила на четверки, жутко волновалась на экзамене. Для отчетного концерта мы с ней купили на рынке ее первое в жизни модное платье — черное сверху, цветастое снизу, длинное. Она согласилась надеть бусики. Мы, глотая слезы, смотрели из зала, как она выходит к роялю словно к гильотине, обреченная несчастная пианистка. Как склоняет свои светлые волосы над клавиатурой, и ее пальчики, как сосульки, тюкают по клавишам, хорошо что по нужным.

Ну что же, вздыхали мы, эта младшая наша совершенно подавлена своими шумными старшими братьями и суровыми родителями. Что же, она будет жить тихо. Будет кофе подавать в офисе директору.

(Однако в дальнейшем, в шестнадцать лет, она пела со своей группой «Люди собрались» совершенно бесстрашно в любом зале.

Это уже произошла смена шкурки.)

Как все родители, мы старались таскать детей по музеям, по городам, по интересным знакомым — но дети в своих наушниках нас не слушали. Хорошо что успели поучить их той, другой, классической музыке и языкам еще в пору, когда они были обучаемы и послушно ходили в школу.

(Вообще это очень вредно, быть справедливым обвинителем. Обеим сторонам вредно.)

Продолжаю свою историю.

И потом — вдруг — это поколение вылезло из скорлупы, высохло, вылупило глазки и шасть вон из дому! Жить!

Как они при этом успевают учиться, читать своего Кастанеду, танцевать ночи напролет, слушать любимые группы, готовиться поступать кто куда, болтать по телефону, посещать музеи, кино, театры, есть бутерброды с одним вареньем, болтаться в секонд-хендах, общаться, подрабатывать где кто может, даже в телевизионных передачах, кататься на роликах, мыть (очень редко) посуду, что-то рассказывать родителям в восторге, ходить хвостом за старшими друзьями, бриться налысо, делать колечки, браслетики, писать какие-то статьи, учиться фотографировать, учиться рисовать, учиться петь джаз и «сводить» виниловые пластинки в подражание диджеям!

Нельзя сказать, что эти дети не боятся ничего, они видят вокруг себя эти перспективы — истощенных иглоукалывателей, цинковые ящики из армии и много еще чего…

Но дети так спешат все понять, они знают компьютеры, технику, музыку, уже на всем покатались, и, как любые новые существа, мгновенно принимают каждое любопытное предложение. На них работают целые индустрии. Заколачиваются миллиарды. Это они — надежда рекламы. Со всех сторон тянутся услужливые руки с сидюшниками, видеокассетами, кепочками-маечками, ботинками и штанами, сигаретами, таблетками и шприцами… Денег, правда, нет. Денег нет страшно, вплоть до разборок с родителями, которые недосчитались денег в кармане… Но появляются друзья, которые готовы на все. Угощают, принимают. Водят в ночные клубы. Звонят, забивают стрелки. Интересуются их жизнью.

Дети дали мне пейджер, когда я лежала в больнице. И на него стали приходить совершенно чужие сообщения (кто-то «прицепился», как сказал Федя).

Любопытства ради я переписала часть из этих переговоров:

Дима, позвони Данилу домой.

Дима, возможно, мы с тобой не услышимся сегодня, если есть возможность, позв. после 24 домой. Даниил.

Дима, мне нужно «Джохан Бленд». Да-да, это именно та вещь, кот. Мамедов крутил вместе с «Дельтой». Поможешь, Арт.

Выходи на улицу. Николай.

Заходи быстрее, Дима.

Дима, мы выезжаем. Брякни мне на мобайл. Арт.

Срочно позв., пожалуйста, мне домой. Николай.

Дима, ты не торопись, я за тобой заеду и напрямую поедем в «Манхэттен».

Ведь на самом деле, Дима, самое главное я тебе не сказал, а прошла уже практически неделя.

На домашний. Дима.

У шлагбаума в семь. Николай.

У шлагбаума в восемь. Николай.

Нужен срочно. Где ты. Николай.

Дима, к сожалению, задерживаюсь. Возм. встретиться не будет. Перезвоню завтра.

Армен, срочно позвони в «Ромашку».

Паша, позвони 7623150. Эдик.

Этот Дима, видно, уже ушел. От родителей — к друзьям. И если раньше все зависело от семьи, то теперь все будет, как скажут Эдик-Паша-Арт и странный Николай у шлагбаума. Они чем-то зарабатывают на жизнь. И Дима им нужен.

Теперь они будут вести Диму по жизни.

А что же поколение-82?

За два-три последних года это поколение проделало огромный, невероятный путь (та самая «смена шкурки») — от мирного семейного сосуществования, которое проходило под бочком у мамы со всхлипом «ты знаешь, оказывается, у меня нет друзей» до «ма, я сегодня не приду».

От жизни, когда детки под боком, а родители заняты простыми вещами: уложить ночью и поднять утром, а вечером встретить у метро, и это не считая накормить-загнать в ванну-приготовь вещи на утро-как уроки-освободи телефон-опоздаешь-опаздываешь уже-во сколько кончаются уроки-обед на плите-почему все осталось-ничего не съедено-вынеси мусор-вынеси мусор-вынеси мусор, кому говорят!!! — до робкого родительского: «Ну ты хоть позвонишь?»

Ты позвонишь нам, поколение-82?

Ляплянтия

Писательница Л.Петрушевская месяц прожила в далекой южной стране Ляплянтии как гость миллионеров, принимающих у себя в замке писателей, художников и композиторов из разных стран. Вот ее мысли и впечатления.

Там в замке нам в полдень разносили в судочках завтрак, омлет и печеные баклажаны, к примеру, а на ужин давали тушеную траву типа крапивы, другую тушеную траву типа удлиненных стеблей лопуха, там также была в ходу перловая, не слишком проваренная крупа и гороховое пюре, и там не знали что такое овсянка! (То есть это вам не Англия.)

Поскольку нам не давали и макарон, это не Италия и не Бразилия.

Но, так как и устриц мы не видели, это не Франция и не Австралия, а не Германия это потому, что никогда здесь мы не едали сосисок с тушеной капустой.

Но зато нас заваливали мясом, мясом и мясом (ливер горного барана, бедро орла, грудка птицы киви, губа бегемота и копченый хвост кенгуру).

Через две недельки они заметили, что я не ем мяса, и мне заботливо принесли банку плавников акулы в собственном соку, спросивши, ем ли я рыбу.

Короче, такой страны нет на свете, и тем не менее я провела там месяц, жила в старинном замке, у меня был компьютер с русской программой, мне купили роскошные акварельные краски марки «Тициан», ластик, карандаши и толстую акварельную бумагу, а пригласили меня неведомые миллионерши, которые живут то ли в Австралии, то ли в Аргентине, им по сто семь лет, это две сестры-близняшки (как утверждают), и они приглашают кого хотят.

В этот раз они позвали меня, затем женщину-японского композитора и, кроме нас, еще и венгерского поэта, швейцарского прозаика и писательницу-лауреата из Англии.

Разговаривали все, собираясь за ужином, по-английски.

И это еще полбеды, но японский композитор Икоэ произносила букву «р» как «ль», а букву «в» как «б», например, нашего менеджера Веру она называла «Беля».

А венгерский поэт Иштван все английские слова выговаривал как польские, с присвистом, «вы понимаете», «ду ю андестенд», он прошепетывал как «чжу ю анчжештенд».

Общая беседа, однако, текла живо под вареную крапиву, цикорий, шпинат и гороховое пюре, мясо давали целыми подносами, вино лилось рекой, водка ручьем, а я выслушивала горячую речь Иштвана, кивала — и на его вопрос «чжу ю анчжештенд» регулярно отвечала «но!» (нет) и «слоули!» (т. е. «медленней»). Все смеялись моим остроумным ответам и болтали дальше.

То есть мало того, что остальные двадцать два часа я проводила в полном одиночестве, сидя у компьютера или над своими акварелями, но и за ужином мне приходилось молчать…

А человек создан для беседы! Он, если не разговаривает, впадает в какое-то странное состояние, тратит бешеные деньги на переговоры с Москвой, беседует с кошками (я их кормила регулярно выдаваемым мне мясом, но они подъедали и тушеную крапиву), и, к примеру, мне доводилось подолгу толковать с лесными клопами, они были огромных размеров и невероятной вонючести, они летали, жужжали и посещали мою комнату, пробираясь как-то через забранные сеткой окна.

Я говорила каждому: «Ну вот здрасьте! Опять? Теперь как я тебя буду выселять?» Клопы замирали под звуки незнакомой речи, я шла на кухню, брала салфетку, ухватывала гиганта и относила его на улицу.

Через десять минут раздавалось знакомое мощное гудение, новый клоп на лету шлепался о плиточный пол спальни своей зеленой спиной и оставался лежать как отдыхающий на пляже, не в силах перевернуться.

Так что на ночь приходилось окна запирать ставнями, но и

это не помогало. Клопы жаждали общения, желали послушать мои русские восклицания, хотели, возможно, полежать в чистой салфетке…

Они прорывались, протискивались и сквозь ставни и начинали угрюмо гудеть во тьме.

Надо было начать их метить, у меня были сильные подозрения, что со мной работает небольшая бригада из трех особо продвинутых насекомых.

И среди ночи я зажигала свет, находила на полу броненосного клопа, отдыхающего навзничь, и волоклась на улицу его выпроваживать.

Однажды пришлось вылить принесенную мне перловку, в которой важно утоп клоп. Каша воняла невыразимо.

Кошек насчитывалось пять штыков, это были дикие лесные котята с небольшой матерью, два персонажа были черные, один серый как мама и один немыслимый, просто как пещерный вождь в боевой раскраске: лицо поделено ровно пополам, вдоль носа, и одна сторона темная, пятнистая с черным синяком вокруг глаза, другая светлая в желтую крапушку.

Жуткие черные уши торчали запятыми, как у рыси или у нечистой силы.

Я назвала его Дьяболик.

Котята не понимали русского «кс-кс», маячили в отдалении, когда я приносила им еду, не верили в свое счастье.

Но кошмарный Дьяболик первым понял, что означает мое иностранное слово, и первым начал встречать меня, хотя погладить не дался.

Я тосковала по своей кошке Мусе и хотела хоть кого-нибудь взять на руки. Получалось только с клопами.

Утрами я учила сложный ляплянтский язык, купила несколько журналов и пыталась понять тексты без словаря.

Так я в свое время начала безнадежно читать по-французски Сименона, закончив университет с пятеркой по этому предмету и умея только начать и тут же прихлопнуть любой разговор («добрый день, пожалуйста, спасибо, до свидания»).

На какой-то раз (говорят, на двенадцатый точно), встретив незнакомое слово, человек уже догадывается, что оно может означать.

У Сименона словарь, как известно, составляет 300 единиц.

Таким способом я в свое время одолела и славянские языки, а затем и итальянский (то есть читать я на них могу, остальное по мере погружения в подлинную языковую среду).

На ночь я читала американский журнал «Нью-Йоркер», опять-таки без словаря. Это мой метод, обычный метод ленивого человека.

Но, понимая журнальные тексты, я совершенно не врубалась, о чем идет речь в общих вечерних беседах, однако говорить-то надо!

В результате моя подружка японка меня по ходу дела учила простым вещам: когда ты кого-то приглашаешь к себе, надо говорить «кам!». А то я ее зову к себе в мастерскую, говорю «иди!», а она поворачивается и уходит. Оказывается, я ей говорила «гоу», то есть уходи.

И каждый раз, когда я произносила свое «гоу» и тут же «кам»,

мы хохотали. Это был мой первый урок бытового английского.

Статьи-то я читала и по археологии, и по проблемам эмиграции, но «гоу» и «кам» мне там не встречались…

Однажды я вырвалась из нашего монастыря на волю, поехала навещать старинный городишко по соседству, километров за сто. Прежде чем осматривать город, я стала искать гостиничное агентство, проплутала два часа, а это самое худшее в новом месте: совершать прогулки из бытовых побуждений безо всякой свободы души…

Знаменитейший город мира поворачивался ко мне какими-то офисами, запертыми дверями, длинными поездками безо всякого результата. Я не видела ни дворцов, ни старинных улиц. Ноги гудели.

День погас, я была без крыши над головой, агентство так и не нашлось, и только тут я вспомнила, что в похожих обстоятельствах, находясь без гостиницы в Амстердаме, мы обнаружили жилбюро на вокзале!

Так что только вечером оно и явилось мне именно на неосвещенном, мрачном вокзале, причем запертое на ключ.

Я заняла очередь и познакомилась с беженкой из Колумбии с тремя детьми (там жуткий террор наркомафии!) и, попутно, с тремя страшного вида мужчинами, которые уже поговорили с колумбийкой, предложили ей квартиру за бешеную цену и теперь стояли на глазах у очереди и бренчали ключами, но мне они отказали, не хотели пускать человека на одну ночь.

Наконец, когда я попала в агентство, у нас состоялся разговор на местном языке. Агент, тщедушный, как серийный убийца из старого фильма «М», открыл дверь агентства своим ключом, выпустил обслуженного клиента, оглянулся по-шпионски, впустил меня и сел за бронированное стекло.

Обстановка была тревожная: тьма, ключи, чего-то все боялись тут. Я попросила номер на одного человека, с душем.

Дядя покопался, помычал, глядя в свою тетрадь, и сказал:

— Есть. Вы хотите рядом с кладбищем?

Я вспомнила троих частников с ключами и радостно кивнула.

Он значительно добавил:

— Улица Кап дом тринадцать!

Я опять кивнула. Чего бояться-то? Ну и тринадцать, подумаешь. Попросила отметить на моей карте эту улицу Кап.

— А как туда доехать?

Он, понизив голос, отвечал:

— Автобус номер тринадцать!

О-па! Кладбище и два раза цифра тринадцать. Хорошо же.

Теперь я со свободной, легкой душой бродила по темному

городу, чудный городишко времен гуннов и скифов — когда народ майя строил свои пирамиды, когда мы молились пню, ляплянтцы уже имели мощеные тротуары, живописцев и водопровод.

Одно мне не понравилось — в древнем замке великого герцога, куда я добиралась по кирпичным мостовым вверх и вверх, там на стенах висели типовые как бы квадраты Малевича, но не черные, а такие голубенькие или желтые, размером с фасад табачного киоска. Один был светлосерый.

Крашенные, однако, ровно. С малярной точки зрения не подкопаешься.

Это называлось коллекцией современного искусства 50—70-х гг. Я плюнула и ушла.

Уже давно пала ночь. Редкие огоньки горели в домах. Я вспомнила тревожную обстановку на вокзале и струсила. Где он, автобус № 13? Таксистов я тоже боялась, и не напрасно, я много о чем прочла в ляплянтских журналах, посвященных убийствам, свадьбам и разводам.

Подойдя к фонарю, я стала искать на карте дорогу к улице Кап. Мой агент поставил там кружочек, хорошо что не крест.

Я тщательно выбирала маршрут по карте, минуя зеленые пятна насаждений. Мало ли что они означают! Может, это вообще район кладбищ! Чего там рыскать ночью. На улице Кап мне и так оно обещано.

Короче, когда я нашла свою темную улицу Кап, там вообще не было номера 13!

Был номер 11 (с надписью «Отель Великий Герцог»), и затем, через какой-то мрачный склад или гараж, шла веселая циферка «5», не туда иду? Вернулась.

Перед номером 11 было «9». Подошла опять к пятерке, и за ней выскочило мне «25»! Мистика.

Возвратилась к номеру 11, уже по-настоящему испугавшись. Во-первых, где тут родное кладбище, обещанное агентом? Вообще, глядишь, останусь ночевать у этого склада.

Пошла к фонарю, заглянула в карту. Еще чего! Улиц Кап две штуки!

С горя завернула к Великому Герцогу в отель, дом 11, спрашивать, где тут дом 13.

А там сидела совершенно глухая как пень бабушка лет девяноста и тревожно улыбалась, адресуясь в дальний угол потолка и покачивая нижней челюстью, как наш школьный скелет в кабинете зоологии, когда мальчики мимоходом бренькали его по подбородку.

Потом на мой вопрос явился, видимо, ее сын, благородный

старик, и ответил:

— Нигде.

Еще того круче.

Но тут я предъявила оплаченную квитанцию из агентства, чтобы доказать, что дом 13 существует, и старец (удивительно) меня принял к себе, взял мой паспорт, выдал мне ключ с цифрой 90 на бирке, показал направление и исчез со своей мамочкой.

Первый этаж. Я пошла, рассчитывая увидеть длинный ряд дверей, но их было только три: 5, 6 и 7. Где же моя девяностая?

Судьба шутит со мной шутки, однако. Где я ночевать-то буду?

Повернула бирку. Из «90» получилось «06». Ура!

Открыла шестую дверочку и тщательно ее заперла.

Зажгла свет. Лампочка где-то вдали, метрах в пяти, под потолком, засветилась, ватт в 25.

И ничего! Это была моя комната на ближайшие двенадцать часов!

И приняла душ, легла, включила телевизор и стала смотреть сразу три фильма: японский про бандитов, американский про бандитов и местный ляплянтский сериал про бандитов и собаку — охотницу на наркодилеров. Там один отрубил себе палец, а ему за это всадили нож в живот.

Но мне это было как до моей лампочки.

Я не на улице и не на вокзале. И не на асфальте на газете. Только не это. Я у себя дома, господа.

Вернувшись в свой литературный замок, я стала рассказывать терпеливому японскому композитору Икоэ, моей подружке, эти приключения на чистом английском языке, сопровождая свою повесть смехом.

— Это есть агентство на вокзале. Много темно.

Икоэ поняла, радостно кивает.

— Ладно. Отсутствует огонь на вокзале.

— Оу, — тихо удивляется Икоэ.

Размышляет, видимо, как это — на вокзале нет лампочек?

Но я иду дальше:

— Хорошо. Тогда человек с ключом в его руках идет и открывает дверь, тогда я иду с этим человеком с его ключом. Они имеют страх! Я не знаю почему.

— Оу!

— И он говорит: «Вы любите останавливаться вокруг кладбища?»

— Кладбище, оу!

— Тогда, видишь, много темно, и этот мэн, она говорит мне: дом тридцать! Автобус тридцать! Поняла?

Икуэ смотрит на меня, но не кивает. Явно не ухватила мою

мысль. Не понимает, почему я смеюсь. Неуверенно улыбается.

— Тогда я иду и наблюдал: это дом одиннадцать, тогда пять и тогда двадцать пять!

Икоэ как может таращит свои японские глаза. Я понимаю, что опять она не улавливает. Я хочу объяснить ей суть:

— Знаешь, кладбище. Дом тридцать и автобус тридцать! Я боюсь тридцать! Поняла?

Икоэ не кивает. Так. Я что сказала? А. Цифра не та! Не тридцать! А тринадцать!

— Знаешь, один три!

Икоэ смеется от радости, наконец-то! И говорит мне, переводя на свой американский:

— Йес! Тельтин! («тлинадцать», она не выговаривает букву «р»). А! Кладбище и дом тлинадцать! И абтобус номель тлинадцать!

Я продолжаю:

— Хорошо! Тогда я иду и нет этого дома тринадцать! А есть одиннадцать и тогда пять и тогда двадцать пять! Она боится — тринадцать! И этот мэн, она отвечает: нет! Здесь не имеется дом тринадцать! Нигде, она говорит!

— Он, — поправляет меня Икоэ.

— А, он!

Икоэ учит меня английскому своим терпеливым вниманием. Она прекрасный композитор, ее диск называется «Сто видов луны», и я слушаю ее музыку, когда пишу свой текст… Печальная, однако, музыка.

Ужасное слово «никогда», невермор. Я, наверно, больше никогда их не увижу, моих друзей, Икоэ и Иштвана, к концу мы стали понимать друг друга.

Правда, они все захотели приехать ко мне в гости, взяли адрес и телефон — несмотря на малую информационную войну против нас на мировом ТВ: о России говорят как о покойнике, или ничего, или подробно насчет обстоятельств последней, окончательной катастрофы.

Писательница-англичанка, кстати, прочла мою книгу «Время ночь» и искренне сказала:

— Ни за что не поеду в Москву!

— Да, — скромно отвечала я на своем чистом английском языке, — это все равно что прочесть «Ромео и Джульетту» Шекспира и сказать: «Ни за что не поеду в Верону! Там Монтекки и Капулетти!»

И все мои друзья что-то поняли и радостно захохотали.

Деньги Ляпы

Итак, я работала в своей мастерской.

Иногда, если не шли дожди (а это местная достопримечательность, беспрерывный полив с воздуха), я устраивалась на воздухе в шезлонге с тетрадкой.

Мои местные друзья (четыре котенка и их маленькая мамаша) — занимали позиции в траве, как часовые, рядом с пластмассовой коробочкой, в которую я складывала их обед. Они ели все, включая, как уже было сказано, вареную траву под названием шпинат.

Стало быть, перед моими глазами расстилался ляплянтский пейзаж — холмы, долины с цветущими подсолнухами, старинный двухэтажный каменный сарай и сад, наполненный фигами и каками (местные фрукты).

Ляплянтия — удивительная страна. Деньги там, к примеру, называются «ляпы», и национальной чертой ляплянтцев является бережное отношение к ляпам.

Если есть возможность прикарманить ляпы и что-либо добыть бесплатно и без спросу у владельца, то здесь местные жители ни в чем не уступают нам, а кое-где и превосходят наших фефёл.

К примеру, у нас еще ни один премьер-министр не состоял под следствием за воровство, а у них состоял, и не единожды.

И у наших премьер-министров ни у одного (кажется) не было собственной газово-нефтяной скважины, а у них они есть!

И по мелочам они нас перешибают.

Некоторый русский кинорежиссер подружился с коллегой из Ляплянтии в Москве. Ну, разумеется, черная и красная икра с нашей стороны, рестораны плюс подарки на посошок. И хотели совместно сделать ряд фильмов. Наш кинорежиссер даже собирался найти спонсоров.

И на радостях и в предвкушении денег тот друг пригласил нашего пожить у него в бунгало, на бережку местного моря.

Стали перезваниваться, была назначена четкая дата.

Наш поехал с женой, все у них было уговорено, адрес, ключ лежит под ковриком.

Приехали к вечеру, а в кранах воды нет. В холодильнике тепло, пусто и сухо. Под зеркалом записка: перед отъездом сдать белье в прачечную!

Ни здравствуйте, ни до свидания, ни простого «целую». Сдать!

Белье было постлано на широкой кровати и, как затем утверждала супруга нашего кинорежиссера, там оказались, на

простыне то есть, крошки. То есть кто-то на этих простынях уже повалялся.

Света не было тоже.

Вода имелась, но избирательно: только в бачке унитаза. Умылись с дороги где? В море. Слава богу, на набережной было светло.

Приноровились чистить зубы минералкой. Купили полотенца и свечи. Последнюю ночь спали на собственных полотенцах, так как белье сдали.

За это время прочли ряд статей в ляплянтских газетах, где писалось о повальных грабежах на приморских виллах, причем воры уносили все подчистую, даже унитазы демонтировали… Плитку, правда, оставляли. Газеты призывали нанимать охрану: хоть это дорого, но страховка еще дороже.

Мой учитель, драматург А.А., также принимал у себя ляплянтскую семью, дело было как раз на Новый год, справляли его в Доме кино со всеми кинозвездами, затем купались в открытом бассейне и т. д.

Ляплянтцы сказали, что буквально ошеломлены, они вообще не бедные, но такого себе (признались) они позволить не могли. Новый год с кинозвездами!

У самих у них имелся четырехэтажный дом в столице Ляплянтии Ляле, а также загородная вилла и скаковые лошади, но жена хозяина работала в их фирме менеджером, а дочка там же вкалывала простой секретаршей!

Короче, они пригласили А.А. в гости: «Будете в Ляле, заходите».

И тут у А.А. премьера спектакля как раз там!

Он приехал и сразу позвонил из отеля своим миллионерам, предвкушая поездки, рестораны, бассейны, скачки и т. д.

Его пригласили на пять часов вечера через три дня.

В назначенный час, специально не пообедав (чтобы не перебивать аппетит, А.А. был выдающийся гурман), мой учитель пришел, полюбовался на грандиозный фасад, был принят горничной и приведен на второй этаж в гостиную.

Туда же спустилась приветливая хозяйка и первым дело спросила: «Щуга?» («Вы чай пьете с сахаром или без?» — понял А.А.) «Как заботятся», — растроганно подумал он и ответил:

— Но. (Чай без сахара.)

Вообще-то он любил с конфетами, но тут дело было перед обедом же!

И горничная принесла на подносе серебряный чайник с крутым кипятком, два пакетика чая, кучку сухого печенья в серебряной вазочке и две чашки с блюдцами (без ложек).

Мой учитель печенье не ел (предвкушая суп и второе), хозяйка же была в нетерпении, нервно зевала, как собачка, и, пока А.А. хлебал пустой чаек, посматривала на часы и на дверь, явно ожидая, когда принесут поесть, а поскольку мой учитель почти не знал английского, разговора не получалось, то есть он спросил «как поживаете» и получил реплику «изумительно», файн. Далее он с улыбкой сказал свое обычное «рыйлы?» («не может быть» или «неужели»), его научили так отвечать на любую фразу, это была его фирменная шутка. Хозяйка промолчала.

Обеда они оба так и не дождались, хозяйка извинилась, что ей надо на работу.

Советский человек за границей мог иметь тогда на всю поездку тридцать шесть, что ли, долларов.

Вернувшись в Москву, А.А. ядовито нам эту историю рассказал, желая на своем примере научить нас — в Ляплянтии всегда сразу просить три куска сахару! И быстро съедать что дают. Главное, надо ходить в гости только к семи, когда они обедают (а не к пяти, когда пьют чай).

Правда, это было бесполезно нам говорить тогда, нас не только не выпускали за границу, но и никому не разрешали там ставить наши пьесы. И это при том, что в случае выпуска спектакля за границей с нас брали налог в размере то ли 77 %, а то ли 87 %, нам не объясняли за ненадобностью…

Однажды (в той же Ляплянтии, но гораздо позже) мне в тамошнем театре подарили сувенир — ответ из нашего агентства по авторским правам (ВААП), в котором говорилось, что: 1). Л.Петрушевская, автор запрашиваемой вами пьесы «Три девушки в голубом», не разрешает ставить свою пьесу за рубежом, 2). Автор еще не закончила эту пьесу и 3). Автор уехала и адреса не оставила.

То есть в каждой стране есть свои национальные особенности.

Но я часто вспоминала моего учителя в свой первый день в столице Ляплянтии Ляле.

К примеру, набегавшись по городу и нарисовав одно красивое дерево, я присела за столик в ляльском кафе.

Чашка чая, как следовало из выставленного напоказ меню, стоила шесть ляпов (3 доллара).

Причем я обратила внимание на ляльцев: все они зашныривали в кафе как-то на скорую руку — постоят у бара, выпьют бокальчик вина или чашку кофе и — брысь в дверь! За столиками сидели только умученные туристы.

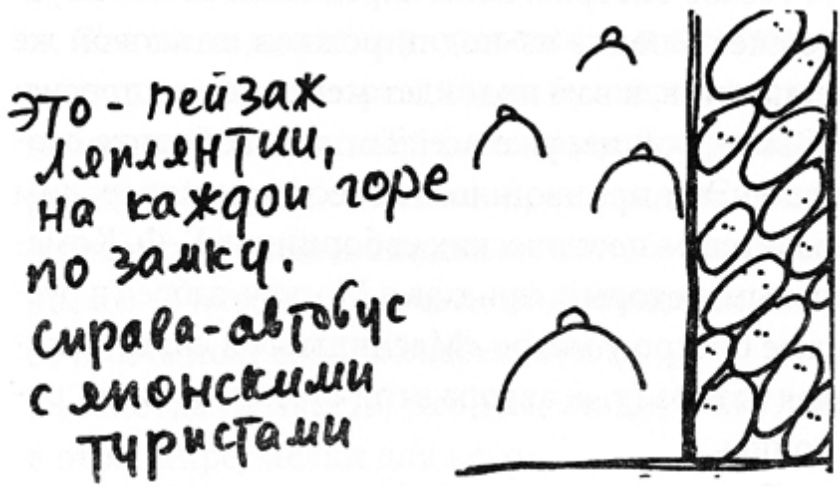
Я выпила свой чай, наблюдая за круговоротом быстроногих ляльцев, и затем мне подали счет на двенадцать ляпов.

Потом мне объяснили — ежели ты стоя выпьешь чай, то цена будет как в меню, но, уже севши за столик, ты платишь ровно вдвое больше.

О, хитроумные ляльцы! И о, налог на полную невинность истоптавших все пятки туристов!

Зато, заняв однажды место и получивши свой бокал, ты можешь сидеть хоть целый день.

Хемингуэй так писал свои романы в парижских кафе (дома у него нечем было топить). По этой же причине вся тогдашняя богема болталась вечерами в «Ротонде», «Куполь» или в «Дом», прославив их навеки, там даже таблички прибиты к столикам: «Модильяни» или «Пикассо».



(Кстати, великий художник Модильяни и умер от холода, заболел воспалением легких и уже не мог выходить, беременная жена старалась его согреть в нетопленой мастерской, а когда он умер, вернулась к своим недовольным родителям, вытерпела один день и бросилась из окна на мостовую.)

Французская писательница Натали Саррот, как и Хемингуэй, тоже каждое утро в одиннадцать занимала столик в ресторанчике на углу, пила свой бокал вина и сочиняла.

Утром зато можно было не топить!

Эта привычка сохранилась у нее до девяноста лет, когда все ее романы были напечатаны, получили премии и т. д. и в доме было центральное отопление, но родилась она на Волге, вела расточительную жизнь богатого ребенка и, пройдя потом Октябрьскую революцию и школу эмиграции, приняла все суровые правила парижской жизни. Пиши в кафе!

Однако попробуйте-ка в Москве начать строчить в блокноте даже в простом местечке типа «Русское бистро». Если перед вами стоит опустевшее блюдце из-под пирожков и таковой же стаканчик, к вам подойдет менеджер и спросит: «Вы че, вобще, уже все? Тогда освободите столик». Это произошло с известным питерским издателем поэтических свборников Г.Ф.Комаровым, который, приехав в Москву, забрел в русское бистро у метро «Мясницкая» и сидел, ожидая автора (т. е. автора этой статьи) и читая рукопись.

Разумеется, в ответ на едкое замечание тетеньки менеджера он срочно сбегал и взял еще пирожков и водки.

Но — вернемся к нашим ляплянтцам.

У нас тема «Деньги», однако я хочу сказать сначала об архитектуре.

Это искусство я почитаю выше всего.

Бродить по улицам городов той же Ляплянтии — наслаждение ни с чем не сравнимое.

В музеях человек обалдевает часов через пять (имеется в виду желание уйти).

В консерватории через три (с бисами три тридцать).

В театре после первых реплик (актеры заговорили ненатуральными голосами, публика закашляла и завертелась).

А вот шляться по Ляле можно сутками.

Старинные дома, дворцы и крепости, каналы, реки в набережных, храмы и башни со временем превращаются в явления природы — как горы, скалы и ручьи.

Утро ли, ночь с фонарями, туманный вечер, лето или осень, бродишь, вздыхаешь.

Так же ходила бы у египетских и мексиканских пирамид, смотрела бы на бутанские горные небоскребы в 12 этажей (есть такое закрытое королевство рядом с Непалом), на самаркандские и бухарские усыпальницы, мечети, башни и водоемы — особенно ночью, под звездами, когда вечность поет свою колыбельную…

Иногда думаешь, что мы, люди, живущие в этом мире, мелки для него.

И только бы мы оставили этот мир в покое, не трогали!

Я это говорю, потому что повсюду существуют реставраторы, и им тоже надо дать жить.

Древнюю Хиву, жемчужину Азии, при совке отреставрировали светлым кирпичом, и она стала вся как кавказский придорожный ресторан.

Судакскую крепость возвели заново, причем не знали чем закончить — зубчиками как в Кремле или просто так. Закончили

как подороже.

Такие же, но уже не наши, специалисты давно подбираются к безносому египетскому сфинксу и к римскому порушенному Колизею с целью обновить.

Кстати, мне сильно повезло: я видела последние дни Сикстинской капеллы в ее неотреставрированном виде, наполовину еще не тронутом японскими специалистами.

То есть часть росписей (там, где Господь протягивает руку человеку) покоилась в серебристой дымке, покрытая патиной времени, намоленная, как у нас говорят.

А вот другая часть была уже «раскрыта» реставраторами и отнюдь не покоилась, а перла в глаза своими свежими красками — оранжевой как глиняный горшок и тем ясным голубым цветом, который раньше использовали у нас для коммунальных уборных и трикотажных кальсон.

Японские инженеры (как писали в газетах встревоженные итальянцы) должны были вроде бы точно рассчитать в микронах, как снять верхний слой, т. е. сколько осело на росписях пыли, копоти от факелов и свечей, сколько человеческих испарений (люди тут и дышали, и потели, и плакали, мало ли).

У нас, кстати, когда икона намоленная, ценят ее темноту, тайну.

Короче, японцы все эти дела ликвидировали.

А ну-ка они сняли на два микрона больше? Сними-ка с человека эти два микрона, это называется шкуру содрать…

Но мы ведь говорим о деньгах: так вот, любая реставрация — это огромные ляпы налогоплательщиков, много лет идущие в карманы всех, кто занят в проекте.

Вспомним на наших глазах происходящее украшение Москвы лягушками и пластиковыми святыми.

Петр бы Первый за такие тяп-ляп дела сослал бы и автора и заказчика в город химиков Березово, как сослали когда-то слишком делового Меншикова.

В Ляплянтии, что прекрасно, денег на реставрацию не дают, жалеют каждый ляп, молодцы.

Дети

К примеру, лететь в Ляплянтию можно через столицу (Лялю), это четыре часа, а можно через город Кап, это шесть.

Однажды я летела как раз шесть часов, причем в очень интересной компании — с нами было множество маленьких детей.

Рядом со мной, локоть к локтю, сидела милая пара немолодых ляплянтцев, лет под пятьдесят, и мать держала на руках очаровательную девочку месяцев четырех по виду.

Лукавые глазки, темные кудряшки, маленькая-премаленькая, стоять еще не умеет и ползает пока не очень уверенно.

Оба родителя смотрели на нее неотрывно, в каком-то священном экстазе. Тревожно любовались. Ну, как обычно супруги смотрят на поздно рожденное, ожидаемое всю жизнь дитя. Чудо, чудо.

Но у этих в глазах еще читалось какое-то недавнее страдание, как будто девочку только что спасли от тяжелой болезни.

Всегда ведь в дороге родители привычно передают малышку друг другу, что-то приговаривают типа «а вот кто будет кашу есть?», все обыденное, укладывают баиньки, лица скорей усталые.

Нет, тут было другое. Женщина сидела как струна, напряженная, сосредоточенная. Как будто спасла дитя от похитителей и теперь дрожит, переживает. Праздник с элементом ужаса.

Я подумала: работали эти люди у нас, мало ли что произошло. Может, ребенок попал в больницу. Может, в чьи-то руки.

И обычная ситуация, мы познакомились. Девочку зовут Светлана. Довольно редкое для Ляплянтии имя. Ей восемь месяцев (а не четыре, как я подумала). Летят уже давно, из Челябинска через Москву. Устали. Но все у них в порядке, все подготовлено, питание, памперсы, идеально чисто, девочка бодрая, только уж очень маленькая для восьми месяцев.

В восемь месяцев эти людишки уже пытаются ходить и бормочут на праязыке что-то типа «а ты-то тля, а ты бля» (наш Федя эти речи толкал в полгодика).

Но малюсенькая Светлана даже не гулит, ножками не упирается. Молча таращит глазки. Тоже устала.

Мама уложила ее спать на своих коленях, я удвинулась в угол, чтобы им было попросторней.

Имелось бы хоть одно местечко в самолете, им бы отдали три сиденья подряд.

Там, в углу, я и провела ближайшие часы не шелохнувшись, боясь нарушить покой сироты.

Господи, я все поняла довольно быстро. Это летели со своими новыми родителями усыновленные русские дети!

И иностранная мама Светланы, пережив ад, соприкоснувшись (видимо) с жадно протянутыми лапами и с бесконечными отказчиками в нашей стране, теперь боялась всех. Она боролась за свою слабенькую, не очень здоровую Светлану, выхватила ее и теперь не верила своему счастью.

В ее семье было уже двое довольно взрослых сыновей, 20 и 17 лет.

А теперь о моем литературном замке, куда я была приглашена неизвестными мне богатыми людьми работать, работать и работать.

Все условия были созданы — полное одиночество, свежий воздух, обед в студию, по вечерам ужин в замке, ни тебе готовки, ни стирки-уборки, и дети не вопят, не слушают свои диски, и по телефону не хохочут, и ни в коем случае мама не подай-прими-вымой тарелки.

Вероятно, так писал Набоков. Пастернак. Или Фадеев. Или бывший генеральный секретарь Союза писателей Марков. Сартр так жил. Тургенев. Да и Толстой с Чеховым. Ну и Битов в этих условиях безвылазно живет (надеюсь).

Из общества в дневное время около меня (около своей лакушки) постоянно пребывал ушастый Дьяболик с семьей.

Мы их кормили уже всей колонией — японка, швейцарец, венгр и англичанка.

Затем, прослышав о таких условиях жизни, к семье присоединился и сам — усатый кот, здоровенный и черный, как Мухаммед Али. По этому случаю мамаша опять оказалась в интересном положении.

Итак, в хорошую погоду я сидела с кошками, красками и горячим чайником на воле. Рисовала подсолнухи, к примеру.

И как-то к вечеру мимо меня местные дети с хлопотами, но безмолвно, даже благоговейно, протащили по гравию большую коляску, и в ней сидя спала восточная принцесса.

Ворох белых кружев, банты, черные лаковые туфельки, черная лаковая челка, белые чулки, пухлые руки.

Кошки прыснули в кусты и дальше, в свою трубу.

Коляска трещала как по гороху, принцесса покачивалась, ее даже трясло, но своих юговосточных глаз она не приоткрыла. По виду ей было годика два.

Вечером ее привели на ужин и представили: дочь наших

ляплянтских директоров, Сиа.

Ее усадили на высокий стульчик, повязали ей салфетку, и эта девочка с фарфоровым личиком старинной японской куклы, упершись глазами в тарелку, стала с интересом ловить вилкой ломтики мяса.

Временами она тихо бормотала какие-то фразы на чистом местном языке, мама (Ан) ей отвечала и изредка помогала поймать прыгающий кусок.

Мама была красавица типа кинозвезды, какой-нибудь Шарлотты Ремплинг.

Папа (Мар) представлял собой вообще улучшенный вариант Джеймса Бонда последнего выпуска.

Когда западные женщины достигают вершин своей жизни и все у них хорошо, работа, положение, здоровье, долги выплачены, тут-то и получается, что рожать поздно.

По виду Ан было лет тридцать пять, стало быть, дело шло к пятидесяти.

Маленькую Сиа они спасли от голодной смерти.

Она родилась в стране, где девочек часто убивают сразу после рождения.

Эту просто бросили ночью посреди шоссе. Год она провела в приюте и даже еще не стояла на ногах, когда Ан и Мар ее увидели. Она была обречена.

Мне показывали (в другое время, в Англии) жуткую книгу о приютах в той стране.

Отсталых детей там иногда привязывают за руки к кровати и не дают пить.

На каждой странице были фотографии живых скелетиков.

Приводились выписки из историй болезни — дата поступления, вес после смерти. Килограмм.

Медицина

А теперь о том нашем полете с маленькой челябинской Светланой.

Когда самолет причалил, я, выйдя из своего уголка, охромела. На колене вздулась какая-то подушка.

Новости! А мне читать лекции, как прикажете стоять? А ходить как?

Однако я была застрахована. Моя профессорша-хозяйка, славистка Дал (ляплянтское имя) по прибытии дозвонилась в университетскую поликлинику, и меня записали на через неделю, и не к хирургу, а к терапевту.

Дал объяснила мне, что тут недавно сама гуляла с собакой (а у нее пес той породы, которая вылитый белый медведь, по цвету, весу и размерам, только морда как у бегемота), и собака эта увидела другую собаку, признала в ней возможную невесту и поволокла мою Дал через невысокую ограду, и Дал долго ехала животом как на водных лыжах, не желая упускать своего бегемотика, и повредила себе коленку (а женщина она крупная, по фигуре и когда в шубе — вылитая собственная собака).

Дал записали к хирургу на через месяц.

Как сказала Дал, по принципу — или все пройдет само, или пациент взбесится и ляжет в больницу.

Через неделю Дал меня привела в университетскую дешевую поликлинику.

Терапевт, по виду чисто вымытый педант (я уважаю таких докторов), посмотрел колено и сказал: прикладывать либо теплое, либо лед и наблюдать, что больше поможет. (Русские-то врачи говорят: к горячему прикладывай лед, к холодному грелку.)

А потом этот педант спросил, как я отношусь к гормональным препаратам. Я ответила, что отрицательно.

На сем мы расстались, зато пришла пожилая медсестра со шприцом и всадила мне здоровенный укол.

Потом я выяснила, что это было: как раз гормональный препарат.

Медсестра нас направила в кассу, где я оказалась должна за визит и укол сто пятьдесят ляпов (75 баксов).

Потому что я застрахована была университетом как-то в облегченном варианте, и платить за меня начинали только на пятый либо седьмой день болезни…

Потом я поняла, сколько бы стоил хирург!

И что осторожная Дал знала что делала.

Колено, кстати, у меня отекло, оказывается, от

неподвижности. Такое бывает, даже со спортсменами, после долгих перелетов.

А вот моя знакомая, Лариса, застраховалась перед отъездом дома, в Москве. Это было, правда, давно. И надо же такому случиться — в Ляплянтии у нее начались почечные колики! Ларису отвезли в местную больницу, но принять ее там отказались, нужно было подтверждение страховки. Она, корчась на стуле, попросила позвонить в свою компанию, и наша барышня им ответила, что данное имя отсутствует в компьютере! Ларисе пришлось платить за телефон, за вызов «скорой», осмотр и укол. Выяснилось, что если бы это был внезапный случай, травма и т. д., тогда бы плата была другой. Но почечную колику администраторы больницы отнесли за счет хронического заболевания. Точка. В Москве Ларисе не вернули ничего, тоже сказав, что она-де хотела за счет страхования подлечить свои старые болячки… Типа: вы все только и мечтаете как попасть в ляплянтскую больницу!

Так, говорят, умер в Америке наш любимый Довлатов. Он вроде бы вообще не был застрахован, и в первой из больниц его не приняли, а на пути в следующую все уже было кончено.

Все о болезнях да о болезнях

Как раз одна моя знакомая, московская феминистка (т. е. она читает лекции по русскому женскому движению, странствуя по белу свету), выполнила, так сказать, мечту советских людей и полежала в ляплянтской больнице.

Мы с ней тогда выступали в столице Ляплянтии, Ляле, в одном университете, но по разным программам.

Эта Ольга отравилась мороженым в кафе и два дня терпела по известной прописи: холод, голод и покой.

На третий день даже воду ей было пить горько, как девочке водку.

Ольга запросилась к врачу, подозревая, что ее закадычная, бог знает кадычная, язва открылась и возможно внутреннее кровотечение.

Тогда ей сказали, что это будет очень дорого.

Вместо врача куратор Ольги, менеджер Надя (мужского пола, имя ляплянтское) предложил ей, что он может быстро-быстро поменять ее обратный билет на буквально завтра, чтобы она смогла уехать.

Ольга задумалась. Тащиться в пять часов утра до аэропорта (автобус и поезд с пересадкой), волочь багаж, книги, тексты в таком состоянии?

А ну помрешь сразу? С кем дети останутся? А выступления среди феминисток? А гонорары? И с какого переполоху-то уезжать?

Она потом сказала мне так: «Я понимаю, что в условиях пожара или последнего дня Помпеи я бы, спасая детей, показала бы чудеса в любом состоянии. Из комы бы вышла! Но теперь-то что рвать жилы? В приглашении же они гарантировали медицинское обслуживание! Вот Надя какой хитрый. Может, он на моей страховке сэкономил?»

Феминистки — народ упертый, борцы, а эта еще к тому же была закаленной женой пьющего интеллигента и матерью двух мальчиков, с которыми мыкала горе, так как они проходили курс обучения в очень известной средней школе. Кто знает, тот понимает.

Еще через день ее положение ухудшилось, приглашающая сторона и сама что-то сообразила, и Надя предложил Ольге лечь в больницу.

Стало быть, страховка имелась.

Ольгу собирали быстро, на счет «раз». Она хотела прихватить халат, но Надя сказал ей, что там все дадут.

Ого! У нас тоже выдают иногда халаты, такие синие байковые. Интересно, какие у них…

Ну что же. Больница эта оказалась как наша Первая Градская. Огромная палата, высоко под потолком — единственная лампочка в сотню ватт.

Разница была лишь в том, что Ольга первый день лежала одна среди пустых коек (в брюках и свитере из-за лютого холода, был месяц март).

Одеяла, когда она пришла, не имелось. Полотенца тоже. О халате вопрос и не возникал.

Туалет до конца коридора тридцать метров, далее направо.

Туалетной бумаги фиг (ляплянтское выражение, запомним).

Из врачей никто не явился. Видимо, они где-то затаились, ждали утра и результатов анализов.

Опять-таки холод, голод и покой. Света над кроватью, как мы уже запомнили, фиг. Ни радио, ни телевизора. Читать под таким светом — fig (ляплянтск.).

— Я сказала своему Наде из последних сил, что лучше уж вернусь в студенческое общежитие. Там хоть есть одеяло и полотенце. Надя почему-то перекосился, видимо, живо представил себе мой труп, хлопоты, затраты на телефонные переговоры и отправку цинка по железной дороге. Он принял меры. Мне выдали одеяло, представь. После переговоров принесли пеленку вытирать руки. Завтрак был легкий: два сухаря и пол-литра минералки. Сухари у меня не пошли, а вот воду я все же выпила. На обед предложили твердый на вид рис с мясом и кетчупом или макароны с тем же. Мимо. Я же четвертый день как не ела! Не враги же мы себе, русские женщины, хоть о нас много чего врут. Я подумала: как это они — в хирургии кормят рисом и макаронами! Наконец до них доперло, поставили мне капельницу с глюкозой, ура! И не суют иглу в вену каждый раз, а внедрили один постоянный катетер на все случаи уколов. Представляешь?

Это она мне рассказывала уже в больнице. Мы с испуганным Надей принесли ей мыло, полотенце, туалетную бумагу и детское питание для тех, кому за три месяца. Это дело надо было разводить кипяченой водой.

Нашлась добрая медсестра и приволокла чайник кипятка.

Моя подруга поела этого разведенного порошка и буквально ожила. Вот что значит экстремальные условия!

В палате было полно народу. Стоял трогательный галдеж как на перроне, где провожают дорогих родных. Некоторые были в пальто. Ольга сказала:

— Всю ночь я дрожала тут одна, они утром прискакали и легли на каждую кровать. Переоделись в шелковые пижамы. А я в

свитере лежу! Неудобно как. Принеси мне халат, а? А это их родственники, видишь? С утра так горюют. Такие дружные! Любящие!

Да. Все посетители, стоя над кроватями, переживали. Запомнилась одна дочь — она опоздала, влетела как такая птица буревестник и закричала: «Мама, ну как ты могла?!» И зарыдала. Мама что, пыталась покончить с собой? Но вроде как Ольга лежала в хирургии, сюда суицидов не кладут.

Потом я выяснила — это в Ляплянтии принято, массовым порядком навещать родню в больницах. При этом в любом случае (даже если больной лежит полдня) надо вести себя как при свежем трауре.

Спустя неделю мы с Ольгой встретились в университетском буфете, где она взяла чай и всыпала в кипяток кашу для младенцев после трех месяцев (воровато пригнувшись).

— Ну как ты? Чем все дело кончилось?

— А. Кошмар! Сейчас расскажу. После вашего ухода мои соседки все как-то рассосались. Пошли на обследование, видимо. Рядом осталась одна тетя с каким-то мужчиной, она лежала под простыней на боку, а он сидел на ее кровати и так ритмично гладил ее по спине, утешал, что ли. Она почти плакала. Я, конечно, почувствовала себя лишней и сказала по-английски, что биг пардон, хотела бы одеться. Этот мужчина тут же вскочил и кинулся к моему стулу, на котором висели мои личные брюки и куртка, видимо, с целью помочь даме. Я среагировала по-ляплянтски: «Фиг! (это означает «нет»), если можно, я фиг хочу одеваться при вас». И он ахнул себя ладонью в лоб, застонал и

ушел. Они бывают очень эмоциональные тут. И я оделась и отправилась на улицу, тренироваться ходить. Очень ослабла. Самое интересное, что когда через три часа я вернулась в палату, ни единой больной не было, я до конца ночевала опять одна. А почему: лежать там очень, оказалось, дорого. За трое суток в больнице мне, представь, предложили заплатить четыре тысячи ляпов (2 тыс. долларов. — Прим. автора). Отобрали паспорт! У меня не оказалось страховки! Это при моей ситуации! Тут никакой гонорар за лекции не покрыл бы этого дела. Я дико перепугалась, в горле пересохло, все, думаю. Прямиком иду в тюрьму. Стою так у стойки в администрации больницы. Они сидят с моим паспортом как две акулы за компьютерами. Бухгалтерия. Попросила воды — не дали. Сейчас опять умру. Позвонила Наде. Думаю — Надя не дурак, не стал бы меня класть в больницу. Он с ними поговорил, и я написала заявление, что нахожусь без средств к существованию. Тогда мне вернули паспорт. Я ушла по стеночке. Но: зонд для обследования желудка у них был одноразовый, представляешь? Не как у нас, сполоснут в чем-то и суют в следующего. Я тот раз в нашей больнице когда пришла на гастроскопию, лежу с кишкой во рту, явился какой-то врач из отделения, говорит: «Вы почему моего больного не взяли?» А тетя из гастроскопии отвечает: «Та у него туберкулез. Че я буду людьми рисковать?» А врач: «Та туберкулез под вопросом же!» Во!

Итак, язвы у моей подруги не нашли, и она переехала в общагу, худая как скелет, и продолжала читать свои лекции о женском движении в России. Хорошо что у Ольги не обнаружили

язву и не стали возбуждать дело о попытке лечить свои застарелые раны в роскошных условиях ляплянтской больницы…

Кстати, о нашем миллионерском замке.

Все шло прекрасно, лили дожди, к японке, композитору Икоэ, приехал бойфренд, тоже композитор из Нью-Йорка, Дэвид.

Наш венгерский друг, поэт Иштван, тут же за ужином рассказал ему, как четыре года сидел в тюрьме в Будапеште после венгерского восстания 1956 года. И как, когда его освободили досрочно (он был осужден на восемь лет), он сбежал на Запад, и ему дали стипендию, и он тут же, молодой дурак, поехал в Монте-Карло и все деньги спустил за один вечер!

Самое замечательное, что теперь, к концу месяца, я начала понимать, о чем они говорят! Трижды Иштван рассказывал за столом свою жизнь (каждому новому приехавшему), и только на четвертый раз я среди свиста и шипения венгерского английского сообразила, о чем речь. Ура!

С японской композиторшей Икоэ мы теперь тоже могли разговаривать, я понимала ее английский. Она в двадцать лет уехала из Токио учиться в консерваторию в Нью-Йорк по классу ударных и теперь живет там в квартире, маленькой-маленькой (она подчеркнула это слово почему-то, хотя я вовсе не собиралась проситься переночевать, о, иностранцы!), Икоэ много ездит, дает концерты по всему миру, и у Икоэ есть кошечка, которой девятнадцать лет. Когда Икоэ уехала, ее кошка заболела, перестала есть. Весь следующий день Икоэ звонила в Нью-Йорк. Мне казалось, что она хочет, чтобы подруга поднесла больную Мицуэ к трубке.

На следующий вечер дети мне позвонили из Москвы и сказали, что наша кошка Муся заболела, перестала есть, ее возили в больницу:

— Но теперь все в порядке, мамочка!

Вот это да, беды приходят в рифму. Я заподозрила, что меня обманывают и готовят к дурным вестям.

Вечер у нас прошел уныло, мы, собравшись в замке, выслушали столь же нехорошие сообщения по Би-би-си (перестрелки, катастрофы, борьба педофилов за свои права… Другого, правда, по ТВ нигде в мире не показывают. Я все молилась, чтобы о России ничего не вякнули).

О, как мы зависимы от новостей!

Утром Икоэ заглянула в мою студию и радостно сообщила, что ее Мицуэ стало лучше, уф.

Вечером я позвонила домой, мне поднесли к телефону Мусю и долго уговаривали ее мяукнуть. Она в конце концов рявкнула, вырвалась и ушла. Ура.

Старая кошка Мицуэ, как я думаю, все заменяет моей японской подружке — и ребенка, и маму. У женщин есть эта потребность — взять на ручки, прижаться щекой к теплому меху, услышать, как в ответ милостиво замурчат…

В реальности мама Икоэ в Токио живет одиноко и месяцами не подходит к телефону — у нее шизофрения. Это жизнь, что поделаешь. Живешь-терпёшь.

Такая наша тема сегодня, поэтому я, простите, все о болезнях да о болезнях.

Как говорится в старом анекдоте, вы будете смеяться, но: под занавес у английской писательницы Джейн вдруг воспалилась вся правая сторона головы. Вздулось ухо, железки, десны.

И наш менеджер (очень похожий, кстати, на Надю) решительно не рекомендовал ей обращаться к врачу.

Покачал сурово головой. (Я-то поняла почему.)

Он сам поехал в город и на средства миллионерш купил ей сильный антибиотик (и себе, я думаю, заодно поливитамины и крем после бритья).

Действительно, у нее все прошло к отъезду. Она ужинала с нами, читала вслух свой рассказ. (Или не прошло — мы не узнаем об этом никогда.)

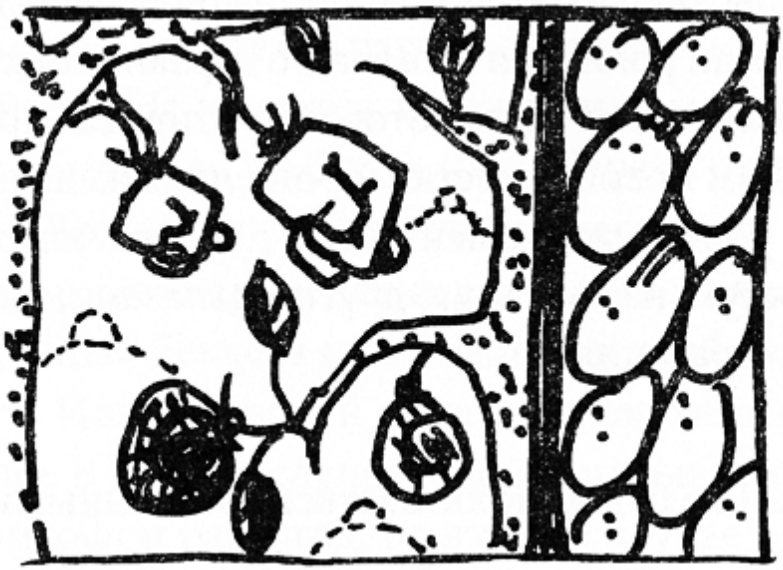
Джейн уехала рано утром, милая женщина, семьдесят три годочка, десяток книг, премии, старшему ребенку пятьдесят лет, среднему сорок шесть, младшему тридцать семь, малыш, последышек. Одного ребенка она потеряла.

Джейн все мне рассказала о своей жизни. Мы очень подружились.

Судя по всему, за нашу страховку опять-таки заплатили по минимуму, ежели вообще.

Джейн заболела, когда прочла первую половину моей книги «Время ночь». Не потому что, а просто когда. Я не честолюбива. Я просто констатирую совпадение.

Что произошло потом, читайте в конце первой главы…



Импровизационная психодрама

Чем отличается импровизационная психодрама от общепринятой?

Д-р Морено использовал групповую психодраму как метод лечения неврозов. Участники группы, больные клиник, обговаривали сюжет и получали роли, при этом часто играли своих врагов. Сын играл мать, которая противится приводу в дом новой невестки, брошенная жена получала роль мужа-изменника и т. д. Это помогало взглянуть на ситуацию другими глазами, забыть свои страдания.

Мы не будем пользоваться навязанными ролями.

У нас — чистая импровизация. Даже без тем.

Никто никому ничего не будет диктовать.

Каждый участник сочинит свою пьесу, иногда совершенно неожиданную для него самого и (внимание) ничего не означающую в смысле психоанализа. И Фрейду было бы нечем тут поживиться. Игра означает просто игру, творчество свободно от символов, воображение выбирает случайное, как шарик в лотерее. Мы увидим, как много путей в том лабиринте, который называется человеческим воображением.

Здесь самое главное — с партнером или самостоятельно — научиться использовать случайный путь, подхватить любую ниточку, чтобы выбраться на простор сюжета.

Сюжет — огромная победа.

1. О монологе

Монолог в театре — вообще очень редкий жанр (не имеется в виду речь в сторону, так называемый «апарт», а part, свойство классических пьес). Не имеются также в виду монологи типа «Быть или не быть» или «Карету мне, карету». Всего в мире существует несколько знаменитых монодрам, таких как «Последняя лента Креппа» Беккета или «Человеческий голос» Кокто. Или чеховский «Разговор человека с собакой». В первом случае герой записывается на магнитофон раз в год, во втором случае — это телефонный разговор, слышный нам с одной стороны. В третьем случае все ясно из названия.

Монолог есть высшая форма импровизационной психодрамы.

При этом заранее предупреждаю, что мы не принимаем такой

формы, как личная исповедь. Это весьма опасно для автора, может привести даже к припадку.

Импровизация спонтанна, а искусство искусственно.

В чем же искусство импровизации? В умении вводить себя в соответствующее состояние, когда сквозь рассказчика проступают черты другого человека, от чьего лица ведется разговор.

Ибо главное требование к импровизации — перейти от себя к другому, говорить от имени персонажа. Это нетрудно.

Рассказчики всегда передают беседу чужими голосами. Дети, играя, говорят чужими голосами. Обозленные хорошо передразнивают. Особенно нам удается акцент иностранцев.

Итак, каждому приходится изображать чужую речь.

Зачем нам влезать в чужую шкуру?

Потому что первое правило нашей игры в импровизационную психодраму — никогда не говорить от своего имени. Повторяю, это крайне вредно для психики и может вызвать серьезную травму.

Изображая постороннее лицо, мы тем больше освобождаемся, чем полнее забываем себя. Потому так приятно пересказывать чужие разговоры, и чем более похоже получается, тем больше удовольствие — и наше, и слушателей. Это счастье игры в другого есть первоначальный, архаичный театр. Пародисты потому так любимы зрителями.

Но такая игра в другого имеет еще и функцию самоосвобождения. Она возвышает человека в собственных глазах. Умение передать речь другого есть путь к роли на несколько ступеней выше собственной, что делает автора творцом. Это одновременно и облегчает ему путь к другим людям.

Однако импровизационная психодрама не есть ни пародия, ни воспроизведение уже бывших бесед.

Импровизация создает совершенно новые образцы драмы, неожиданные для авторов.

Импровизацию нельзя повторить. И не нужно. Она как момент эпифании — мгновенная вспышка чувств.

Первая фраза на каждом занятии:

«Пожалуйста, мне нужны двое».

Итак, первый вопрос к себе:

Кто говорит

Иногда я прошу своих студентов составить список всех своих знакомых и родственников. И говорю: вот ваше единственное богатство на всю жизнь. Вот откуда вы будете черпать истории, сюжеты, чувства.

Первый вопрос: «Кто говорит?»

И вы, к примеру, берете из своего (пусть мысленного) списка человека. Он стоит перед вами как живой. Он чем-то вам интересен.

Второй вопрос:

Зачем говорит (Цель, причина)

Вся живая речь есть импровизация, однако она (импровизация) имеет определенную задачу. Зачем-то человек говорит. Он имеет некую цель — кого-то убедить, чего-то добиться, или от чего-то отказаться, или нечто объяснить. Или заявить о своих правах, о том, что их ущемляют.

Важнейшее свойство речи в монологе — ее цель.

Отсутствие видимой цели в разговоре бывает еще выразительней чем ее наличие. Но в конце концов цель (в монодраме) должна проявиться. Чем дольше вы, зная истинную причину своей речи, скрываете ее, тем будет интересней для слушателей ее выявление. К примеру, человек признается в любви старой знакомой, просит ее о встрече — а на самом деле ему негде переночевать. Или женщина долго разговаривает со своей подругой по телефону, а настоящая ее цель в том, что эта подруга — любовница мужа, и надо выяснить, где этот муж сейчас, потому что его надо предупредить о каком-то опасном для него моменте. А эта подруга не должна знать ничего.

На занятиях мы не будем заниматься воспроизведением так называемого «равнинного течения жизни» (что очень легко, так как беседа двух супругов за чаем о том, что это печенье лучше чем то, и у кого где болит, может длиться час и ничего не дать — если только автор не Зощенко).

Поэтому важно четко знать, зачем ты это говоришь и к кому, невидимому для зрителей, обращаешься.

Возможный тип монолога

Мои студенты предлагали мне много разных вариантов, почему человек говорит на сцене один:

разговор по телефону, запись на магнитофон как обращение, речь (учителя у доски, экскурсовода, командира перед строем, родителя, комментатора или ведущего). Разговор с принципиально не отвечающим партнером, с больным, умершим, с неслышимым партнером — он за дверью, за окном, за стеной. Мало того, можно говорить и с отвечающим партнером, только мы его не слышим, а слышит только рассказчик. Это может быть и молитва, и репетиция роли, и голос одиночки, который разговаривает сам с собой.

Повторяю, однако, что мы не занимаемся исповедями.

Единственно что важно — монолог всегда напряжен, это должен быть жанр либо комедии, либо трагедии, либо трагикомедии. Даже в равнинном течении жизни можно найти такой поворот, за которым скрыто сильное чувство.

Попутно мы должны прояснить для себя,

ГДЕ ПРОИСХОДИТ ДЕЙСТВИЕ.

Как правило, все является сразу, когда импровизатор отвечает на вопрос «кто» и «зачем».

Диалог

ПРАВИЛО: из двух участников кто-то начинает диалог, но это так называемый сильный ход. т. е. нельзя начинать беседу с вопроса типа «где мы» и «кто вы». Это — передача хода. Начавший решает все сам.

Первый сказавший может сразу же определить сюжет, продиктовать его течение. Один из двух студентов начал диалог так (обращаясь к сотоварищу): «Мама, тебя вызывают в школу».

Дальнейшее развитие диалога определено сразу.

Студентка Д.Т. произнесла такую первую фразу: «Вчера у меня сгорели волосы».

Это сильный ход, заставивший партнера долго размышлять. В конце концов выяснилось, что волосы сгорели, т. к. их завивали щипцами к свадьбе.

Первый тип — тип равнинного течения сюжета. Не трагедия, не комедия. Но что-то может получиться.

Второй тип — нечто странное, что может обернуться и так, и так. Но это будет, тем не менее, необычно.

Мы со студентами каждый раз, начиная занятия диалогом,

решаем, какие бывают эти разговоры, зачем.

В диалогах ПЕРВОЕ — это ЗАЧЕМ мне надо говорить с этим человеком.

Характер говорящего образовывается постепенно, вылепливается, выясняется по ходу развития сюжета. Каждая реплика что-то добавляет.

Если в монологе все надо решить сразу, то в диалоге это приходит постепенно. Редко кто выходит с уже готовым сюжетом, да и трудно его провести при том, что партнер не предупрежден и может пойти другим путем.

Итак, все возникает в процессе. Поэтому —

ВТОРОЕ ПРАВИЛО: полное сотрудничество.

Если сделан сильный ход, то есть застолблена заявка на определенный сюжет, то партнеру нельзя разрушать его, наоборот, надо поддерживать развитие этой линии.

Как обратный пример привожу классический случай в самом начале моих занятий с курсом О.Я.Ремеза (ГИТИС).

Двое, студент и студентка, начали свой диалог так:

ОН. Жозефина, враги окружили дом. Нам не выйти живыми.

ОНА. Чо говоришь-то глупость. Я тебе не Жозефина. Ну ты даешь.

ОН. Жозефина, мы погибли!

ОНА. Ваня, ты вообще че. Деревню насмешишь. Где враги, это стадо гонят.

ОН. Давай прощаться, Жозефина. Прости мне все, что я тебе сделал. Прости дурака Наполеона.

ОНА. Вань, кончай стебаться. Ну прям не могу. Ну ты ва-ще…

3-й СТУДЕНТ (на третьей минуте этого идиотского диалога, тихо подобравшись). Людмила Стефановна, разрешите мне выйти и войти в комнату.

Л.С. Пожалуйста.

3-й СТУДЕНТ (стучит, входит. Торжественно). Больные, на уколы.

Народ хохочет.

(Описание преподаваемой дисциплины для деканата ГИТИСа, когда принимали на работу во второй раз.)

Все имеют право на концепт

Надо же тому случиться, что судьба занесла меня в деревню Виперсдорф Ютербогского района Берлинской области, в страну под названием бывш. ГДР.

Мне дали как писателю стипендию на питание и проживание в доме творчества для разнообразных создателей, в том числе и для философов и историков. Но главное были, конечно, художники, композиторы и писатели.

Где я и прошла мои маленькие университеты в области современного изобразительного искусства, оказавшись в эпицентре концептуализма.

Заранее говорю, что я поняла: концепт — это, проще говоря, изобретение. Ноу-хау. Изобрести материал, способ его размещения и на чем размещать. И главное — идея. т. е. что хотел этим сказать автор, простая школьная формулировка.

Собственно, любое сделанное человеком может быть подано как концептуальное искусство.

Еще более главное — это куратор, под которого и создается концепт и который проектирует выставку, на которую получит деньги от министерства культуры и спонсоров, которые часто линяют.

Не буду тут пересказывать примеры из творчества бывших советских художников, которые вовсю демонстрируют на Западе вывезенную из российских кухонь и коридоров экзотику в виде табуреток, корыт, почтовых ящиков и реальных б/у деревянных седел, снятых с унитазов. Сошлюсь лучше на опыт деревни Виперсдорф.

Допустим, материал — это акрил и холст 2 м на 3 м. Способ — полив, прысканье из пневматического пульверизатора (называется как-то вроде «аэрограф»). А теперь «что»: изображается художник и жена художника, крупно (увеличенный слайд проецируется на холст и копируется). Две, допустим, головы: каждая полметра на полметра.

Непохоже, но не это важно. Рисунок с фотографии часто бывает непохож. Затем пункт «идея, или что этим хотел сказать художник»: автор записал на пленку свою ссору с женой. Жена упрекала его в тот момент, что он ей изменяет. Художник возражал на иностранном языке (по-нашему это звучало как разговор с лошадью: «Нно! ННО!»).

В дальнейшем скандал должен был транслироваться с магнитофона в оригинале, а на холст попадал уже перевод текста на немецкий в виде титров.

* * *

Итак, это была Германия, деревенька Виперсдорф.

Стояла немыслимая жарища.

В деревне имелся дворец графов фон Арнимов, ныне музей, продающий экскурсии, книги и свое вино «Гёте» и «Беттина».

Вокруг простирался многовековый парк с павильоном, садами, цветниками и заросшим прудом, в котором болтался потерханный лебедь. Я носила ему булки и назвала его почему-то «Ульрих», видимо, по созвучию с фамилией бывшего секретаря компартии ГДР. Иногда Ульриха не было. Вообще-то его звали Беттина. Я один раз спросила «Во ист Беттина?» и из ответа как-то не поняла, то ли он пошел в соседнюю деревню (пешком по лесу? А лисы? Как у него было с крыльями?), то ли полетел. Через неделю Ульрих вернулся и давал неторопливые круги в нашей луже.

Немецкий я знаю со времен военного детства: «Ахтунг», «Хенде хох» и «Битте», а также «Вас ист дас» (что это такое). За остальное время я выучила «Во ист?» (Где?) с существительными «Варен» (магазин) и «У-бан», т. е. подземка. Однажды я даже вступила в оживленную дискуссию с продавщицей, обнаружив, что купила две пары перчаток вместо одной (они слиплись). Дело было еще в ГДР. Я до того почему-то запомнила слово «цурюк», то есть обратно. И тут же его использовала, сказавши продавщице: «Марки цурюк, битте!» (т. е. верните деньги) и положила одну из пар ей на прилавок. Она в течение минуты мне что-то говорила. Я опять твердо сказала: «Марки цурюк, битте шён!», марки обратно, пожалуйста. Я вам перчатки, а вы мне деньги. Потом я как-то поняла, что она резко возражает против такого обмена, но разрешает на эти деньги взять что-нибудь другое.

То есть жизнь в чужой стране научает понимать без слов, считывая информацию из выражения лица собеседника и его жестов.

И так, на положении глухонемой, я и прожила в Виперсдорфе полтора месяца. Это было очень трудно.

Изоляция вынуждает вести необычный образ жизни.

К замку прилагались, кроме пруда с Ульрихом, напряженно работающая кухня, водитель микроавтобуса, две стиральные машины, полный сарайчик велосипедов, парк с клумбами и павильоном в стиле барокко, затем новейшее двухэтажное сооружение с номерами для жильцов, похожее на студенческую общагу, т. е. типичный тесный коридор и маленькие комнаты с удобствами; на втором этаже этой общаги компьютерный зал с интернетом, на первом небогатая библиотека, вокруг пшеничные

поля и бескрайние аккуратные саженые леса, преимущественно сосняк и дубравы.

Что интересно: для композиторов были выделены двухкомнатные квартиры с пианино и два зала с роялями в самом замке, для художников — огромные ателье (размером с баскетбольный зал) во фруктовом саду, а вот для писателей — только общий зальчик с шестью компьютерами и со стеклянной крышей, которая с утра накалялась как электроплита.

Ну и, разумеется, пожалуйста, весь парк: пространные газоны с цветами, по сторонам каменные скамьи, вазоны, балюстрады, древние статуи гномов и греческих богов, а также замшелые ступени и обширная терраса, где все обедали под зонтиками. И вокруг многовековые огромные липы, здоровые и свежие.

Я по некоторым причинам посещала концерты коллег-композиторов, а также ателье местных творцов-художников, трудолюбиво собирала их каталоги, беседовала с ними об их жизни и планах, о технике, используемой ими и о проблемах, известных всему миру под названием «творец, а денег нету».

То есть я всячески увиливала от своей непосредственной работы, что знакомо каждому. Нелюбовь к труду возникает как раз тогда, когда создано все, чтобы беспрепятственно заниматься трудом (вниманию родителей!).

Как часто я видела, что писатель организует себе идеальные условия: отдельный кабинет, у телефона жена несет вахту как боец ВОХРа (вооруженной охраны), мимо двери творца (обитой толстым материалом) ходят на цыпочках, на огромном столе у него стоит компьютер, открытый на текущей работе, и размещена, допустим, коллекция трубок, а сам автор, запершись для якобы работы, трусливо спит на диване или играет в компьютерную игру… А роман его как завис, так и висит на сорок седьмой странице.

То есть меня нисколько не тянуло к письменному столу. Я гуляла, что называется, налево.

Сначала я пошла в лес.

Надо сказать, что леса вокруг замка меня поразили.

Здоровые, могучие деревья росли на совершенно пустой почве, то есть имелась только какая-то редкая травка типа малорослого ковыля. Лес был прозрачен насквозь. Ни единого цветочка! Ни одного кустика! Не говоря о грибах или там землянике. Правда, и ни единой битой бутылки или пластиковой емкости, сплющенной под чьей-то неверной пятой. Ни клочка бумаги. Чисто.

Потрясающие леса.

Иди километр, второй, третий — все одно и то же.

Единственно что — на некоторых деревцах имелись цветные пояса. Метка для лесорубов, видимо…

И еще одно — вдруг путь закрыт. Огромный участок обнесен проволочной сеткой. Приватные владения. Слезы, короче.

А я, как всякая русская жительница, обожаю вернуться из лесу со стаканчиком ягод и букетиком цветов для рисования.

У меня такое хобби — летом рисовать цветы. Еще я люблю побродить в лесу по прозрачному ручью, а на душной полянке встретить в тени, в высокой мокрой траве темные, громадные ягоды земляники. Люблю услышать запах тины и незабудок возле маленького изумрудного болота, полюбоваться ослепительной березой на пригорке или солнечной поляной. А то увидеть на косогоре у реки стрекочущего вдаль зайчонка. Или выйти в ветреные просторы, когда облака бегут по круглому небесному полю, и солнышко то жмурится, то раскрывается на все земные угодья, заливая их светом… (Чувствую, что написала так называемый «отрывок», и его наверняка будут диктовать бедным школьникам, простите меня, детки!)

Ну так вот. Там, в замке, я была всего этого напрочь лишена.

А какие же цветы мне рисовать прикажете? Я ведь без этого не могу. У меня и акварель припасена. И кисточки. Только бумаги я мало взяла с собой, была только что из больницы. Думала купить ее на месте.

По первости началась охота за цветами.

В окрестных заброшенных садах (ряды огромных груш и яблонь, о ту пору незрелых) нашлись два куста шиповника и один куст роз.

Все эти растения на тот момент уже почти отцвели и заготавливали свои плоды, маленькие пока еще зеленые шишечки. А бутоны висели объеденные — на шиповнике поселилась какая-то мелкая тварь…

В полном отчаянии я решилась на вивисекцию — принесла с собой лезвие для заточки карандашей и срезала все плодики с одного куста, все полусожранные ветки и бутоны. (Второй шиповник оставила как контрольный.) Лето в тот год стояло устрашающе жаркое, а до осени (оправдывала я себя) кустик наверняка еще раз зацветет и заготовит новые ягоды.

То же я проделала и с розой — их же полагается остригать, чтобы пошли новые побеги, отвечала я невидимому хору обличителей.

Это был мой первый опыт.

Но приходилось долго ждать.

В парке же имелись два газона с готовыми розами. Я сначала хотела ночью прокрасться и срубить несколько цветков, но потом,

поразмыслив (ночью ничего не видать, в парке темно как в печи) дисциплинированно обратилась к начальству, и мне разрешили срезать три розы для рисования. При полном свете дня я выбрала три скромных белых бутона, которые к вечеру развернулись в пышные розоватые юбки, и надо было их срочно рисовать, назавтра при таких темпах это будут уже ягоды! Чтобы не терять время роз, я заготовила сразу три листа хорошей белой бумаги, сделала карандашные наброски и начала поочередно три акварели по поводу одного букета — пока одна сохла, я писала следующую. Метод великого акварелиста Фонвизина, как мне рассказывали его ученики — начать сразу много, разбросать листки по полу для высыхания и среди них ходить, искать наиболее удачный вариант.

Акварель — тончайшая вещь. Очень интересно писали акварели художники с выучкой архитекторов. Им полагалось не спешить и наносить так называемую отмывку — легкий, почти незаметный слой акварельных чернил (это растворенная в отдельных сосудах обычная акварель, но сильного разведения). Сделал один слой — не спеша пиши второй. И так постепенно, слой за слоем, художник творит тончайшие «валёры», вуали, тени света.

Совсем другая система у великих акварелистов Фонвизина, Мавриной (у каждого своя), у Врубеля, Иванова, Брюллова. Врубель каждую частичку гранил как бриллиант, Фонвизин иногда ронял на бумагу капли и вносил в них молекулы краски — а то устраивал моря разливанные, как цветные половодья. Маврина тридцатых годов была таким великим мастером, что писала обнаженных одним движением кисти (так же работал и скульптор Роден, который пускал натурщиков в свободный танец и наносил на бумагу мгновенный силуэт единым махом, а только потом карандашом добавлял тонкий малозаметный абрис. Волшебные все дела, надо сказать).

Про живописца Тернера, вещи которого я имела счастье видеть, можно сказать, что у него была душа акварелиста, но пользовался он масляными красками — зато так туманны, нереальны его полотна, что кажется, будто это мечта об акварели. Воспоминание о ее невесомости и прозрачности.

Акварель, однако, такой капризный и сложный жанр живописи, что мало кто им занимается. Один неверный удар кистью — и все, пиши пропало, можно всю работу выкидывать, результат целого дня, а то и нескольких. Мастера XIX века чего только не делали — даже купали акварели с мылом в горячей воде! Смывали неудачные фрагменты (как великий Константин

Сомов). Но на то была и бумага, крепкая как валенок!

Все это мы знаем, мы, любители, и ничем таким мы не пользуемся. Каждый идет своим собственным путем. Скучно иметь выучку и повторять испробованную методу. Не получилось — выкини, таков девиз любителя.

Когда я обмолвилась об этом профессионалам, они надо мной посмеялись и сказали, что сами все выкидывают. И каждый раз решают все заново: такой жанр, акварель!

Но вернемся к розам, которые я маниакально рисовала в Виперсдорфе (считая их, разумеется, венцом творения, галактиками, совершенными спиралями и математическими моделями вселенной. А также шедеврами природы, такими же, как котята, кристаллы драгоценных камней и небеса на закате).

Несколько раз я пользовалась разрешением начальства, пока однажды, явившись после завтрака в парк с ножичком, я не увидела ничего — сиротливо торчали голые прутики! Ни цветочка, ни бутончика!

Версия у народа была такая — в лесу живут косули, и это они устроили набег. Все вокруг высохло, стояла страшная жара, и только розы собирали на себе ночную влагу, росу… И копытные, что называется, вломились в парк и угостились.

Я потом их видела в лесу и в полях, особенно в кукурузе — крошечные олени, прыгучие как блошки.

Теперь, когда они слопали все на клумбах, была большая проблема, как найти натурщицу и поставить ее в воду в банку.

Но уже пошли монотипии, было не до роз.

А позже, когда я стала ночами возвращаться из своей студии в общежитие (далее я расскажу, как появилась у меня студия размером с баскетбольный зал) — мне частенько попадалась небольшая лиса, которая всегда шла в одно и то же время (в полпервого ночи) в одном направлении — трусила к курятнику соседей, разумеется. И не кур воровать. Куры сидели надежно обнесенные сеткой и за дверцей курятника. Но там, у этих глупых и неаккуратных (хотя и жирных и аппетитных) птиц, много было на земле корма, как обычно. Хозяева сыплют и мимо, даже педантичные немки. И умные мыши безнаказанно пировали там ночами. И лиса ходила подождать некоторых из них, когда они возвращались с толстыми щеками к себе в норки. Так я думаю. Туда же хаживал и большой ежик, он перетаптывал мне дорожку поперек, спеша в гости…

Кстати, мой расчет оказался верным — через буквально три недели мой обстриженный шиповник зацвел, да так бурно! Куст покрылся словно кудрявой пеной… И скромный стебель розы

тоже дал три огромных темно-красных кочана, крепких, цвета тлеющего угля. А «контрольный» шиповник не дал ни единого лепестка.

Продолжаю свой рассказ об увиливании от основной работы.

Гулять по этим лесам было тошно. Из других развлечений можно было почитать книжку на каком-нибудь неизвестном языке, поиграть на рояле в верхней гостиной дворца (но там вокруг обитали жильцы) или поездить на велосипеде по гладкому асфальтированному шоссе, проложенному в лесах.

Я как-то одолела девять километров по жаре в тридцать пять градусов. Это был подвиг. Когда пекло спадало, на велосипедах выбиралось вон все население замка, и сарайчик пустел. Велосипеды уезжали. Ночь падала быстро, уже в полдевятого. Самые сообразительные брали велосипед заранее, в жару, умещали на багажнике какую-нибудь малонужную вещь типа пустого пакета и ставили это меченое средство передвижения в укромном местье (типа не трогайте щасвернус).

Кроме того, я научилась играть в пинг-понг соло, в одиночку — как в теннис со стенкой. Пока что я не нашла общего языка с иностранными специалистами, а приглашать кого-нибудь поиграть так же неловко, как приглашать на танец.

Жил да был совсем один
Господин Сковородин
Он разгуливал один
Этот самый господин
И в пинг-понг играл один
Господин Сковородин
Счет бывал один-один
Между Сково и Родин

Английский язык у меня разве что письменный, в смысле не устный, и то писать я не берусь, а только читать. Так что с общением на этом языке было плохо. А на французском в нашем лагере интеллектуалов говорило только двое — бельгиец и одна немка. Но говорить с кем-то — это означает начать разговор, то есть пристать к человеку. Тоже не получалось. Итальянцев не было категорически. Позже, слава Езусу, нашелся один католик-поляк, хороший писатель и неслабый матершинник. Но тоже, хоть он был и рад поговорить по-польски, живучи вдали от родины уже десяток лет, однако поди ж ты затей этот разговор! Мы долго только здоровались.

Что оставалось бедному писателю, который гулял налево, т. е. не хотел возвращаться к недописанным книгам?

Во-первых, я обследовала местность и обнаружила в отдалении огромный дом, где размещалось по крайней мере шесть просторных художественных ателье. Там работал один кубинец и пять немок. В нашей общаге было еще три ателье, там угнездились еще три художницы-немки. Одна из них не говорила даже по-английски (на котором я худо-бедно могла объясниться). И я прежде всего отправилась к ней.

То есть каждый художник на самом деле жаждет поговорить о себе. О своих планах, об особенностях своей манеры рисования. О том как складывалась карьера и о том, что никто не хочет покупать!

Но с Лизбет у нас дело никак не склеилось. Мы не нашли общего языка. По-немецки я знаю какие-то бесполезные слова типа «варум», уже упоминавшегося «цурюк» и «кляйне нахтмюзик» (почему, обратно и маленькая ночная серенада), а также «вас ист дас», что это такое. Слово «извините» (иншульдиген) я разучивала дня три.

С таким словарным запасом я и постучала к фрау Лизбет.

— Халлё! — сказала я.

Она откликнулась бурной приветливой фразой.

Ни варум, ни цурюк я употребить не имела права. А также не годился репертуар из военных фильмов типа «хенде хох» и «ахтунг минен» (внимание, мины).

— Гутен таг! — я вспомнила, как можно поздороваться. И тут же из тьмы времен выступило немецкое стихотворение, которое я по ошибке выучила в третьем классе, попав в немецкую группу в школе при туберкулезном санатории. Но я там была всего два урока. Очень быстро меня перевели во французскую группу. В немецком стихотворении была фраза «Аллес аллес турнен вир», все мы физкультурники.

— Аллес! — воскликнула я. — Аллес гут!

То есть «все хорошо», мол.

И обвела стены рукой. На стенах были развешаны большие листы изумительной белой бумаги ручной работы. Уж я-то, акварелистка, знала цену такой бумаге.

Долго не могла я вспомнить слово «великолепный». А ведь знала же! В голове крутилось слово «цугундер», явно немецкое, но что оно значило?

— Оо, данке шён! — закивала художница. Спасибо типа.

— Дас ист гут аллес! — продолжала я свои малограмотные речи.

Если честно говорить, мне действительно понравились ее работы. Так малюют, получив бумажку и карандаши, дети в возрасте лет трех. И надо быть несомненно талантливым

человеком, чтобы рисовать таким способом сейчас, в возрасте шестидесяти! Чтобы обрести эту неслыханную простоту. Чтобы маракать цветными карандашами какие-то кривульки, слегка похожие на человеческие фигуры, и потом, поплевавши на указательный, слегка растушевать некоторые из этих косопырок до пятен. Красиво чрезвычайно! Ново, свежо, оригинально и очень выразительно на прекрасной, оч. дорогой белой бумаге ручной работы. Такую работу в рамку, да под хорошее плотное паспарту, да за стекло и повесить над диваном, и ни один черт не усомнится. Тем более если скажешь: «Это известная немецкая художница из Брюккена… Международные выставки… Семь тысяч за работу…» А сама вещь (ВЕЩЬ) никакой агрессии не несет, не требует ничего, тихо висит и висит, и на ней издали ничего не разберешь, а уж вблизи тем более. Но она несет нечто, какое-то послание, некую мысль автора — иначе зачем бы Лизбет портить карандашами такое количество дорогой бумаги! Но не надо эту мысль разгадывать. Пусть все будет укрыто тайной искусства.

Впоследствии другая художница, Ханна, ткнула рукой в альбом своего шестилетнего сына и сказала, что это есть «беттер ден Лизбетс воркс», лучше чем работы Лизбет.

С одной стороны, это была чистая правда. Лизбет рисовала свои обрубки менее уверенно, нежели простой ребенок (как воскликнула однажды старая большевичка в санатории для ветеранов: «Кто допустил сюда рядового ребенка?»). Мало того, Лизбет рисовала также хуже чем обычный сумасшедший («рядовой») из тех, чьи работы публикуют врачи. Правда, может быть, и Матисс бы не выдержал сравнения с ними, поставь его в те же условия анонимности.

Короче говоря, Лизбет рисовала специально плохо, но недостаточно плохо. И возможно, эта центристская позиция и сделала ей имя, дала возможность участвовать в выставках и выпустить каталог. Минимализм, господа. Если бы, однако, она рисовала из рук вон плохо, она бы была отринута как непризнанный гений и фиг бы получила, допустим, стипендию в Виперсдорф. Но она удержалась в границах, честь ей и хвала.

Она мне показала и свои очень дорогие цветные карандаши (цену на коробках тоже). И показала, плюнув на палец и потерев одну из своих линий на бумаге, как эти карандаши легко растушевываются. Зачем-то ей это было надо, плевать и размазывать по бумаге.

Необходимо было в ответ как-то реагировать.

И тут я вспомнила слово «великолепно»! От слова «вундербра», т. е. бюстгалтер — и еще пришел на ум кошмарный лозунг над концлагерем Освенцим — «Арбайт махт фрай», т. е. работа освобождает.

И у меня родилось следующее:

— Дас ист арбайт вундербар! Фюр… (Тут я постучала себя по грудине выше желудка.)

То есть я сказала: «Это великолепная работа! Для меня».

Скромная, милая Лизбет оценила мой лингвистический труд и подарила мне свой каталог. Потом она обзавелась немецко-французским словарем и в следующую нашу встречу как-то тоже стала склеивать фразы, но похвалить меня ей было не на чем. Поскольку во второй заход я ей показала свои маленькие акварели на тонкой бумажке формата А4. Я тоже на них намалевала какие-то кургузые фигуры в процессе вроде бы танца. То есть когда я вернулась от Лизбет в свою душегубку в общежитии, то мне захотелось акварелью выразить воспоминания от работ Лизбет. За вечер я сделала семь акварелей. Бумаги у меня не было, я сходила в компьютерный зал и взяла там пачечку.

Но Лизбет меня не очень одобрила, а просто, как мастер и учитель, профессионально разделила мои работы на две кучки, и одну кучку похвалила, а вторую отвергла.

Правило, однако, такое: ежели ты просишь художника показать свои работы, то не мешай одно с другим, не показывай ему своих работ. Не меняй позицию исследователя и искусствоведа на позицию ученика. Это снижает уровень, как твой собственный, так и уровень встречи.

Став много снисходительней, Лизбет с помощью словаря мне сообщила, что сама она из города Брюккена, что у нее муж (мон мари) скоро приедет, и он говорит по-французски.

Потом этот муж приехал, мы сидели за одним столом ужинали и болтали с ним по-французски, после чего Лизбет обиделась и ушла. Действительно: приехал муж ведь не затем чтобы болтать с кем-то посторонним! Причем на непонятном языке!

Я сделала еще шесть таких же акварелей, но уже не стала их показывать Лизбет. Муж у нее был красавец лет семидесяти, архитектор, бонвиван и явно бывший жуир. И их игры были, скорее всего, очень давними, очень привычными и всякий раз волнующими.

А потом я повесила на своей выставке эти маленькие акварели, сделанные на дешевой бумажке при помощи наших чудных ленинградских акварельных красочек, потому что если и эти мои ничего не значащие работы, сделанные в тоске и

одиночестве душной ночью в пустых лесах, если даже их положить под хорошее паспарту, да в хорошую рамку под стекло, то и они тоже над чьим-то диваном займут свое веселое место… Особенно ежели диван будет тоже с оттенком ультрамарина и берлинской лазури…

Каждый день я гуляла по окрестностям. В моей душегубке сидеть было невозможно.

В пустых древесно-стружечных лесах
Где деловая зреет древесина
Березина, соснятина, дубнина…
Где смертников содержат в поясах

Лизбет уехала, мы с ней так и не попрощались.

И вдруг тем же вечером я по приглашению оказалась в мастерской другой художницы, Нины. Нина зазвала меня в свою студию (уже, видимо, прошел слух о моих визитах к Лизбет). Эта Нина уезжала назавтра, а сегодня у нее был вернисаж и винопитие.

Нина чудно говорила со мной на своем «пиджин инглиш», приблизительном английском, объясняла способы и методы работы, а также (не без того) сетовала на то, что никто не покупает. Я ей поддакивала и слушала очень внимательно. Что еще нужно художнику! Нина весьма жалела, что мы не повстречались пораньше. Она бы мне много чего показала, но сейчас это было запаковано.

Я сказала Нине чистую правду, что собираюсь писать статью о современном искусстве.

А что я сейчас делаю?

Боже ты мой, Нина открыла для меня совершенно новый мир!

Перед тем, в сей же день, она совершила подвиг, показала мне, как делаются монотипии.

Она наглядно объяснила технологию. Берется бумага! Берется краска черная! Рисуем на бумаге (эта была еще лучшего качества, чем у обидчивой Лизбет, еще более плотная, тоже ручной выделки).

Затем она потрясла бутылкой постного масла. И сказала, что делает краски с этим маслом (Ай мэйд май каларс вит дыс).

Затем она объяснила, что с помощью кисти (вит май браш) она рисует этой краской (май калор) на этой бумаге (ткнувши фингером в пэйпер, т. е. пальцем в бумагу).

Итак, на первом листе Нина изобразила голову на шее, без

ненужных подробностей вроде ушей, зато очень жирной черной краской на постном масле. Затем она наложила следующий чистый лист на этот лист с пятном и провела своей старой майкой (май олд тишот) поверх всего. После такого совокупления она разняла листы и приложила к оригиналу следующий щит оф пэйпер. И так повторилось четыре раза. И вышло пять изображений одно другого бледней. Последнее вообще было ни к черту. Слабое пятно. Затем на оригинале, самом жирном, Нина пальцем (вит май фингер) нарисовала по черной краске носик-ротик и глазки. Потом на остальных тоже. И сказала: «Нот фор сэйл», то есть не для продажи. Стало быть, как правило (дженераллы), эти ее работы не продаются. Невер. То есть это онлы фор экзибишн, только выставочные работы.

Я, подумавши хорошенько, предложила ей на этих мордах рисовать реальные портреты. Она ответила, что ай кант ду эни имиджис. Я не могу делать портретов. Выяснилось, что в академии их этому бесполезному занятию уже не учили.

Тогда я посоветовала дать название этой серии «Трансформэйшн оф Майкл Джексон». Имея в виду постепенное убеление его глубоко черного с постным маслом лица. Все посмеялись.

Но это было с моей стороны предложение не годящееся. Ибо никакой нагрузки вещи для интерьера не должны нести. Индифферентность и дискретность. Неназойливость, многовариантность трактовки. Спокойствие.

На самом деле на стене, да в рамах, эти простенькие работы должны были выглядеть красиво — особенно в офисе.

Нина делала и цветные монотипии, тоже очень симпатичные.

Вот это у нее иногда покупают. Думаю, если у людей есть диван похожей расцветки.

Работы Нины не утомляют, не отвлекают внимание. Это чисто декоративное произведение, почти пятно. Но пятно живописное.

И я эту простую технику запомнила! Она врезалась мне в сердце, буквально. Через три недели я ее использовала в своих целях.

Нина запомнилась мне еще и тем, что была похожа на дорогую куклу от мастера — пшеничная толстая коса, потрясающий розовый цвет лица, пухлый кирпичного цвета рот, зубы крупные, молочно-белые и почти прозрачные, как вымоченный миндаль, при этом яркие голубые маленькие глазки и невысокие бровки домиком… Она была весела, бодра и готова к новым выставкам, она быстро справлялась с рабочим процессом, у нее за плечами были экспозиции, гранты и стипендии.

В целом, как я поняла позднее, необходимо набрать как

можно более таких пунктов (именно что участие в выставках, гранты и стипендии, каталоги, покупки — например, примечание под работой — «Из собрания семьи Шварц»), а затем уже дело проще: такого известного художника начнут приобретать фирмы для украшения офисов и цехов. И не надо бояться масштабов! Чем больше работа, тем больше вероятность, что она будет на выставке и затем в газетах, каталогах, а позже ее купят!

Так учил меня гораздо раньше один из Киева художник, по образованию архитектор. Он познакомился в Киеве с иностранными людьми, приехавшими из маленького европейского, на задворках, города, подружился с ними, показал свои полотна, сказал, что его преследуют. Они были тронуты его положением неформального художника в зверских условиях украинского социализма и вскоре организовали у себя его выставку, хороший же парень и пострадал! Он приехал с детьми, попросил политического убежища — а дело было при Брежневе еще. За него похлопотали. Дальше дела пошли хуже. Никому он не понадобился. Но он нашел путь. ПУТЬ. Он, оглянувшись по сторонам и полистав каталоги, обнаружил, что народ в качестве украшения над диваном сейчас покупает нонфигуративную живопись. То есть не реализм во всяком случае. Ни в коем случае не реализм. И тогда этот Мыкола, прекрасно воспитанный в архитектурном институте, взял монографию Мане, наметил его репродукцию, к примеру, «Кувшинки», выделил кусок внизу, где просто сине-зеленый пруд, и скопировал это дело на холсте два на три метра. Во-первых, это был во всяком случае Мане. Хотя и поневоле абстрактный в данном кусочке. Но увеличенный. И разумеется, сквозь призму восприятия художником Мыколой этого кусочка три см на два см в репродукции, а затем и воплощенный путем перевода этого фрагмента в масштаб 1:100. Все. Жители города толпились перед этим шедевром, чуя правду. Так свежо, ново, и тема моря явно! (Пруд, увеличенный во сто раз.) Городок-то был у северного моря. И пошло-понеслось. Филиал японской фирмы заказал ему в свои цеха четыре таких работы. Для увеличения производительности труда. И теперь у Мыколы трехэтажный дом, студия такого же размера, и он сделал для своего городка очень многое теперь уже как реально хороший архитектор с очень хорошим советским образованием.

* * *

Мое обучение в сфере современного искусства стремительно продолжалось.

Следующая по очереди художница у меня была Магда.

Магда была очень похожа на Мерил Стрип, только худее раза в три. Если это возможно. Как говорил один парижский наглый модельер, вообще для показа мод мне нужны швабры (т. е. две палочки). Вот такой шваброй с головой Мерил Стрип и была Магда. Ясное, всегда приветливое лицо. Аккуратистка идеальная. Мастерская вылизанная, чистейшая. Манера работы супер. Берется квадратный кусок пенопласта или какого-то другого легкого материала. На него наносится концентрический рисунок (на столе присутствовал циркуль). То есть разноцветные яркие круги один в другом. Затем на края налеплялась в несколько слоев широкая лента скотча (у квадрата образовывались как бы берега, как у сковороды). В эту форму заливался расплавленный парафин. Скотч убирался. Сквозь парафин, как сквозь туман, просвечивали концентрические круги. Красиво.

Лет десять назад я видела в Париже на ежегодной выставке живописи работу одной японки, которая тоже свою живопись огородила и прикрыла сверху прозрачной рисовой бумагой, и сквозь этот туман, как на донышке, просвечивало произведение японки, малые черточки и японского вида кляксы, размещенные в клеточках из реек. Она получила первую премию тогда.

То есть задача куска, как говорит одна моя знакомая, театральный критик: задача куска нарисовать и потом как-то увести изображение, полустереть его, утаить.

Нам, акварелистам-любителям, это знакомо, такая уж техника — иногда недосказанное и незаконченное выше и интереснее жесткого, сухого воплощения. Даже всегда, прямо скажем. Тут я сделала ошибку — взяла со стола парафиновое творение Магды. Магда сказала что-то типа «не надо». Почему? Потому что образуются царапины. Парафин же!

А! Вот тут и ловушка. Произведение искусства должно быть рассчитано на века. Парафин как материал? А ну как жаркая погода? И уронили? Брызнули?

Магда сказала, что знает это и что у нее уже есть другое ноу-хау. И она его сейчас начнет воплощать. Парафин — это начальная стадия, это она лежала в больнице с легкими, и ей делали из расплавленного парафина компрессы. И тогда она это все придумала. Лежа больная.

А теперь она придумала заливать форму расплавленным сахаром, смешанным с клеем.

И она показала первую пробную работу.

В отличие от белого туманного парафина сахар был прозрачно-золотистый. Ну как карамель. Сквозь него просвечивали концентрические круги. Было тоже очень красиво.

Работа висела на стене.

Через неделю я опять заглянула к Магде. Карамель на стене как бы сползла с рисунка. Она висела таким коровьим язычищем.

Магда вздохнула и сказала, что будет теперь пробовать стекло. Пластик? Пластик дает испарения, это вредно для дыхания.

Все-таки у нее что-то с легкими.

На вид Магде лет сорок с чем-то. Молодая еще. Недавно вышла замуж за очень хорошего человека, старого холостяка. Живут пока что в разных городах. Проводят вместе выходные и отпуск.

Так, кстати, устраиваются многие. Человеку радостно встретить любимое существо в покое, на отдыхе, без спешки. Люди взрослые. Я знавала пару — он в Будапеште, она в Берлине. Дети уже взрослые, с ними не проведешь ни праздников, ни отпуска. А тут любящий, заботливый партнер. Не живут вместе — и не ссорятся. Никто никому не стирает плохо носки и не пережаривает картошку. Нет претензий…

* * *

Я продолжала ходить по мастерским художников, отлынивая от работы.

У каждого такого творца была там большая студия, чему я печально завидовала. Писатели жили в 14-метровых КПЗ. Днем окно еще можно было открывать, хотя солнце палило прямой

наводкой, а вечером в окно толпами, как подростки на дискотеку (притом с бесплатными напитками), ломились сухощавые голодные комары.

Многие пишущие уходили в парк, но я была привязана к ноутбуку.

Я несмело спросила на своем приблизительном английском у замдиректорши, а можно ли мне получить студию — я ведь еще из Москвы писала, что мне нужно ателье. Ответ был: «Сорри, олл из окьюпт». Все занято.

Я обследовала территории художников. Было интересно, прохладно. Угощали чем придется. Творцы любят, когда к ним приходят. Обожают зрителей. У них эта возможность бывает редко, только на вернисажах, т. е. хорошо раз в три-четыре года.

Так что меня принимали приветливо.

Вечерами я, делать нечего, писала свои акварельки, но никому их не показывала.

Я ушла далеко в сторону от минимализма Лизбет. На А4 начали возникать какие-то апокалиптические сюжеты, какие-то летящие фигуры. Я рисовала почти не думая. Виперсдорф, ночная жара, невидимый пьяный дядя отрывисто и напористо, как вереницу команд, произносит монолог по-немецки у себя дома, но перед открытым окном… И на всю деревню. Стандартный крик алкоголика. Но на этом языке это напоминало звуковой ряд какого-нибудь старого фильма о немецкой оккупации, т. е. хорошего мало.

И тут я, преднамеренный экспериментатор, стала мечтать раздобыть в этом захолустье бумагу и краску для монотипий.

В следующий вторник, как я выяснила при помощи русскоговорящего финна, композитора Харри, маршрутка с постояльцами отправлялась в Ютербог за 18 км.

Харри был сокровищем, как потом оказалось. Он знал семь языков!

Но он, как всякое сокровище, таился. Так прячутся врачи на отдыхе. Видимо, он не желал работать переводчиком.

Только потом, когда я нарисовала его портрет, он вдруг стал тем, кем был на самом деле — дружелюбным, веселым, душой нашей компании. Они, композиторы, как-то раз устроили нам веселье, т. е. играли трио на одном рояле!

Итак, я отправилась в районную столицу искать орудия труда.

А народ массово ехал за вином (70 центов стоил литр этого дела в картонке).

Прибыв в городишко с кирхой, я без языка попыталась найти

бумагу («Иншульдиген! Гутен таг! Во ист варен… ммм… папирен?» т. е. «где магазин бумага»). Мне указали лавочку для школьников. Там, однако, больших листов не было, только школьные принадлежности. Я купила альбом, набор очень кислотной по расцветке школьной гуаши, белила и лохматую, твердую кисточку для клея. Затем, пройдясь по улице, я заметила магазин строительных материалов, ура! И приобрела два рулона моющихся обоев (10 м в каждом) и четыре краски для добавления в белила, которым немцы покрывают обои — черную (!), красную, синюю и охру.

Итак, как говорилось в титрах одного фильма, я была вооружена и очень опасна.

Наш народ волок из магазина в микроавтобус ящики с вином. Я тоже зашла в супермаркет и купила бутылку постного масла и два литра воды. Ехали весело, я по одной причине, они по другой.

Затем надо было получить студию. Я уже провела разведку в том здании, где работали художники, и выяснила, что два помещения пустуют.

Но я была не в силах пробить стену. Руководители дома творчества не собирались меня трактовать как художника. Им, возможно, в этом мерещился захват дополнительной жилплощади, мало ли… Замдиректора неприветливо мне сообщила, что она сожалеет, но повторяет, что это все занято. Она была похожа на Гретхен, но уже побывавшую в КПЗ. Хмурая, резкая, белокурая.

Что было делать? Очень хотелось рисовать, делать монотипии.

Тогда я предложила Гретхен сделать ее портрет.

Неожиданно она повела бровью и согласилась.

Это было, как бы сказать аккуратней, испытание. Как в старину испытывали ведьм: утонет, значит, не ведьма.

Через день я уже сидела в холле со своим альбомом, ластиком и карандашом. Гретхен воцарилась передо мной в три четверти. Я попросила смотреть ее вон в тот «пойнт», в определенную точку.

Профессиональные художники очень кропотливо относятся к портретам: иногда требуют по десять сеансов.

Уличные мазилы делают такие портреты по заведенному канону: кружок для лица, носик, глазки. Размер всегда одинаковый. Прическу пошикарнее. Глазки побольше, носик покороче. Клиент это уважает. (Рецепт Ильи Глазунова, у которого глаза на портретах фирменные, почти как в яичнице-глазунье: в пол сковороды.)

Уличные рисуют долго, где-то минут двадцать. Если к ним нет очереди, увлекаются и могут растянуть удовольствие на полчаса.

Мне надо обычно минут пять-десять.

Получилось довольно похоже. Единственно что — я улыбалась ей, и она вдруг начала тоже улыбаться.

Возможно, что люди несут нам навстречу как бы отражение нашего лица. Мы приветливы — и к нам приветливы, и наоборот.

Я увидела, что она еще молода, но затуркана, озабочена. Что у нее синие глаза, маленький нос и хорошая улыбка. Что она до мельчайшей мелочи честна, ответственна и работяща.

Когда я потом попала в реанимацию, она каждый день навещала меня.

Портрет, как ни странно, оказал свое действие — я получила студию, ура! Как раз студию Нины. Гретхен мне поверила.

Как же я была счастлива! Я пропадала там все вечера до ночи. Я чуть не плакала. Восторг меня охватывал, когда я входила в этот прохладный зал.

Я принесла туда все, что нашла в лесах — красивые камни, в том числе увесистый кремневый булыжничек, из которого неандерталец уже успел выточить треугольный наконечник стрелы (там была острая выемка со сколами вокруг). А также я украсила мастерскую осколками старых цветных тарелок, старыми, очень смешными гэдээровскими флакончиками явно сороковых годов, из-под одеколона и из-под лекарств, и огромными, скрученными, сухими сосновыми ветками.

У меня был с собой диктофон с кассетой «Танго Оскара Строка». Я все время слушала эти старые танго.

Как-то все срифмовалось. Я стала пытаться делать монотипии с танцующими парами.

Монотипии у меня не получались. Я никак не могла сделать краску с постным маслом. Отпечатки были нерезкие, вообще ничего не выходило.

При этом монотипии надо делать или на кафеле, или на стекле. У меня был кусок пластика, на котором я обычно писала акварели, но он быстро испортился из-за постного масла, закорявел.

Попутно я навестила следующего художника, Роберто или Мигеле, кубинца. Это был бритый налысо до блеска, высокий сорокалетний мулат, довольно неприветливый.

Однако он показал мне свои работы охотно, как каждый творец.

Он прославился в Германии тем, что, вывезя с родины огромное количество металлических тюбиков из-под зубной пасты, он сделал из них железный занавес! Как делают занавесы из деревянных бус. А другие тюбики он приспособил как безголовые человеческие фигурки, к которым из обрезков еще одних тюбиков были приставлены большие пенисы. Безголовые куколки с пенисами стояли в деревянных рамках.

На Кубе полагается в месяц два тюбика зубной пасты на человека (не знаю, играет ли роль количество зубов у человека и дают ли пасту старикам и младенцам, как у нас давали на них талоны на водку).

Использовав пасту, каждый имеет право сдать тюбик и получить за него деньги (или он обязан сдать тюбик, и тогда получит следующий? Всяко может быть). Но как Мигелю (Хуану) удалось вывезти за рубеж такое количество металла?

За подобные занавесы и изображения, я думаю, в нашей стране бы в прежнее время по голове бы не погладили — сочтя это намеком с неконтролируемым подтекстом.

Здесь мне учиться было нечему.

И огромное полотно с автором и его женой (я его описала в начале, ссора художника с женой художника) мне очень живо напомнило картины советского живописца Гелия Коржева, который делал на гигантском холсте крупно, допустим, слепого ветерана-аккордеониста (иностранного) с мордой метр на метр! Просто фильм ужасов. Но идеологически это было выдержано, нищий зарубежный ветеран! Все потерявший, не нужный своей родной стране! Жуть просто. Коржев был секретарем Союза художников.

После этого последовала серия визитов совершенно бесполезных. Женщина Ханна демонстрировала сеть из

пластиковых черных трубочек, наполненных горячей водой. Сетка была 3 метра на 3 метра, она свисала со стены, при ней работал компрессор, гоняющий горячую воду чух-чух-чух. Это символизировало, как сказала Ханна, теплоту человеческих отношений.

То есть теперь я, разумеется, отлынивала с еще большей силой, как каждый бы отлынивал от тяжелой работы, имея под боком развлечение. Тем более что у меня была студия! Какое счастье, рисовать на просторе.

Следующим номером моей исследовательской программы была фотограф Рамона, рыженькая тихая девушка. Она как раз умела говорить по-французски и многое мне объяснила насчет своих произведений. В мастерской у нее висела огромная длинная фотография (3 м) гэдээровского стола для заседаний с неравномерно отодвинутыми стульями. Как бы заседающие резко ушли. Покинутый стол «Тайной вечери» по-социалистически. Дешевая канцелярская мебель, обклеенная пластиком под дерево. Сиденья дерматиновые. У нас такие диковинки в ходу в любом ЖЭКе, а там такое уже раритет. Рамона собирает эту мебель по помойкам как коллекционер и выставляет ее не хуже чем наш Илья Кабаков выставляет советские коммуналки.

Была еще одна девушка, весьма уважаемая среди художников — поскольку она являлась еще и куратором и от нее многое зависело — девушка Карина, и она собрала хорошую коллекцию засушенных насекомых. Это, кстати, было нетрудно. Они по ночам летели на свет в туалеты при студиях (в постоянно открытые фрамуги) и утром уже бывали готовы, разложены по полу в сухом состоянии до прихода уборщиц. Кроме того, у Карины, как у белки, оказалось запасено много семян одуванчика и разных других сухих зерен, веток и т. д. В распоряжении Карины имелся такой стенд с ячейками. В каждую ячейку она выкладывала экземпляры своей коллекции. В будущем все это должно было быть накрыто рисовой бумагой и подсвечено.

Сквозь бумагу тени реальных природных структур светились бы очень живо и красиво. Но смотреть это можно только один раз, как читать некоторые дюдики. А я уже видела подобное дело в Париже (см. выше). Второй раз уже душа скучает, увы.

Далее я познакомилась с девушкой Гайде. Она год назад построила у себя в Лейпциге из реек и толстой бумаги коня 3 м высотой и 3 м длиной. Он был разборный. Гайде его привезла в Петербург и собрала в квартире знакомых. Он стоял хвостом в коридор, целиком не умещаясь. Люди терпели его месяц, ходили спать пригнувшись. Потом Гайде поселила его еще у одних питерских приятелей. И всюду снимала видео о жизни людей с

этим троянским конем. После чего конь поехал по железной дороге стоять в Иркутск, а оттуда на поезде прямиком в Монголию. Там, в далекой степи, его собрали и так и оставили стоять.

Дождей в Срединной Монголии не бывает, только ветер. Бумажный конь некоторое время, я думаю, держался.

Ветры его и отпели, как это происходит с каждым, оставленным без присмотра в степях.

Гайде подарила мне один снимок своего коня в той пустынной местности — после того как я нарисовала ее портрет.

В Виперсдорфе она из газет и клея (папье-маше) мастерила огромные шаровидные камни гранитного облика, и только когда человек трогал такой валун, выяснялось, что он почти невесомый.

Самый невероятный концептуальный проект был у финской бабушки, красавицы Сикки (ее портрет в неизменном парике с прической «фокстрот» она у меня отобрала и увезла, но копия осталась). Она сделала фильм о себе, как ее в течение года лечили в клинике от страшного сколиоза. Ее снимали и в моменты, когда ей было очень больно, происходила почти что пытка — ей надевали на голову обруч и скручивали винтами. Лицо ее обмякало, губы расползались, как во время инсульта. Щеки блестели от потоков слез. Врачи ее снимали и голой в одном корсете, и когда она каталась на кресле, подвешенная головой к его спинке — там имелась Т-образная склоненная конструкция, державшая ее голову в обруче прямо.

После выздоровления она устроила в Хельсинки большую выставку с демонстрацией фильма о своих муках и лекциями. Успех был огромный, как она призналась. Потом она выпустила роман об этом. И тоже имела грандиозный успех.

Лекцию такого же содержания об истории болезни она прочла и нам.

Я тихо работала над серией «Танго», экспериментировала. Мне позарез нужно было стекло. Ездила в Ютербог (для запоминания я его называла Компьютербог). Оказалось, что стекол в Германии не продают, не доверяя этот опасный материал простым людям. А в случае раскола они вызывают мастера (явный заговор монопольщиков-стекольщиков). Но местный завхоз герр Шульц выдал мне зеркало. Я заливала его и пол красками, делала многоразовые монотипии, пока оно в результате не раскололось. Пришлось продолжать на двух обломках.

Однажды ко мне на велосипеде приехала наша Мерил Стрип. Сделав круг по моей обширной студии, она увидела монотипии (они шли у меня под названием «Карнавал»).

— Зачем так ярко? — спросила она. — Не надо.

Действительно, зачем.

Спросом пользуются только дискретные, не действующие на нервы вещи. Никакие, спокойные. Которые, повторяю в какой раз, можно повесить над диваном.

Я собрала все эти работы и сунула их на нижнюю полку. Начала сначала. Работала ночами. Звучало танго моего детства. Танго голода и надежд.

Как передать это ощущение «ничего», все ушло, пустота, была война. Осталась только любовь. Только одна пара, обнявшаяся над бездной. В бездне.

Пустоту-то не изобразишь белым, нет.

Предчувствие не передашь черным.

Любовь не выразишь яркими пятнами. Это совершенно другое.

Но можно пробовать, пытаться. И вдруг что-то получится.

Я повесила объявление о своей выставке с датой. Отступать было нельзя.

В ночь на предпоследний день что-то начало получаться.

Удалось сделать пять работ.

Работа сама шла в руки, стояла глухая ночь. Музыка танго тихо звучала из магнитофона. Кругом на десятки километров простиралась тишина, только иногда в лесах лаяли лисы, а деревенские собаки откликались.

На обратном пути на ночной тропе, возвращаясь из студии, в свете фонаря я опять увидела метнувшуюся лису.

Тишина была именно что оглушительная (недаром так говорят!). В ушах стоял какой-то постоянный шум. Можно было

оглохнуть. Я догадалась, что это шум текущей по сосудам крови, довольно назойливый.

Люди, возможно, часто страдают от тишины, включают музыку, например. Одна официантка в столовой (дело происходило на кинофестивале в Анапе), когда замолк магнитофон и мы наконец вздохнули спокойно, возопила: «Шо, уже похороны?!» и врубила музыку погромче.

Что влияет на работу, думала я, идя домой в этом звуковом вакууме и дрожа неизвестно от чего, от переутомления, может быть. Что приносит удачу? Есть мнение, что цвет у импрессионистов порожден был влиянием абсента (смесь алкоголя с наркотиками). И многие художники пытались повторить этот опыт, ставили его на себе. Без результата. ТО повторить не удалось.

Днем ко мне в студию пришел мой новый ученик, поляк из Берлина, писатель и режиссер Войтек. Это был мой первый собеседник здесь, первый язык общения, польский. Я, напрактиковавшись в «пиджин инглиш», иногда читала лекции по драматургии ему и его подруге, молодому писателю Клаудии, а перед самой-выставкой сказала своему новоявленному студенту:

— Пан Войтек, як ще пан мышли (как вы думаете), а зачем нужны ученики? По цо?

— Но по цо? — переспросил он.

— А по то, жебы помогать профессору.

Он поставлен был вырезать паспарту.

При этом глазки Войтека уперлись в ту полку, где лежали забракованные предыдущие листы с карнавалом.

— Цо то? — спросил он.

— Да это плохое. За яскравэ (слишком ярко).

— Пшепрашам пани, а цо пани з тым зроби? (Что вы с этим будете делать?)

— Но не вем на ражьже (пока не знаю). Чи пану сподобао ще? (Вам понравилось?)

— Но так. (Ну да.)

Когда он закончил свою работу и ушел, я вытащила листы с карнавалом, призадумалась, вооружилась ножом и линейкой и вырезала наиболее удачные фрагменты. Почему это я считала, что они слишком яркие? А, это влияние нашей Мерил Стрип. Молодец простой зритель Войтек.

На следующий день мы повесили выставку, т. е. Войтек прикладывал к стене работу, а я смотрела издали, оценивая ее местоположение. Прикреплялись работы двусторонним скотчем.

На открытие пришли все, был накрыт стол, и по моей просьбе (я поговорила с Мигелем-Хуаном заранее) было исполнено танго. Он танцевал его со своей семилетней дочерью, и впечатление было, что девочка Пикассо спрыгнула с шара и танцует с цирковым гимнастом…

Утром меня сволокли в реанимацию с сердечным приступом.

Когда я оттуда вернулась, все мне искренне радовались, выяснилось, что у меня много друзей, Виперсдорф улыбался.

За мной приехал мой сын Кирилл.

Когда я уезжала, на дорогу выбежали Войтек и Клаудия.

Я вышла из машины.

Мы обнялись.

Слово «никогда» не было произнесено.

* * *

полюшко-поле
немецкое поле
бескрайние просторы
чистые хлеба
тут бы и запеть душе
картина Рожкина
«Шишь»

(Легенда Третьяковки
оговорка усталого экскурсовода)

но
о лес лес
немецкий лес

ни куста!

посажено с умом
не ряд в ряд
а синкопой
не шеренгами
как у нас под Меленками
а как-то вразброд
видимо все-таки
для будущей красоты

но куда они подевали
к примеру, цветы!

все аккуратно
земля покрыта
травкой невысокой
типа ковыль малорослый

а насчет цветов

я прошла и проехала
на велике
да километров десять

цветов несть!

а уж что говорить
о землянике-чернике!

да!
но обнаружились
подпольщики
кустики малины

правда какие-то низенькие
типа полярной березки

малина стелющаяся
чтобы не увидали
Малина Хитрая

быстро покрылась цветами
по команде раз-два расцветай!

вернее, по команде
айн-цвай

но как лесоводы этого добились?
что ли почву снимали
когда сажали

Кирюша говорит
в бывшей ФРГ
в лесах
земляники-черники-малины
грибов-орехов
в лесах немерено

только это у них
не естся
не приемлют
дикого лесного

и все уходит в круговорот

как музыкальная школа
номер семь
оттуда выходят

талантливые дети
поступают в консерваторию
заканчивают
и устраиваются
в седьмую школу педагогами
обратно

да
тут в лесах что-то неладно
мой инстинкт
древней собирательницы
был не утолен

все же я нашла
где-то на заросшей
горе компоста
немного маков
на рисование

а в пшенице
три поселения
васильков-бедняков

т. е. три корня

робко себя здесь чувствует
дикая природа

да и сами немцы
редко голос повышают
застенчивые тихие
в знак приветствия не орут
а слегка помахивают руками

но зато у них
победоносная война

блицкриг
с васильками

* * *

в пустых древесно-стружечных лесах
где деловая зреет древесина
березина соснятина дубнина
возник вопрос:
а где же старый лес?
во ист дер альте вальд?

нигде.
тогда вопрос:
быть может, здесь бои происходили
тут три часа на танке до Берлина
хорошие дороги
гуте райзе
леса сгорели?
вон еще воронки
не затянулись
за шесть десятков лет

ответ шофера:
найн.

потом узнала
испокон веков
здесь ростят не леса
а пиломатериалы
и каждый раз
когда сосну откормят
ей пояс вешают
хороший знак

что дело сделано
и приговор
вступает в силу

в пустых древесно-стружечных лесах
где деловая зреет древесина
березина соснятина дубнина

там смертники зияют в поясах

* * *

утром в больнице
две санитарки
меня согнавши на стул
убирают перестилают
кровать

а все эти дни
уже месяц
стоит страшная жара
засуха

и я слышу
на улице
что-то шелестит

я вспоминаю слово «солнце»
и спрашиваю остроумно

— Зоне нихьт?
(т. е. солнца нет?)
поскольку не знаю слова «дождь».

они поняли слово «зоне»
и что-то «кльбль»
ответили

при этом одна
щепоткой
как будто
суп посолила

а
это капает дождь

я спрашиваю дальше по-немецки
— Температура?
отвечают:
— Цванцих!
(ура, двадцать градусов).

я продолжаю беседу:
— Температура таге?
(т. е. температура день?)

отвечают:
— Зибен унд цванцихь

т. е. двадцать семь

я:
— Гут! Наин зибенд унд драйцих!
(т. е. хорошо не тридцать семь)

смеются

тут
в больнице
я заговорила по-немецки

Свободная женщина

1

по центральной площади
города Ютербога
(Восточная Германия)
шла женщина
в трусах и в майке
в полном своем праве
жить как живется
выглядеть как придется

никаких ухищрений
гэдээровская спортсменка
носки тапки
в походке
следы инсульта

слегка приплясывает
на левую ногу
сама от себя отстает

однако хоть и с оттяжкой
но нацелена вперед
как некая катапульта

через плечо перекинута
тряпичная сумка
пустая

известного фасона
у наших алкашей с присказкой
одна бутылка не звенит
две звенят не так
значит умещается три

холщовая сума простая

с такой только побираться
но экологически чистый
продукт

лифчика женщина не носит
а зачем
она в своем праве

а размер груди
до пояса

идет
как корабль под парусами
но ветра нету
паруса обвисли
так
переходим к основной мысли
основное
что она все забросила
и не бреется

усы бородка как
у Троцкого
идет
местная хиппи

что есть то и имеется
нате глядите
все без притворства
чисто

а всего-то

видимо болела
тяжелой болезнью

гормональное лечение

а самосознание
допустим
как у антиглобалиста

верность своей природе

гордость
умрем а не допустим
лжи и притворства

честность прежде всего
идет и гордится
при всем народе

а народ привык
никто не удивляется
что имеем то и годится

2

есть, есть у некоторых
стремление
быть себя хуже
изрезать рожу
вколоть булавки сережки
в язык в бровь в пупок
и даже ниже

побриться налысо
изукрасить всю кожу
леваки
бригате роте
красная бригада

но не по части терактов
пожиже

однако попробуйте вот так
безо всякого маскарада
грудь усы борода
трусы носки тапки

она шла так
я шла в шляпке

соблюдая приличия
как дама из Амстердама
у меня тоже свои принципы
я с утра не евши

мы расстались
она скрылась в местном банке
а я пошла на автобус

она исчезла навеки
простоволосая лысоватая
какой-то ковыль облетевший
на головушке

сама в трусах
не скрывая
свои
неравноценные голые ноги

погодите-погодите
все мы человеки
сами дойдете
тогда поймете

душу свободную
вольную
в конце дороги

Как это делается

Это делается так: человек идет по Неглинке (Москва) из издательства со своей новой книжкой, настроение хорошее, и тут человек видит галерею, которая называется «Шишкин». Надо туда зайти неожиданно для себя, поскольку знакомые тебе уже говорили об этой галерее.

И тут же тебе предложат золоченое кресло, чашечку кофе и печенье.

Твое дело такое (объясняешь), что хочется устроить здесь выставку одной знакомой художницы. Попутно идет разговор, а у тебя в руке твоя же новая книга с собственной акварелькой на обложке. Новая книга востребована, и немедленно поступает (от Кати и Лени Шишкиных) предложение сначала устроить выставку таких акварелей, как на обложке. Так. Через два месяца выставка открыта.

Повторяю: все происходит как в каком-нибудь отечественном сериале типа «Покровские ворота», где в кустиках на бульваре оказывается рояль, а музыкально необразованный случайный прохожий сразу играет на нем буги-вуги, это все просто, и окружающие немедленно (и профессионально) танцуют!

Да, на открытии выставки играл привезенный клавесин…

Дальше в этой истории начинается дружба, еще одна выставка в г. Екатеринбурге (г. Катер), всякие визиты, чаи, дни рождения и т. д.

И однажды вечерком я захожу в милый сердцу подвальчик Шишкиных, а там сидят, усталые и довольные после аукциона, сотрудники, и в их числе Виктор Буравкин и Настя Шишкина, имеется также гость по фамилии Аляев. Угощение на столе. И тут Виктор мне заявляет, что они с Настей еще и музыканты, у них такая группа «Инквизиторум». А Аляев издатель дисков, работает в фирме «Союз». На что я отвечаю, что всегда мечтала петь в ресторане. Аляев, прекрасно настроенный, говорит, что за чем же дело стало, и тут же предлагает записать мне диск. Общий смех. Но ведь это и было начало!

Потом у Леонида Степановича Шишкина был день рождения, там собрались музыканты, актеры, издатели, и все пели. Ну и я спела французскую «Опавшие листья». Присутствовавший Буравкин тут же, видимо, включил меня в свои планы, и поступило предложение спеть для диска песню «Лили Марлен» на любом языке. Я выбрала французский и русский. Мне тут же прислали текст из интернета на французском языке, я его перевалила на русский, и уже летом мы записали с группой

«Инквизиторум» песенку «Лили Марлен».

Это был их какой-то международный проект с участием группы «Lily Tiger». И тут они мне дали послушать свою музыку, а я принесла несколько текстов. Решено было объединить усилия. Начали записываться на квартире у потомка композитора Александрова (не того, который написал гимн), Бори Акимова, музыкального руководителя группы «Инквизиторум» по части компьютера. Одновременно он работает в журнале «Роллинг Стоунз».

Сначала, правда, была чистая импровизация, я распевала какие-то вокализы и даже издала некоторый длительный писк неожиданно для себя.

— Зашкалило, — довольно откликнулся от компьютера Боря Акимов. — Никто не поверит, все скажут, что это семплер.

— Жалко, что зашкалило, — сказала я. — Больше у меня так не получится.

— Ничего, — откликнулся Виктор, — все сделаем как надо.

Так и родился наш инструментально-вокальный номер «Анна Каренина обгоняет паровоз».

В тот же день я раз пять записала рэп «Май бой», и Боря с Виктором, по-моему, решили оставить все пять вариантов, наложили их друг на друга. Вообще большие мастера оказались! Все терпели, все принимали. Талантливая группа поддержки. Мы записали еще стихотворение «Мы едем». Они одобряли поголовно каждое мое предложение. А это очень важно для начинающего исполнителя. Запомните, педагоги!

Мне так понравилось с ними работать, что еще через недели две я заставила их выслушать мой другой текст, «Натурфилософию», и мы с Буравкиным ее прочли перед микрофоном три раза, уже на новой квартире Бори Акимова и опять под его руководством. И был большой пир по этому поводу.

Но уже следующее мое предложение, поэму «Села птица на забор», они обещали принять только в наступившем году… Хорошенького понемножку.

Итак, что нужно для того, чтобы сделать диск?

Это: Москва, сумма дилетантов в жаркое лето, при открытом окне стоит микрофон — и все дела.

ТЕКСТЫ ИЗ АЛЬБОМА

группы «Инквизиторум»
«Середина Большого Юлиуса»

My boy (рэп)

мой бой проживает на Охотном ряду
я к нему в гости как обычно иду

большая квартира как Колонный зал
всюду люди хотя он никого не звал

мой бой он крутой и он известный чувак
и у него на флэте нереальный сходняк

мой бой одну книгу такую написал
в которой говорится как нажить капитал

ему компании обрыдли ясный пень
но с ним тусуют люди все кому не лень

он принимает фиников хохлов и мордву
всех кто приезжает в этот город Москву

мой бой с бородой но он не может понять,
что эту квартиру пора ему менять

а я ему сказала погляди мой бой
ты выглядишь кошмарно что мой бой с тобой

опять полно народу ты стоишь как пень
приходят и уходят все кому не лень

мой бой инвалид глухой немой и без ног
и он бы им сказал словечко если бы мог

я устал реально мне остофигел народ
пусть меня кто-нибудь из вас отсюда возьмет

тут такие дела у него много птиц
и их беспредел вообще не знает границ

сидят на голове на носу им все равно
мой бой как чума весь в белом гуано

мой бой говорю посмотри вокруг
ты не понимаешь кто твой враг а кто друг

я говорю не можешь ты квартиру сменять
ты же иностранец ты же можешь слинять

ты только свистни тебе скажут «комен зи хир»
и ты уедешь хоть куда хоть в город Трир

но он молчит упрямо мой бедняга бой
как черепаха в пятнах с белой бородой

он не седой мой бой это дела голубей
и чем ему помочь не знаю хоть убей

но он стоит упрямо прямо мой бедняга бой
и с ним собака чья-то с задранной ногой

мой бой проживает на Охотном ряду
я к нему в гости все никак не дойду

мне жаль его немерено хоть я не из плакс
мой бой с бородой мой бедный Карл Маркс

Лили Марлен

(Вольный перевод с французского)

вечер наступает
огоньки горят
тихо ожидает
молодой солдат
шепчет он имя как во сне
Лили Марлен
приди ко мне
ко мне Лили Марлен
приди Лили Марлен

нежная как роза
девушка моя
ничего не бойся
видишь это я
друг мой сегодня
часовой
он не увидит нас с тобой

с тобой Лили Марлен
с тобой Лили Марлен

нету у солдата
кроме нежных слов
ничего в запасе
лишь одна любовь
помнишь как ты
была моя
Лили Марлен
любимая
люби Лили Марлен
моя Лили Марлен

будут как и прежде
фонари сиять
в страхе и надежде
буду я стоять
но почему тебя здесь нет
простой вопрос
простой ответ
простой Лили Марлен
ответ Лили Марлен

тот кто больше любит
тот и станет ждать
как солдат он будет
до конца стоять
пусть не вернешься ты Марлен
я не покину этот плен
твой плен Лили Марлен
твой плен Лили Марлен

может быть назавтра
будет дан приказ
ты придешь к казармам
и не застанешь нас
но пусть убьют меня в бою
ты приходи я здесь стою
и жду Лили Марлен
я жду Лили Марлен

Светит солнце над землей
Ни о чем не помышляя
А земля летит стрелой
Как ушастая борзая

Кто их бегать запустил
К тяготению принудил
Где начало этих сил
Мы рассматривать не будем

Если спросишь идиот
Где лежит начало мира
И до этого что было
Тут тебе и край придет

Много этаких больных
Что задумались и скисли
Нет не думай будешь псих
Отвлекись от этих мыслей

Светит небо синевой
А на нем как на канате
Солнце виснет над землей
А она под солнцем катит

И у нас гляди внутри
Кружат солнца и планеты
От зари и до зари
От заката до рассвета

В наших атомах снуют
Электроны позитроны
Всюду радость и уют
Все красиво и просторно

А ведь трезво посмотреть
Мы довольно странноваты
Ходим не включаясь в сеть
Как заводы-автоматы

Бродит этакий завод
И работает как гений
Сердце почки и живот
Без особых отклонений

Без манометра у нас
Агрегаты ходят верно
Держат тепловой баланс
Тридцать шесть и шесть примерно

Кинем топливо в живот
И пошли цеха трудиться
Сверху чай товарищ пьет
А внизу течет водица

Но хоть явно торжество
Всех обменов углеводов
Что-то все же не того
У описанных заводов

Вот таскается завод
Среди всех других заводов
То кого-нибудь прибьет
И наделает уродов

То полюбит как дурак
И тоскует пар пуская
То возьмет и с крыши бряк
Знать судьба его такая

Тот страдает от любви
Тот от голода и боли
Этот вымазан в крови
И сидит себе в неволе

Те собрались и поют
Словно ангелы на небе
Эти синие и пьют
Не нуждаясь даже в хлебе

Мы не знаем как нам жить
Где найти чтоб нас пригрели
Как бы голову склонить
И заснуть в своей постели

И кого бы полюбить
Чтобы заложенный от века
На земле еще продлить

Род простого человека

Анна Каренина обгоняет паровоз

Анна Каренина
Обгоняет паровоз

Паровоз
Пых
Тит

Анна Ка
Обгоняет па

Лев
Неправ

Скрипка Энгра [2]

День — это решающий фактор в искусстве.

Говорят же, что ты от ремесла на шаг, а оно от тебя на десять.

Так вот, шаг — это день.

Ежедневно, ежечасно, систематически, до тьмы в глазах, до изнурения работать. Марсель Пруст, Ван Гог, Сезанн, Бетховен. Ни на день не отступая шагать вперед. Только так создается мастерство.

Все, что сделано не в собственном ремесле и урывками, — дилетантство.

Повторяем, фактор дня велик.

Вот вам пример: один взрослый уже человек начал все свободное время рисовать, а потом вообще бросил работу, свою жизнь посвятил бешеному малеванию, но у него работ не покупал никто, не находилось идиотов, и денег не было вообще. Кое-что посылали родные, в основном брат, и наш горе-художник этим терзался и все доказывал в письмах с цифрами в руках, что не тратит напрасно ни копейки. А как он мечтал о дружбе с настоящими художниками, как преклонялся перед ними! Но все его сторонились, все. И собственный брат в том числе. Считали нашего героя ненормальным. А затем он попал в психушку — да и покончил с собой.

Все свое время он потратил на живопись.

Он был любителем, дилетантом. Он нигде не учился. Но он верил в себя и закон дня соблюдал: только работать.

Ни дня без кисти. День за днем он расходовал жизнь ради живописи, неуклонно, страстно, безудержно.

Это был гений, самоучка Ван Гог.

Фактор времени сработал.

А вот другой пример — профессионалы. Всего добились, образование получили. Но не в той области, куда тянет.

Дразнит, ноет, звучит своей нетронутой нотой побочная скрипка, звенят дилетантские кисточки в стакане, зияет белизной полотно, требуя краски. Самодеятельные стихи скребутся в тетрадке.

Кома Иванов, академик, семиотик, выпустил книгу поэзии.

Философ, индолог Пятигорский стал писать роскошную прозу.

Гюнтер Грасс — обратный случай. Будучи по образованию художником, он вырос в выдающегося писателя, лауреата премии Нобеля.

И раньше та же была картина: человек кисти брался за перо (письма Ван Гога, книги Петрова-Водкина, Бенуа), пианист торопился к художнику на урок пастели (Рихтер к Фальку), Эйнштейн с Энгром хватались за скрипочку. Писатель Генри Миллер корябал свои узоры, заливая их радужной акварелью. Поэт или рок-идол рисовали в письмах замысловатые картинки (Бродский и Джон Леннон).

Правда, инженерные и изобретательские предвидения Леонардо да Винчи воплотились без него, химик Бородин (а на самом деле композитор) мало кому теперь известен, а фантастические танцы поэта-дервиша Андрея Белого ни одного хореографа не заинтересовали.

А теперь примем как постулат: шедевров у художников-любителей, у самоучек, мы не найдем (великие типа Ван Гога и Пиросмани не в счет).

И сами дилетанты это понимают.

(Почему, кстати, гении-дети перестают рисовать в семь лет? Потому что рядом другое дитя пропищит: «Непохоже». И они начинают стесняться себя.)

И вот тут выступает на свет божий та когорта людей, которая, хоть и стесняясь своей необученности, все-таки присутствует в искусстве: непрофессионалы, стоящие вне круга мастеров.

Допустим, что они мастера в своем деле, в другой профессии.

И им не привелось брать уроки рисования или учиться в консерватории. Они не имеют ничего в своей бедной душе, ни знаний, ни самых простых приемов. Не так берут кисть, карандаш или смычок, не так подходят к глине или полотну, не то получается. Иной арсенал! Не знают как скомпоновать и что такое корпусное письмо и лессировка. Что гармония, а что ассонанс. Где берется отглагольная рифма, когда наступает аллитерация и что такое икт.

С учетом этих особенностей художник Энгр и физик Эйнштейн по-своему играли на скрипке, композитор Скрябин по-другому, нежели Хлебников, сочинял свои длинные поэмы, планируя провести в Гималаях общемировые хороводы под свою музыку (вместо этого произошла Первая мировая война). И почти самоучка живописец Зверев иначе выписывал пальцем на картонах, нежели академик Лактионов. И бомж Пиросмани не знал, что на клеенке никто в мире не рисует.

Опоздавшие видят мир не так.

И вот тут они иногда и сходятся, эти два луча — самоучество и вершина мастерства, незнание и отказ от школы. Поздний Ларионов и ребенок шести лет могут совпасть!

Ничему не учили Фриду Калло, а также натурщицу Пикассо, Кислинга, Ман Рея и всех остальных, безбашенную шлюху с Монмартра, знаменитую Кики Фу. Однако работы этих прекрасных дам теперь висят в постоянных экспозициях!

Это о тех, кто уже музейное достояние.

А теперь и новых принесли в музей — те работы, которые зритель увидит на данной выставке.

P.S. Дополнительно надо сказать вот что: художникам-любителям даром не нужен авангард.

Профессиональный скульптор способен приколошматить ботинок с коньком к деревянному протезу ноги и раскрасить все это кладбищенской серебрянкой. И поместить на постамент и назвать, допустим, «Зимний взят № 9».

Что и приводит к записи в книге отзывов, которая от лица зрителя звучит почти как печальное пушкинское «и я бы мог».

Нет, дилетанту такое не нужно.

Он именно что должен создать то, что простой человек с улицы сделать не сможет никак.

Самодеятельность старается выступить в рамках профессионализма, учитывая музейные стандарты, чтобы вышло похоже на натуру.

Другое дело, что получается из этого: кураторы твердят, что давно уже так никто не работает. Это смешно в XXI веке, уметь рисовать! Какие-то советские времена! И вообще стыдно известным людям выставляться с живописью — они и так уже имеют имена.

Художники-писатели, режиссеры, танцовщики и художники-музыканты и т. д. с этим вполне согласны.

Но они не могли не рисовать (те, кого уже нет) и продолжают не мочь не рисовать (те, кто еще есть).

И не сами они выдумывают выставки имен. Так заведено и с живописцами-профессионалами.

Это ведь огромный и вечный вопрос — знаменитый автор побеждает или его произведение. Соперничество свирепое. То есть что важнее для публики, подпись или работа. Покупателю и музею, разумеется, важнее первое. Но каждый автор должен стараться победить свое имя: всякий раз, всякий раз.

И потом, кто знает — если бы эта самодеятельность не отходила от мольбертов, то что бы в результате получилось.

Но времени не было, все заняла своя работа… От которой уж

точно ни на шаг не отойдешь.

Прелюдия к одному рассказу

Как заметил некто, мужской читатель женского сборника: до чего же они нас ненавидят! И потом умно добавил: потому что мы им нужны.

Не с руки мне подходить к этой все-таки тендерной точке зрения с позиции чисто литературной, но придется: явилась тема мужской вины в этом высказывании, которое тоже является жанром, и явилась тема той же вины в мужском любовном романе, пьесе или новелле.

То есть наметилась некая разница в мужской и женской позиции в литературе, посвященной теме любви.

Итак. Брошенная или незамеченная, упущенная Мисюсь, соблазненная и покинутая, униженная, оскорбленная, где ты? Не тут. Там. Легкая тень, не требующая ничего, к концу принявшая яд или простую смерть от горя, — примеров множество. Упавшая в полном сознании под поезд, с обрыва в Волгу, в пруд, в омут, ставшая забытой тенью (иногда опасной русалочкой), она вызывает в авторе-писателе слезу сочувствия, вздох сожаления, даже легкий приступ отравления в случае применения автором мышьяка. Флобер даже скажет «я мадам Бовари».

С отрадой писатель-убийца роняет слезу, омывающую его душу.

А что наш убийца думает о том, кто виноват? О Вронском, об остальных? Ерасте? (Даже их и не вспомнишь, они не так выразительны, неизвестно почему).

Он думает о них мало, как и о себе в похожих своих жизненных случаях. Ну кто виноват. Ну что поделать. Ну кому на Руси-то жить хорошо. Жизнь и судьба! Ну померла. Еще одну закопали, как выразился с горькой насмешкой над собой вечером в ресторане один писатель-юморист, мой знакомый, у которого отравилась девушка. Это уже был второй случай. Роковой мужчина оказался. Перед тем его другая девушка бросилась с седьмого этажа. Потом, кстати, он эмигрировал в Германию с женой-еврейкой. Еврейка тоже умерла. И главная его жалоба была: «В Германии пять миллионов алкоголиков, а выпить не с кем!» Но это так, сюжет для одного абзаца.

Однако подумаем о тех, кто остался жив.

Те брошенные, уничтоженные, часто с младенцем на руках, и часто с мертвым младенцем? Нина Заречная?

Это уже, так сказать, наше дело, смотреть дальше, после того как свет зажгли и все пошли вон.

Кончается последний акт, тут и начинается пьеса.

Там, уже за гранью литературы, часто и за гранью реальности, протекает известное нам существование погибших душенек, Психей.

Тема литературы — глядеть, что же происходит там, в могиле.

Похороненные, отпетые (во всех смыслах), вспоминаемые с легкими угрызениями совести, как вы все там поживаете? Вы ведь знаете, что никакие мольбы, слезы, письма и звонки, никакие угрозы принять газ (цитата из собственного рассказа) и устраниться из «твоей жизни» не помогут, только еще больше напугают, еще дальше оттолкнут. О, как тяжело быть реальным воплощением чьей-то любви! Воплощению тяжела любовь! Не привыкай ко мне, молит он (опять явилась самоцитата).

Все бабы это прошли. Маленькие сопливки на круглосуточном дежурстве у телефона, взрослеющие девы, полные красоты и вопросов, зрелые женщины, тяготеющие к самоубийству, — все они оказывались погребенными под собственной рухнувшей любовью, под огромными колоннами, уже воздвигнутыми, чтобы поддерживать кров будущего дома — дома, полного детей, окруженного садом, где звучит музыка, растут розы, где вечерами собирается милая компания во главе с хозяином («Сказка сказок», часть под названием «белая вечность»). Дом, милый дом. Но внезапно хозяин смылся, дети одичали, кошка умерла… Сад выцвел.

Вот тут и должна начинаться женская проза.

Там, где автор-мужчина у камина с собакой во главе перебирает имена — Натали, Ида, Маруся, далее идут Роза-Рая… — там мы склоним знамена и смотрим внимательно, как она протекает дальше, жизнь брошенных, но оставшихся в живых.

Нина Заречная, нищая актерка на роли субреток, горничных, третьих дам на балу, сидит у свечки и, промахиваясь после выпитого, штопает мужской чулок. На койке храпит пьяный гример. Это его номер в гостинице.

Проститутка Дуня Вырина пришла домой, на чердак, мокрохвостая с дождя, и принесла под мышкой хлеб, покормить детей. В кошелке также бутылка ренского, для себя.

Сонька Мармеладова, брошенная Родионом, помирает от сифилиса под крылом все той же бабки Мармеладовой. Младшая сестра уже на улице.

Дальше, дальше. Растворяются жилые могилки, свет падает туда, где они, мертвые, обитают, они воздымают свои погасшие лица. Оставьте этих женщин. Они не ваши.

О «Николаице»

Мне пришлось столкнуться с проблемой, которая, видимо, затрагивает многих родителей, дети которых живут, к примеру, в буддийских монастырях города Дарамсала, в китайских общежитиях г. Ченьду или в кибуцах знаете где. А также в гостях у друзей-куроводов в г. Лагос в Нигерии, или в поселке гор. типа Йейл 15 км от всех у чужого компа, или в деревне Ушуая на Огненной Земле, или когда эти дети везут в купейном вагоне поезда Москва—Улан-Батор в ящиках багаж, разборного бумажного коня (3 м в холке, длиной в «уазик») из Лейпцига via Петербург в степь близ населенного пункта Лунэ (Срединная Монголия), где, сколотив и склеив, и оставляют его на воздухе, а затем фотографируют, т. к. это концептуальное искусство, везти такого коня пять суток и собирать и ставить его в степи, а потом и покидать там. Где на него будут любоваться орлы и настоящие кони, а также их всадники.

Во всех этих местах, к сожалению, в интернет-кафе нет русского алфавита. И приходится пользоваться чужой азбукой, чтобы спросить у ребенка, что он ел и как погода. А ребенок чтобы ответил, сейчас ему послать деньги или послезавтра.

Душа не лежала у меня писать латиницей. И я стала изобретать алфавит, которой впоследствии назвала «Николаица». Почему — скажу в дальнейшем.

Сначала дело пошло так, что мой адресат меня не понял. (Я просто ошиблась и общие для многих алфавитов буквы «а», «е» и «о» взяла из кириллицы.) Письмо выглядело приблизительно так: djrjgfjf mjjf dtvjtchkf! Gdt ght ty?

Моя дорогая djtchkf отвечала мне из индийской деревни Мак-Леод, что tuy, mam, tche-t pereputala, ja nie ponyala ni figa.

Затем дело пошло лучше, я постаралась использовать только латиницу, создала из нее кириллицу и написала для начала такую фразу:

BACHEMy BHuMAHul0 IIPEDJ1AГ`AETCA
HOBblu` AJl<l>ABuT.
A 6 B l` D E — 3 u K Jl M H O ll P C T y <l> X — 4

(Это был первый вариант, начальный.)

Самое большое затруднение, как видно, с самого начала возникло с буквой «Я».

Некоторые предложили эту букву писать наоборот, как «R».

CO ЗВуКОМ «R» (В ЗЕРКАЛЬНОМ BuDE) КАК НАМ 6blTb? НЕКОТОРЫЕ МАЛЕНЬКИЕ СЕНЬКИ, АНЬКИ и ТАНЬКИ IIullyT «BAHR» и «TAHR», ОДНАКО ВОО6РАЗиМ СЕ6Е

(Дальнейшие примеры из Пушкина.)
Итак:

MOu` DRDR САМЫХ 4ЕСТНЫХ IIPABuJl

О НЕТ!

MOu` DuADuA

НЕТ, НЕТ!

Mou` D'AD'A — KPACuBEE?
MOu` DJADJA?

И тогда я вспомнила, что имеется хороший и нигде не используемый знак &! И получилось так:

MOu` D&D& CAMblX 4ECTHblX nPABuJl

Однако что-то тут было не то.
Я долго размышляла над буквой «д».
И нашла!

MOu` q&q& CAMblX 4ECTHblX IIPABuJl

Ура.

Kol`qa НЕ В CHyTKY

Так. Надо искать букву «Ш».
Я знала уже, что какие-то граждане используют для этого невинную букву «w».

Т.е. Kol`qa Не В wyTKy

То есть шишка как «wuwKa»!
Wuw! (Это не «уау», а русское «шиш».)
Попробуем так: три буквы l подряд:

Kol`qa НЕ В lllyTKY ЗаНеМОl`
ОН уВА- -

А как изобразить букву «ж»?

Некоторые умы предлагают употреблять для этого букву «j».

Т.е. ОН yBAJATb CE6& ЗАСТАВuJl
yBAJEHuE? JEHA?

Читается все-таки с трудом это «увайение». Ничего не попишешь.

Пришлось найти такой значок, как #.

ОН yBA#ATb CE6& ЗАСТАВuJl —
u Jly4lllE BblqyMATb HE Mol`

Букву «л» пришлось для красоты составлять из J и l.

Я так подробно останавливаюсь на этом процессе, поскольку он у меня занял много времени. Привыкать к нему тоже надо постепенно (как к моим рассказам. Я их пишу хорошо если раз в месяц, а читатель читает всем скопом за ночь. Потом ругается. Паузы! Нужны паузы! 1 рассказ в день, рецепт).

Поехали дальше.

А что делать с буквами «ц» и «щ»?

Ну что. Добавляем запятую:

Oll,EHuTE, lll,EH&TA,
PE6ЕНКА, BAlllEl`O 6PATA
El'O CyTb BAM XOPOlllO ЗНАКОМА
y BAC O6lll,их 95 % l'ЕНОМА

(Кстати, Ольга Шамборант, биохимик, вообще утверждает, что и с клопом у человека то же самое, 95 % генома.)

КАК l`OBOPuTC&, OCO6b llPEqCTABJl&ET
CO6Ou` TO, 4TO ОНА ТРЕСКАЕТ

Остается что? Букву «э» мы соорудим из), можно из тире и скобки: —).

Букву «ы» — из l and b: bl.

КАК —)TO 6blJlO y llylllkuHA:
6pa3qbl nylllucmble B3pblBa&,
Jlemum ku6umka yqaJla&

(В интернете, кстати, я прочла описание детского рисунка по этому стишку: в небе летело какое-то кубическое НЛО и стреляло по бегущим пушистым «браздам», которых ребенок понял как помесь бобров с дроздами.)

Тут мы — незаметно и постепенно — подошли к тому алфавиту, которым я стала пользоваться позже, без употребления заглавных букв (оказалось много проще).

Остались заглавными только буквы:

В, l`, 4acmu4Ho Jl, ЗameM M u H

Да и то, с буквой l` (русское «г») вскоре удалось справиться: «г».

А3буka, cmaJlo 6blmb, BblkpucmaJlJlu3oBaJlacb maka&:

А 6 В r q e # 3 u u` k Jl M H o n p c m y <l> x u, (или ll,) 4 lll lll, ‘b bl b —) l0 &

Примеры:

СоЮЗ НеруllluMblu' рecny6Jluk cBo6oqHblx

qaJlee:

Korqa Не В lllутку ЗаНеМог

Затем:

rJl&#y, noqHuMaemc& MeqJleHHo В гору

И наконец:

ckoJlb3um u naqaem. BeceJlblu'

(Авторы: Михалков, Эль-Регистан, Пушкин, Некрасов.)

А теперь о языке SMS

Что касается вопроса о том, как использовать данную азбуку в sms-ках, то это еще одна тема, поскольку sms-писцы мобильной связи начинают приближаться к уровню древнерусских монахов (причем безграмотных): т. е. стараются использовать в основном согласные.

Примерная беседа по sms:

zzz, sasku4ls o4
(Целую, соскучился очень.)
zzz

(Целую, целую.)

kakt?

(Как ты?)

ok, a t?

(Все хорошо, а ты?)

lave est'?

(Деньги, т. е. лавэ, есть?)

a4o?

(А в чем дело?)

хоб s6as 3aedu k te na taxi byro, no o4 spe6u!

(Хочешь, сейчас заеду к тебе на такси быстро, но очень спешу!)

a ty de?

(А ты где?)

1OOim v prbke

(Стоим в пробке. Цифра 100 обозначает три буквы: «сто».)

de?

Ыli3ко, na 5nickoj, es4o 10 min max

(Близко, на Пятницкой, еще 10 минут максимум.)

R ne doma (я не дома).

a de?

R na goa

Na4em

R na goa

(Я на Гоа.)

Конец связи.

Букву «Ш», как вы видите, в данном случае обозначают шестеркой. Букву «щ» как s4.

Таким o6lom (таким образом), алфавит получается такой:

A b v g d e #

Букву «ж» (#) берем как четвертую позицию после двойного нажатия значка *, это щегольской вариант, но вообще стараемся избегать ее. Можно использовать zh.

Буква «ц» — z, в крайнем случае: c.

Далее:

A b v g d e zh (или #) 3 i k l m n o p r s t u f x z 4 6 s4 —) ju (или l0) R.

И везде где можно, вставлять 1 (в смысле «раз» или «один»), 2, 5, 100, 300 и т. д.

К примеру, переписка студентов на экзамене по западной литературе:

T 4tal 3OOn I i3oldu o 4em tam zz
Net es4o zz

(Ты читал «Тристана и Изольду»? О чем там? Целую, целую.
Нет еще. Целую, целую.)

Завершающие стихи

(На эсэмэсском языке)

takim oblom, u nas o5 polu4aeza a3buka
)to 6tuka trudnaR, delo nepro1OOe
как by samoe na4alo, ver6ina ajsberga
dal6e na4inal0za lnye glubiny i pro1OOry
i3 po2lov po lesnice 3nakov
5x6vie
na krубu k 3ve3dam,
vsem kto myslit ne1akovo
da I тем kto 1akovo
ska3ano 6ylo
az vozdam

Перевод:

таким образом, у нас опять получается азбука
это штука трудная, дело непростое
как бы самое начало, вершина айсберга
дальше начинаются разные глубины и просторы
из подвалов по лестнице знаков
путешествие
на крышу к звездам,
всем кто мыслит неодинаково
да и тем кто одинаково
сказано было
аз воздам

Остальное аналогично, как говорят студенты-математики.

P.S. В газете «Экслибрис» была опубликована статья о латинице в России, где упоминались работы лингвиста,

востоковеда, профессора Н.Ф.Яковлева, который в том числе в двадцатые годы XX века первым разрабатывал латиницу как вариант алфавита, в основном для не имеющих письменности народов Кавказа. Впоследствии он создал эти письменности на основе кириллицы (около семидесяти).

В честь моего дедушки Николая Феофановича Яковлева я бы хотела назвать свой вариант кириллицы-латиницы «Николаица» — т. е.

HuKoJlaull,a

BceM 4umameJl&M u nucameJl&M nuceM — nJlaMeHHblu' npuBem!

Маленькие истории из семейного альбома

Скорее всего, это 1912 год. Загородная прогулка. Мой прадед, Илья Сергеевич Вегер (в картузе, сзади), со своими детьми Верой, моей бабушкой Валентиной (в белой блузке), Женей и младшей Леночкой (в белом платье). Мой дед, студент Николай Феофанович Яковлев, позади. Дедя (И.С.) не любил, когда дочери выходили замуж. У обоих мужчин соответствующий событию вид.

1930 год. Моя мама, Валентина Николаевна Яковлева (Июля), и моя тетя, Вера Николаевна Яковлева (Вава). Это тот год, когда Люля увидела в трамвае Маяковского.

Ноябрь 1948 года. Дедя, Илья Сергеевич Вегер. Ему 83 года. Он уже ходил на Лубянку спрашивать, где дети. Последнее фото перед гибелью.

1948 год. Я вернулась из детского дома к маме. Счастье. Мне сшили кофточку со стеклянными пуговками! Мама причесала девочку, заплела ей косички и повела в фотографию. Но все равно нам жить негде.

1958 год. Во время практики в латышской газете «Советская молодежь». Дешевая пляжная фотография с Рижского взморья. Для такого случая использована губная помада, которая в нормальной жизни не употреблялась. Но всегда хранилась в сумочке!

1959 год. На практике в богатейшей Горьковской области. Повсюду паслись коровы, редкое для СССР зрелище. Практикантов послали в передовое хозяйство.

1979 год, 19 февраля. Спектакль «Читано» в Доме актера на Пушкинской. Исполнители, слева направо: Борис Дьяченко, Игорь Васильев (режиссер спектакля), Эмиль Левин. Автор в позе актрисы Ермоловой, потому что Игорь Васильев никак не может, простить, что ему не разрешили сыграть еще и пьесу «Казнь». На переднем плане термос с настоем багульника, так как у автора бронхит и пропал голос.

1979 год. Меня опять-таки спрашивают, почему я запретила играть пьесу «Казнь» на своем вечере в Доме актера. Неуместный вопрос. Пьеса была о казни в советской тюрьме, стоит посмотреть на дату.

Часть нашей милой компании, проживавшей в Сокольниках в 1985 году. Наташе три года с гаком, она взрослая и опекает племянницу Анютку, Анютке еще нет годика; Федя уже школьник, сценарист и режиссер. Пишущей машинке «Колибри» 24 года. Ее подарила мне мама, купив на свою десятилетнюю страховку. На этой машинке я работала до 1993 года.

К главе «Каждый имеет право на концепт». Перформанс: бумажно-реечный конь, сделанный в Лейпциге, стоит в монгольских степях, временно изображающих Трою.

90-е годы. Я всегда читаю сказки в шляпе. Передача по телевидению, чтение сказки «Гусь».

notes

Примечания

1

Ответ на анкету Берлинского литературного фестиваля.

2

Для каталога выставки «Скрипка Энгра» в ГМИИ им. Пушкина в Москве.